Л. Н. ТРЕФОЛЕВ

Советский писатель

Л. Н.
ТРЕФОЛЕВ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА





БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

ЛЕНИНГРАД ★ 1958

Л. Н. ТРЕФОЛЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
И. Я. Айзенштока

Л. Н. ТРЕФОЛЕВ

Леонид Николаевич Трефолев занимает видное место среди поэтов, продолжавших и развивавших многие мотивы поэзии Некрасова. Поэт-демократ Трефолев на протяжении почти полувека стремился в своих произведениях запечатлеть, говоря словами Салтыкова-Щедрина, «не ту кажущуюся, богатую лишь внешними признаками жизнь, которая мечется в глаза поверхностному и легкомысленному наблюдателю, но ту безвестную жизнь масс, где совершаются дела и события, почти всегда находящиеся в явном противоречии с показаниями истории писаной и щеголяющей именами». [1]

Хотя при жизни поэта его произведения были известны значительно меньше, нежели они того заслуживали, тем не менее демократический читатель рано узнал и оценил творчество Трефолева. Ряд его стихотворений («Песня о камаринском мужике», «Дубинушка», «Ямщик» и др.) получил широкую известность в массах; стихотворения эти воспроизводились в лубочных народных изданиях, распевались в народе, декламировались на демократических концертах, вечеринках, сходках.

Знали и ценили поэта также его собратья-литераторы, представители прогрессивного, демократического лагеря литературы. В частности, Салтыков и Некрасов, по свидетельству современников, «признавали у Трефолева немалый талант». Некрасову принадлежит и более определенный отзыв о поэте: «Стихи Трефолева бьют по сердцу. Это — мастер, а не подмастерье». А на замечание собеседника о том, что Трефолев — «ученик» Некрасова, последний возразил: «Скорее — последователь. Но если ученик, то такой, которым может гордиться учитель». [2]

---

[1] Полное собрание сочинений, т. 8. М., 1937, стр. 297.

[2] А. В. Круглов. Друзья-поэты. Л. Н. Трефолев. Биография и характеристика. Пг., 1914, стр. 7. Ср. также Иван Белоусов. Литературная Москва (Воспоминания 1880—1928). М., 1929, стр. 20.

Советское литературоведение по справедливости ввело творчество Л. Н. Трефолева в широкий читательский обиход. Если при жизни поэта увидели свет только два сборника его стихотворений, не получившие по разным причинам сколько-нибудь значительного распространения, то после Великой Октябрьской социалистической революции произведения Трефолева неоднократно переиздаются, его творчество органически влилось в русло развития русской демократической поэзии, привлекающей к себе все большее внимание широкого советского читателя и специалистов-литературоведов.

1

Леонид Николаевич Трефолев родился 9 сентября 1839 года в г. Любиме, Ярославской губ., в небогатой помещичьей семье. Отец поэта был известен среди окрестных помещиков как страстный книголюб и театрал. Под влиянием отца и единственный его сын с ранних лет также полюбил книги и чтение. В своей автобиографии [1] Трефолев вспоминает о том, как, «с шести лет посаженный за азбуку», он поглощал подряд все, что имелось в домашней библиотеке: и Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова, и Карамзина с Жуковским, и новиковские сатирические журналы, на смену которым позднее пришла современная журналистика: «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Москвитянин». Не довольствуясь отцовской библиотекой, мальчик и сам начал собирать книги, первоначально сказки в «народных» иллюстрированных изданиях. Интерес к сказке, особенно к русской народной сказке, был пробужден в нем с самых ранних лет матерью и особенно старухой нянькой; о последней он впоследствии тепло вспоминал в стихотворении «Нянины сказки» (1878).

Под впечатлением прочитанного Трефолев рано, лет с двенадцати, начал писать стихи, помещая их в собственном рукописном еженедельном журнале («Мои отечественные любимские записки»). Как характеризовал позднее эти свои поэтические попытки сам поэт, они составляли «перефразирование или прямо списывание каллиграфически стихотворений тогдашних любимых поэтов: Полонского, Мея, Щербины; у последнего, впрочем, заимствовалось не-

[1] Предназначенная для затеянного поэтом А. А. Коринфским сборника «Современная русская поэзия в биографиях, характеристиках и образцах», автобиография эта была опубликована по неполному черновику в «Литературном наследстве», № 3, 1932, стр. 242—246. В нашем распоряжении была беловая рукопись автобиографии, принадлежащая в настоящее время Ю. Г. Оксману.

многое: античный мир вовсе не был понятен любимскому стихотворцу».

Среди наиболее ярких детских впечатлений поэта «величайшим утешением» были частые поездки вместе с отцом в усадьбы соседних помещиков: некоторые из этих помещиков обладали хорошими библиотеками и разрешали мальчику пользоваться ими. Во время этих же поездок Трефолев впервые столкнулся с отвратительными проявлениями крепостного бесправия: в автобиографии он упоминает о «ярых крепостниках», которые без стеснения, на его глазах, производили «разжалование грамотных «библиотекарш» в коровницы, после отстрижения „девичьей косы-красы"».

Разъезды отца будущего поэта вызывались имущественным его положением, положением обедневшего помещика, вынужденного «служить» (членом уездного суда) не только из уважения к «воле» и «доверию» дворянства, но главным образом — по необходимости, по материальной нужде. Материальная необеспеченность родителей ставила мальчика-«барчука» в более близкие отношения крестьянской массе, нежели это бывало обычно; она позволяла ему увидеть в окружавшем крепостническом быте многое такое, что далеко не всегда доходило до сознания материально более обеспеченных его сверстников.

О годах учения в Ярославской гимназии Трефолев вспоминает в автобиографии скупо, отмечая только, что математические науки не принадлежали к числу любимых им предметов, «зато он страстно любил русскую литературу, историю и естественные науки». Из писем поэта и других многократных его высказываний известно, что в продолжение всей своей жизни он очень остро ощущал очевидную недостаточность гимназического своего образования; пополнял его усердно путем самостоятельного чтения. Немало помогла ему в этом собственная библиотека, непрерывно росшая и приумножавшаяся.

В 1856 году Л. Н. Трефолев окончил курс ярославской гимназии. Отец его к этому времени умер (1853), и «вследствие крайней недостаточности средств» (по свидетельству близко знакомого с поэтом А. М. Достоевского [1]) юноша, вместо того чтобы продолжать образование, поступил на службу в ярославское губернское правление — помощником редактора «Ярославских губернских ведомостей». [2] В этом выборе некоторую роль сыграли обстоятельства литературного порядка: именно в «Ярославских губернских ведомостях» (1857, № 29) было напечатано первое стихотворение Трефо-

[1] Воспоминания А. М. Достоевского. Л., 1930, стр. 315.

[2] В течение нескольких лет он совмещал работу в газете со службой в строительном отделении.

лева («Подражание псалму 136-му»); за ним в ближайшие годы последовало еще до двух десятков стихотворений молодого поэта, оригинальных и переводных (из Беранже и Гейне).

К первым своим поэтическим опытам Трефолев отнесся впоследствии с преувеличенной строгостью: ни одно из ранних стихотворений не было им включено в сборник 1894 года, подводивший итог тридцатилетней его работе в столичной печати; только одно стихотворение («Воспоминание») было перепечатано — в переработанном и переосмысленном виде. Характер и путь переосмысления чрезвычайно показательны.

В первоначальном своем виде («Ярославские губернские ведомости», 1857, № 47) стихотворение было сентиментальным воспоминанием о неудавшейся любви:

Сурова мать твоя и горд твой старший брат:
Он не сочувствует душе твоей унылой.
Быть может, он меня принудит силой
Оставить дом знакомый, темный сад, —
И я уйду, — я для подруги милой
Готов страдать, страданьям даже рад.

Лирический герой стихотворения любовался и гордился историей своей несчастной любви, вызванными ею настроениями — покорного примирения с собственной судьбой при виде счастья любимой девушки, которое она обрела в браке с другим. Этим любованием особенно отмечена была чувствительная концовка стихотворения, как бы подытоживавшая предшествовавшие лирические излияния. Поэт признавался:

Но счастием твоим я счастлив, ангел милый,
Хотя люблю тебя я с прежней тайной силой!
Твой ясный взор не встретит взор унылый.
Я и тому, поверь мне, очень рад,
Что ты мне говоришь: «Пойдем, любезный брат,
Пойдем со мной и мужем в темный сад».

Перерабатывая стихотворение спустя двадцать лет («Секстина» [1]), поэт придал сюжетной его основе более реалистические очертания, а чистую лирику юношески надуманной, идеально нежной, платонической любви осложнил рядом политически и социально заостренных мотивов. Так, роль «сурового брата», расстроившего счастье влюбленных, естественно связывается с тем, что

[1] «Будильник». 1877, № 13, стр. 5.

крепостник был твой суровый брат:
Тиранствуя в семье своей унылой,
Он и тебя давил своею силой,
И запер он тенистый, старый сад,
Чтобы не мог туда ходить я к милой...

Вне плана первоначальной сентиментальной элегии, но естественно для нового звучания стихотворения раскрыта в нем также дальнейшая эволюция брата: он «присмирел» (очевидно, после крестьянской реформы) и

потом с улыбочкою милой
Витийствовал, что «мужичок унылый
Имеет всё: лесок, поля и сад»,
И что он стал «свободной земской силой».

Соответственно изменилась также интонация грустной идиллии заключительной строфы стихотворения. Возлюбленная поэта — уже не идеализированный «призрак милый»,

А барыня «с влиянием и силой».
Украшенный рогами, муж унылый
Блаженствует под башмаком — и рад!
Он для тебя не более, как брат,
И ты не с ним уходишь ночью в сад...

Приведенный пример убедительно раскрывает как характер первоначальных лирических опытов Трефолева, так и общее направление дальнейшей его эволюции как поэта. Постепенно поэт освобождался от влияния «чистой поэзии» и вставал на путь поэта-сатирика, поэта-демократа.

В своей автобиографии и в неопубликованных воспоминаниях (в ЦГАЛИ) поэт отмечает благотворное воздействие на него писательницы Ю. В. Жадовской. В 1858 году разбору сборника ее стихотворений посвятил обстоятельную рецензию Добролюбов, обративший внимание на искреннее (хотя и очень неглубокое) народолюбие Жадовской, на ее стремление отразить в своих произведениях трудовую жизнь крестьянина, ее тяготы и невзгоды. На эти же темы обратила Жадовская внимание молодого поэта; как вспоминал он позднее, она давала ему «умные и полезные советы относительно сюжетов, форм и мелодии стихотворений», «именем святой поэзии» «заклинала» его «изучать, как можно более изучать Белинского и читать Добролюбова (в «Современнике»)».

Следует, впрочем, оговориться, что, выполнив завет Жадовской относительно чтения и изучения Белинского и Добролюбова (а наряду с ними и других представителей революционно-демократической мысли), юноша Трефолев остался вовсе чужд непосредственным воздействиям ее поэтического творчества даже в первых своих печатных опытах.

В 1864 году Трефолев сближается с группой поляков, сосланных в Ярославль за участие в польском восстании («Автобиография»); это «случайное обстоятельство», в связи с давнишним его стремлением «изучить родственные славянские литературы (польскую и сербскую)», открыло перед ним широкие творческие горизонты. В особенности он заинтересовывается творчеством польского поэта-демократа Владислава Сырокомли (Людвика Кондратовича); интерес этот не покидает поэта в дальнейшем на протяжении всей жизни.

В 1866—1871 годах Трефолев редактировал «Ярославские губернские ведомости»; под его редакцией эта официальная газета сделалась одним из лучших провинциальных повременных изданий, или, как говорит один из современников, была доведена им «до высшей степени порядочности, так что и столичные газеты не раз высказывали этот отзыв».[1]

К сожалению, редакторская деятельность Трефолева, привлекавшая его особенно тем, что давала ему возможность публиковать многочисленные историко-архивные разыскания в области местной, ярославской, старины,[2] прервалась по требованию цензуровавшего газету ярославского вице-губернатора Тройницкого, человека малокультурного, грубого и крепко не взлюбившего поэта. Как рассказывает в своих воспоминаниях А. М. Достоевский, Трефолев не раз «говаривал, когда нужно было идти к Т<ройницкому> с докладом, что идет к нему с особым отвращением».

О характере столкновений Трефолева с вице-губернатором может дать представление следующий эпизод, рассказанный А. М. Достоевскому самим поэтом:

«Вхожу я к Т<ройницкому>, — рассказывал Трефолев, — и вижу его сидящим над номером газеты, которую он должен был в тот день дозволить к печатанию. Увидев меня вошедшего, он обратился ко мне со словами:

---

[1] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930, стр. 344.

[2] Об исторических, историко-архивных работах и публикациях Л. Н. Трефолева см. в книге И. Айзенштока «Поэт-демократ Леонид Николаевич Трефолев». Ярославль, 1954, стр. 43—65.

— Скажите, пожалуйста, что это за Ушинский, о смерти которого вы объявляете в черных каемках и обещаете еще впоследствии полную биографию его? ..

— Неужели вам неизвестна, г. вице-губернатор, фамилия Константина Дмитриевича Ушинского, этого знаменитого русского педагога, составителя книги «Родное слово», по которой сотни тысяч русских детей обучались грамоте? ..

— Все это хорошо, но я полагаю, что это не подходит к той программе, что может, по закону, быть помещаемо в неофициальной части губернских ведомостей, — сказал как рак покрасневший Т.

— Я полагал это подходящим в том внимании, что покойный Константин Дмитриевич Ушинский первоначально начал свою службу в Ярославле, в ярославском Демидовском лицее, где был некоторое время профессором.

— Ну, так с этого нужно было и начать... а то не всякий знает, кто такой Ушинский». [1]

Подобного рода служебные раздоры, неоднократно возникавшие по разным поводам, в конце концов привели к тому, что Трефолев, вынужденный еще в феврале 1870 года уйти из строительного отделения, через год и вовсе был уволен с государственной службы по причинам «политической неблагонадежности». [2]

Вынужденный оставить государственную службу, Трефолев в 1872 году «обратился к земской деятельности». Земский гласный Пошехонского уезда, он в продолжение более двадцати пяти лет

---

[1] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского. Л., 1930, стр. 344. К. Д. Ушинский умер 22 декабря 1870 г. (ст. ст.), следовательно эпизод этот датируется одним из ближайших дней.

[2] Там же, стр. 345. «Политическая неблагонадежность» Трефолева была засвидетельствована административными органами еще в 1862 году в связи с активным участием поэта в организации воскресных школ; вместе с некоторыми другими «злоумышленными людьми» Трефолев был заподозрен в намерении «развивать вредные учения, возмутительные идеи, превратные понятия о праве, собственности, безверие», в стремлении воспользоваться воскресными школами «для проведения социалистического учения» (Л. Б. Генкин. Некоторые материалы к биографии Л. Н. Трефолева — «Литературный Ярославль», кн. 7, 1954, стр. 198—199). Эти обвинения не подтверждались никакими доказательствами или фактами, не соответствовали действительности; тем не менее поэт прочно, на всю жизнь был занесен в разряд «неблагонадежных». Поэтому, когда в 1870 году ярославские типографы Фальк и Лавров возбудили ходатайство о разрешении им издания газеты, III Отделение в своей справке особенно подчеркнуло, что, «по слухам, действительным редактором в этой газете будет Л. Н. Трефолев», — и в разрешении просителям было отказано. (Центр. гос. историч. архив СССР, Москва. Дело III Отделения, 3-го департамента, 1870, № 2, ч. 3, лл. 8—9).

был фактическим редактором «Вестника ярославского земства», деятельным участником различных культурно-просветительных земских предприятий. При этом он неизменно примыкал к так называемой земской оппозиции, т. е. к тем прогрессивным земцам, которые пытались бороться с упорными попытками царской бюрократии превратить земства в «пятое колесо в телеге русского государственного управления», а роль депутатов от населения ограничить «голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством».[1]

Общественной деятельности Трефолева были свойственны либеральные иллюзии и шатания; как будет показано ниже, отразились они и в поэтическом его творчестве. Однако в лучших своих произведениях поэт не поддавался гипнозу расцветавшего пышным цветом в земских собраниях либерального словоблудия.

Одно из наиболее острых политических своих стихотворений — «Буйное вече» — Трефолев посвятил разоблачению пустой и опасливой болтовни земских «деятелей», готовых пресмыкаться перед любым «власть имущим» полицейским мундиром, перед малейшим призраком «твердой власти». С помощью редакции «Отечественных записок», где стихотворение первоначально появилось, этот памфлет был доведен до большой разоблачительной силы; недаром этим стихотворением «во время оно был очень доволен наш великий сатирик Салтыков», — вспоминал Трефолев в письме к А. А. Коринфскому от 17 ноября 1896 года.[2]

Участие Трефолева в земской оппозиции сделало его еще более подозрительным в глазах местной администрации; реальные последствия этой подозрительности ему приходилось ощущать на себе вплоть до самых последних лет жизни. Кроме фактов, приведенных выше, можно указать, что в 1878 году на поэта поступил донос, в котором он характеризовался (совершенно незаслуженно, впрочем) как «атеист и нигилист» и обвинялся в получении и хранении «запрещенных книг», в том числе изданий Герцена. В «политическом обзоре» по Ярославской губернии за 1892 год особо отмечалось, что Трефолев, распоряжаясь наймом служащих земства, «постепенно предоставил все почти места лицам, состоящим под надзором полиции и подобным им по неблагонадежности в политическом отношении». В 1896 году поэту не было разрешено выступить

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 5. стр. 32.

[2] Неизданное письмо, собрание Ю. Г. Оксмана. Близкий знакомый поэта А. В. Круглов сообщает, что «Щедрин шутя звал Трефолева „певцом буйных земцев"» (А. В. Круглов. Памяти Л. Н. Трефолева. — «Дневник писателя», 1908, № 11, стр. 80).

на чествовании памяти Ф. М. Достоевского с чтением своего стихотворения, посвященного творцу «Бедных людей».[1]

И — на протяжении всей литературной деятельности Трефолева — бесконечные, болезненно ощутительные ущемления со стороны цензуры, упорно не пропускавшей многих его произведений, хоронившей их в связках департаментских «дел», либо возвращавшей их автору с неодобрительными замечаниями о поползновениях поэта подрывать устои дворянско-помещичьего, купеческо-чиновничьего мира (ряд таких цензорских замечаний приводится в примечаниях).

Хотя Трефолев довольно много печатался в ряде современных ему журналов и газет, при жизни поэта были изданы лишь две книги его стихов. Небольшая брошюра «Славянские отголоски» (Ярославль, 1877) объединяла шестнадцать стихотворений, самый выбор которых определялся преимущественно ее предназначением «в пользу балканских страдающих славян».

В 1894 году был издан в Москве большой итоговый сборник стихотворений Трефолева за тридцать лет. Сборник этот далеко не удовлетворил поэта: издавая книгу на собственные скудные средства, он естественно опасался напрасных материальных затрат в случае каких-либо цензурных репрессий и потому не включил многих политических и социально острых стихотворений. При всем том сборник вызвал ряд сочувственных критических отзывов в прогрессивной печати и немало способствовал утверждению Трефолева в ряду поэтов некрасовского направления.

Большой радостью для поэта в последние годы его жизни было устроенное ярославским «Обществом любителей драматического и музыкального искусства» чествование в связи с сорокалетием его литературной деятельности. Состоявшееся 15 декабря 1899 года чествование, читаем в отчете ярославской газеты, «прошло с замечательной теплотой отношения к юбиляру публики, собравшейся в большом числе, и с удивительным ансамблем и достоинством исполнения всеми участниками стихотворений юбиляра и соответствующих им музыкальных номеров».[2]

В последние годы жизни поэт мало писал, мало выступал в печати (притом преимущественно в местных, ярославских, газетах). Смерть его (29 ноября 1905 года), совпавшая с бурными революционными событиями, прошла почти незамеченной в печати.

---

[1] Л. Б. Генкин. Некоторые материалы к биографии Л. Н. Трефолева («Литературный Ярославль», кн. 7, 1954, стр. 199, 202); Воспоминания А. М. Достоевского. Л., 1930, стр. 316—318.

[2] «Северный край», 1899, № 361.

2

Литературная деятельность Л. Н. Трефолева обширна количественно и разнообразна по жанрам.

Чрезвычайно активно, например, он сотрудничал в местных ярославских газетах («Ярославские губернские ведомости», «Северный край»), охотно и живо откликаясь на различные явления провинциальной общественной жизни; с начала 60-х годов он много корреспондировал в столичные газеты. В 60—70 годах, в продолжение нескольких лет, он был одним из самых деятельных провинциальных корреспондентов либеральных «С.-Петербургских ведомостей», — до тех пор, пока не обнаружился реакционный курс, принятый новой редакцией газеты. Усердно писал он также на протяжении многих лет в московские газеты, — писал о земских делах, о ярославских буднях, о том, что более всего било по нервам, трогало за душу.

В автобиографии Трефолев упоминает также о своих произведениях в прозе. Несмотря на их многочисленность, он не был склонен считать художественную прозу своей творческой «специальностью» и в одном из не опубликованных полностью писем к И. З. Сурикову признавался: «Она <т. е. проза. — *И. А.*> выходит у меня чересчур деревянною, грубоватою».[1] Признания подобного рода, неохота, с какою Трефолев упоминал о своих беллетристических опытах, то обстоятельство, что значительную часть этих опытов он тщательно укрывал под различными псевдонимами, — все это подчеркивает отчетливое сознание им случайности и нехарактерности художественной прозы для собственного творческого облика.

Такими же случайными были драматические произведения Трефолева, отрывки из которых сохранились в его писательском архиве (черновые наброски пьесы «Живые развалины» и пятое действие драмы «Смерть литератора»). Ни о завершении этих опытов, ни о попытках поставить их на сцене не сохранилось сколько-нибудь определенных данных или хотя бы намеков; это дает право усматривать в них главным образом случайные отголоски страстного увлечения театром, свойственного Трефолеву на протяжении всей его жизни, начиная с детских лет.

Исторические работы Трефолева характеризуют его не только как усердного архивиста-разыскателя, но также как исследователя,

---

[1] Письмо от 1 января 1876 г. (Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Москва).

в лучших своих статьях и публикациях стремившегося уловить сквозь груды архивных документов живое дыхание прошлого и — что особенно существенно — схватить и отметить в этом прошлом зародыши явлений, волновавших, воодушевлявших или возмущавших как самого Трефолева, так и вообще прогрессивную общественность его времени.

Во многих случаях исторические, архивные материалы использовались Трефолевым публицистически — как повод и материал для разоблачения таких темных сторон прошлого, которые сами по себе либо в своих пережитках были свойственны и настоящему. Эта публицистичность сплошь да рядом делала трефолевские статьи и заметки противоцензурными, обрекала их вылеживаться у автора в письменном столе, давая ему повод говорить о своих исторических занятиях в сдержанно пессимистических тонах.

Большой интерес проявлял писатель к культурной жизни старого Ярославля, в частности к биографиям поэтов и литераторов-ярославцев, к старинным ярославским изданиям. Он считал, что «грешно забывать людей, чем-нибудь выделившихся из толпы, какова бы ни была степень их дарования». [1]

Особенно значительными в культурно-историческом отношении представлялись ему некоторые культурные (литературные в частности) предприятия старого Ярославля. «Ярославль, — писал он, — справедливо гордится, что в стенах его родился первый русский театр, и может также похвалиться основанием первого провинциального издания». [2]

Об этом первом русском провинциальном журнале — «Уединенный пошехонец» (1786—1787) — Трефолев неоднократно писал в специальных статьях и библиографических заметках. Он даже предпринял переиздание «Уединенного пошехонца» и осуществил его (1886), несмотря на недостаточность и ненадежность общественной поддержки этому начинанию.

Отразилось в творческой биографии Трефолева самое название журнала — «Уединенный пошехонец». Его сделал поэт наиболее употребительным своим псевдонимом, им подписал он многие десятки своих стихотворений. По-видимому, в представлении поэта псевдоним этот сочетался с его историческими интересами, подчеркивая вместе с тем обособленность, «уединенность» провинциального литератора в условиях царской России.

---

[1] «Ярославские губернские ведомости», 1870, № 14.
[2] «Ярославские губернские ведомости», 1870, № 41.

3

Выступление Трефолева на литературном поприще совпало с поворотным этапом общественного развития России, когда, говоря словами В. И. Ленина, «падение крепостного права встряхнуло весь народ, разбудило его от векового сна, научило его самого искать выхода, самого вести борьбу за полную свободу».[1]

Захваченный волной бурного общественного подъема, молодой поэт, очень быстро и, по-видимому, легко освободившись от юношеских увлечений «чистой поэзией», активно включается в живой и действенный поток прогрессивной, демократической поэзии. Это явствует из первых же стихотворений, с которыми он выступает в петербургских и московских журналах.

Характерно в этом отношении, например, стихотворение «Семинарист» (1864) — грустная повесть о юноше-семинаристе, который всецело захвачен благородными мечтами «в Москве белокаменной науке святой поучиться», но вынужден жениться на «престарелой деве», поповне, «пылающей страстью любовной»: этим он сможет, хотя немного, облегчить тяготы «нужды гнетущей», ожидающей его «под родительской кущей».

Демократические ноты звучат также в стихотворении «Стрелок» (1865), заканчивающемся гневным проклятием крепостнику-помещику, который, осуществляя свои «права» владельца крепостных душ,

не был людоедом
И не лакомился мясом
Бедных девок за обедом,
А ласкал их поздним часом.

Показательно в смысле созвучности поэта демократическим настроениям эпохи также стихотворение «Шут» (первоначально — «Отставной»), «картинка из чиновничьего быта», — глубоко трагический, социально заостренный образ спившегося мелкого чиновника, который обеспечивает себе повседневное «угощенье», увеселяя в трактире более богатых, чем он, завсегдатаев. Этот глубоко опустившийся пропойца ясно чувствует всю меру своего морального падения, искренне терзается думами о бедствующей, обреченной на гибель семье, и, тем не менее, уже не в силах подняться, не в состоянии освободиться от позорной власти своего порока.

Стремление внушить читателю отчетливое сознание естествен-

---

[1] Сочинения, т. 17, стр. 65.

ного права трудящегося человека на жизнь и счастье характеризует многие стихотворения Трефолева. Поэт настойчиво подчеркивает, что и несчастный отставной чиновник, спившийся и превратившийся в «шута», и горемычный «Касьян, мужик камаринский», и другой русский мужик — Макар, на которого, в соответствии с народной поговоркой, «все шишки валятся», и титулярный советник Онуфрий Ильич Иванов, которого толкнула на беспробудное пьянство собственная понапрасну загубленная жизнь, и многие, многие другие, — все они обделены счастьем отнюдь не в силу каких-либо особых, свойственных каждому из них пороков или недостатков, но прежде всего потому, что каждый из них — в разной степени и в различных качествах — является жертвой существующего общественного строя, жертвой сложившихся классовых отношений.

Каждый из этих персонажей, говоря словами Щедрина («Письма из провинции»), «беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и — что всего хуже — беден сознанием этой бедности».[1] Вслед за другими писателями-демократами, поэт видел общественную свою задачу в том, чтобы раскрыть сознание этой бедности и самим Касьянам и Макарам, и тем, кто может и должен способствовать изменению бессмысленного их существования.

В этом отношении особенно показательна «Песня о камаринском мужике» (1867). Балалаечные переборы повсеместно известной задорной плясовой песни трагически оттеняют обычную для буржуазно-капиталистической и дворянско-чиновничьей России, необыкновенно жуткую в предельной своей заурядности историю одного из множества забитых и униженных Касьянов, которые лишь раз в четыре года позволяют себе «по-настоящему» гульнуть ради собственных именин («Касьянов день» приходится, по православному календарю, на 29 февраля):

Ах ты, милый друг, голубчик мой Касьян!
Ты сегодня именинник, значит — пьян!
Двадцать девять дней бывает в феврале,
В день последний спят Касьяны на земле.
В этот день для них зеленое вино
Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно.

Продиктованная благородным стремлением поэта-демократа внушить читателю искреннее сострадание к злосчастной судьбе бедняги Касьяна, «догулявшегося» до смерти, «Песня о камаринском

[1] Полное собрание сочинений, т. 7. М., 1935, стр. 255.

мужике», вместе с тем, пронизана страстной ненавистью к тем общественным условиям, которые, так сказать, узаконили эту судьбу, сделали ее обыденным житейским явлением. Недаром «Песня о камаринском мужике» пользовалась громадной популярностью среди прогрессивной интеллигенции и демократической молодежи, а позднее и в рабочей среде; известен ряд подражаний «Песне», распространявшихся в нелегальных рабочих песенниках, в листовках. Это стихотворение следует отнести к числу высших идейно-художественных достижений Трефолева.

Чувствами большой любви, острой жалости и вместе с тем искренней веры в силу великих, далеко еще не раскрытых полностью талантов и возможностей русского народа, русского мужика отмечен также ряд других стихотворений. В большой обобщенный образ развертывает поэт, например, известное присловье о бедном, незадачливом Макаре, на которого «все шишки валятся»:

Макарам всё не ладится. Над бедными Макарами
Судьба-злодейка тешится жестокими ударами.
У нашего крестьянина, у бедного Макарушки,
Ни денег нет на черный день, ни бабы нет сударушки.

В другом стихотворении поэт показывает, что эта незадачливость создана подневольным бытием Макара, что она является оборотной стороной совершенно иных, высоко положительных качеств:

Странный он человек!
Пожалеешь о нем:
То проспит целый век,
То вдруг вспыхнет огнем.
Он и кроток и смел,
И на всё он ходок,
Даже сделать сумел
Петербург-городок.

И дальше:

Человек он и зверь;
В нем и холод и жар...
Но велик ты, поверь,
Мой приятель Макар!

Не ограничивая диапазона своего творчества исключительно крестьянской тематикой, поэт настойчиво писал о тяжком подневольном труде, о людях изможденных, искалеченных непосильным трудом,

нечеловеческой капиталистической эксплуатацией, которая не щадит ни слабых, ни сильных, ни взрослых, ни детей.

...Я уныло пою. Стих мой мрачен и груб,
Но с отрадою петь для чего же?
Разве весело петь, если сердце болит?
Разве весело петь о скорбящих?.. —

читаем в «Песне о спасенных детях».[1]

В стихах Трефолева часто сталкиваются два мира: эксплуататоров и эксплуатируемых, угнетателей и угнетаемых. Для изображения первых он не скупится на темные, мрачные краски; ко вторым — исполнен искреннего сочувствия, горячей любви, страстного желания ободрить их в трудные минуты жизни или, по крайней мере, хотя на время успокоить их и утешить.

Здесь мы вплотную подходим к характерной для творчества Трефолева противоречивости основных идейных тенденций, с особенною отчетливостью проявлявшихся в его произведениях 70—80-х годов. Но к этому придется вернуться ниже.

В первые годы своей поэтической деятельности Трефолев был более последователен в исповедании демократизма, чем позже. В таких своих стихотворениях, как «Дубинушка» (1865), он пытался не только нарисовать «картинку из бывшего-отжившего» (подзаголовок дан был поэтом, очевидно, для отвода глаз придирчивой цензуры), но и разглядеть непосредственных виновников народных тягот и бедствий.

Успех «Дубинушки» обусловливался в значительной степени тем, что, перекликаясь с известным одноименным стихотворением В. И. Богданова,[2] она подсказывала читателю некоторые выводы, отсутствовавшие у последнего.

Вспомним, что «Дубинушка» Богданова, собственно говоря, не содержала отчетливо выраженных мотивов классового протеста, — она заканчивалась пожеланием:

Без дубины чтоб спорилось дело,
И при тяжком труде утомленных людей
Монотонно б у нас не гудело:

---

[1] Л. Н. Трефолев. Стихотворения. М., 1894, стр. 396. Впервые стихотворение опубликовано в журнале «Детская помощь», 1885, № 1.

[2] «Будильник», 1865, № 60, стр. 237; ср. Поэты «Искры», «Библиотека поэта», т. 2. Л., 1955, стр. 538—539. То обстоятельство, что оба стихотворения написаны в одном году, позволяет предположительно рассматривать трефолевскую «Дубинушку» как непосредственный отклик на стихотворение Богданова.

«Ухни, дубинушка, ухни!
Ухни, березова, ухни!
Ух!..»

Между тем трефолевская «Дубинушка» исполнена «праведного гнева»

на злодейку-судьбу,
Что вступила с народом в борьбу
И велела ему под ярмом за гроши
Добывать для других барыши...

Свое стихотворение поэт заканчивал гневным обращением к капиталисту-купцу, хозяину барки, покрикивающему на тянущих баржу бурлаков и заранее подсчитывающему будущие барыши, отщелкивая «костями на счетах»:

...Сосчитай лучше ты, борода-грамотей,
Сколько сложено русских костей
По кремнистому берегу Волги-реки,
Нагружая твои сундуки!

С поэтами-демократами роднила Трефолева также настойчивая вера в лучшее, светлое будущее своего народа, своей родины. Интересны в этом отношении два стихотворения поэта: «Под осенним дождем» (1885) и сонет «Океан жизни», написанный, по-видимому, в самом начале нового века.

В первом стихотворении поэт оправдывает отсутствие в своем творчестве веселых, жизнерадостных картин тем, что «безумно и смешно» «петь соловьем об ароматах розы»

осенью, в томительную ночь,
Когда льет дождь и близятся морозы,
Когда везде так скучно и темно.

Согреваемый в ненастье мыслями о том, что «осенний дождь не вечен», что «придет весна с живительным дождем», поэт обещает:

А вот тогда, и весел и беспечен,
Я запою. Теперь же — подождем.

В стихотворении же «Океан жизни» раскрывается образ «хранителя верного», оберегающего поэта от «напасти», от порывов свирепого урагана, от грозных житейских бурь. С этим хранителем — пишет поэт, —

не боюсь житейских грозных бурь,
Не утону с ним в безднах океана:
Родной народ мне виден из тумана.
Увижу с ним небесную лазурь...
И, музыкой народных песен полны,
Свободные вокруг меня заплещут волны.

Эти настроения — горячей любви к трудовому народу, веры в его грядущее раскрепощение от гнета эксплуатации, и вместе с тем суровой ненависти и осуждения по отношению ко всяческим «наростам на теле человеческом», к обывательскому благодушию и лицемерно-ханжеским либеральным вздохам о «доле народной», — прежде всего и характеризуют Трефолева как представителя славной плеяды поэтов-демократов, подхвативших принципы поэзии Некрасова и усердно пропагандировавших их собственным творчеством. В стихотворениях самого Некрасова, в произведениях таких его последователей, как В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев, В. И. Богданов, В. Р. Щиглев, И. З. Суриков, Л. И. Пальмин и многие другие, можно встретить массу живых отголосков на события и житейские конфликты, подобные тем, которые вызывали к жизни те или иные стихотворения Трефолева.

4

Демократизм Трефолева непосредственно определял публицистичность его творчества. От поэзии он требовал прежде всего общественно-политической действенности; во время общественного спада и уныния, проповеди «малых дел» и постепеновщины, характерных для 80-х годов, он готов был даже отрицать за поэзией — своей и своих современников — всякое значение именно потому, что она не смогла поднять народные массы на подвиг, что она осталась почти вовсе не известной народу («К нашему лагерю», 1882).

Среди стихотворений Трефолева 80-х годов есть два, представляющие в этой связи особенный интерес. Первое из них называется «Бессильный». Это — монолог «сына века», человека измученного тусклой, беспросветной жизнью и политической реакцией до такой степени, что он уже не чает дождаться «новой весны», не в состоянии «даже распятья с твердой верой держать».

С тоской и ужасом видит он банкротство идейных своих порывов, убеждается в невозможности определить дальнейший путь

своего идейного развития, в полной своей духовной опустошенности:

Вот предо мной два пути, две дороги:
Вправо и влево. На каждом шагу
Я, спотыкаясь, дрожу от тревоги.
Вправо идти? .. Да послужат ли ноги?
Влево идти? .. Не хочу, не могу.
Новой весны не дождаться мне, братья!
Свежих цветов мне не рвать на лугу,
Крепко вам руку не в силах пожать я.
Так я бессилен, что даже... проклятья
Завещевать никому не могу.

Средствами лирического стихотворения Трефолев, кажется нам, сделал в данном случае попытку показать не слишком привлекательный обобщенный образ своего современника, морально раздавленного и уничтоженного политической реакцией. Увлекшись, однако, этой задачей, поэт вовсе устранил собственное своё — автора-демократа — отношение к этому образу: стихотворение получилось двусмысленное.

Как бы стремясь исправить допущенную идейную ошибку, поэт пишет на ту же тему второе стихотворение, в котором авторское отношение к действительности выражено без всяких оговорок и смягчений:

В сердце злобная желчь разливается,
Словно в омуте смрадном живешь,
Где, как тина, растет, заплетается
Бесконечная, наглая ложь.

Все друзья, все — враги. Под личиною
Униженья, искательства, лжи
Они тешатся мира картиною
И готовят друг другу ножи.

Клевета ли открыто проносится,
Совершается ль дерзкий подлог, —
Всё сонливо и тупо возносится
Из желанья спастись от тревог.

Человек изнуренный, страдающий
Путь свершает без гнева, без слез, —
Это вол, вдоль по ниве шагающий,
Ему нужно не ласк, а угроз...

Прикрываяся маской смирения,
Все порывы живые давя,
Не возбудят к тебе сожаления
Даже лучшие в мире друзья.

Раздражен их духовным падением,
Муки их осмеять ты готов,
Но и едкий твой смех озлоблением
Не взволнует их жидкую кровь.

Этот гневный, горько-взволнованный упрек, брошенный поэтом в лицо своему «поколению» и явно продиктованный лермонтовской «Думою» и гражданской лирикой Некрасова, убедительно свидетельствует, так сказать, о пафосе общественных настроений Трефолева в годы реакции и безвременья. Как поэт-демократ, он считал необходимой для поэта, для себя в частности, возможно более тесную связь с живою жизнью, с передовой современностью.

Не случайно в программном для него стихотворении «Три поэта» (1891) он противопоставляет двум поэтам, уходящим от живой жизни то в минувшее, к «бессмертным мертвецам», то на лоно «царицы-природы», — третьего, сердце которого отыскало «живую идею» среди «вечного шума городского».

Не случайно и то, что слова «третьего поэта» находят отклик в сердце «Гения человечества», который в заключение стихотворения говорит:

Ты, мой третий поэт, друг печальной Земли,
Для меня всех милей и дороже!
Ты не враг величавых старинных гробниц,
Но пред ними безумно не падаешь ниц;
От природы не ждешь ты привета...
Пусть по-братски, отрадно звучит для темниц
Утешающий голос поэта!..

Развивая мысль об обязанности подлинного поэта активно откликаться на живые общественные запросы современности, критически относиться к окружающей действительности, быть твердым в своих убеждениях, Трефолев несколько позже пишет еще одно программное стихотворение — «Почему они поют о девах и розах» (1893) — об измене поэта своим убеждениям, о том, как, убоявшись угроз жестокого хана, прельстившись щедрым его подарком, поэт Балагур сменил страстные обличения неправд и жестокостей хана на безобидное воспевание «невинных дев и обольстительной розы».

И если идейный смысл данного стихотворения выражен в несколько абстрактно-декларативной форме, то в более раннем стихотворении «Пиита» (1884) Трефолев показывает точно такой же конфликт в конкретных обстоятельствах российской действительности, рассказав о том, как «народник пиита», после «объяснения» с урядником и угрозы взять «на цугундер», — «исправился»:

Внявши мудрому совету,
Днесь пиита не лукавит:
Он теперь, в минуту эту,
Лишь Христа с дьячками славит.

Трефолев резко враждебно относился к так называемому «чистому искусству», представители которого уходили от острых проблем современности, замыкались в узких и тесных рамках личных, интимных переживаний и впечатлений. Юношеское его увлечение творчеством Полонского, Фета, Щербины с начала 60-х годов — и уже навсегда — преодолевается воздействием реалистического, идейно и эстетически прогрессивного творчества Некрасова и его последователей — поэтов-демократов.

Вслед за Некрасовым видит Трефолев бесконечное разнообразие красок и оттенков в той «безотрадной, грустно-смешной, но для многих, для многих родной» картине, какую представляла современная ему Россия. Вслед за Некрасовым рисует Трефолев

Редкий, мелкий сосновый лесок;
Вдоль дороги — огромные пенья
Старых сосен (остатки именья
Благородных господ) и песок,
Выводящий меня из терпенья...

А на фоне подобного «некрасовского» пейзажа, характеризующего одновременно и крестьянскую нищету и помещичье разорение, поэту видятся дьякон и поп, которые «на гумне, утомившись, молотят», и «огромный этап», который «за пригорком идет вереницей», и «люди, веселые даже», которые,

Подпершись молодецки в бока,
Входят с хохотом в дверь кабака...

(«Что я умею нарисовать?»)

Все это определяет место Трефолева в ряду поэтов-«некрасовцев», стремившихся к утверждению и развитию некрасовской тематики, поэтического мастерства Некрасова, учившихся у Некрасова

любви к трудовому народу и ненависти к его угнетателям, поставивших, подобно Некрасову, свое творчество на служение народу.

Необходимо, однако, при этом иметь в виду справедливое замечание советского исследователя о том, что «последователи Некрасова, как это часто бывает с последователями великих поэтов, усваивали не столько всю его художественную систему в целом, сколько порознь отдельные ее элементы: его пафос борьбы, его иронию и юмор, его реалистическую изобразительность».[1] Отмеченная здесь ограниченность усвоения некрасовского поэтического наследия в значительной степени была свойственна и Трефолеву.

5

Говоря о чертах идейной и творческой близости Трефолева к Некрасову, к демократической линии развития русской поэзии, необходимо вместе с тем еще раз решительно подчеркнуть: поэт не был до конца принципиальным и последовательным демократом. От замечательной плеяды прозаиков и поэтов, не только любивших народ, но и пристально его изучавших, постигших сокровенные его надежды и чаяния, Трефолева отличают значительно большие, чем у них, идейные шатания и спады.

Трефолев склонен был придавать слишком большое значение буржуазно-дворянскому просветительству, склонен был даже усматривать в нем некий активный путь к грядущему освобождению народа от оков политических, экономических, религиозных и пр. Черты подобного увлечения просветительством можно обнаружить, к примеру, в стихотворении «Что я умею нарисовать?», которое заканчивалось следующими строками:

О создатель, создатель! Когда же
Нарисую я тонко, слегка,
Не кабак, а просторную школу,
Где бы люд православный сидел,
Где бы поп о народе радел?
Но, на грех, моему произволу
Карандаш назначает предел.
Он рисует и бойко и метко
Только горе и жизненный хлам, —
И ломаю зато я нередко
Мой тупой карандаш пополам.

---

[1] В. В. Гиппиус, Некрасов в истории русской поэзии XIX века. «Литературное наследство», № 49—50, 1946, стр. 44.

Здесь думы поэта о будущем не поднимаются выше мечтаний о «просторной школе» и о попе, который «радел» бы о народе, а не интересовался исключительно собственным хозяйством. Подобные же, куцые, идеалы мы встретим и в стихотворениях «Чародейка-весна», «Чудовища», «Чудесная хата» и многих других.

В отличие от Некрасова, Трефолев не только «колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами»,[1] но — что особенно существенно — сплошь да рядом просто не ощущал «неверных звуков» своей поэтической «лиры», не чувствовал идейной порочности собственных поступков и писаний.

Характерно в этом отношении большое стихотворение «Присяжный заседатель», которое сам поэт считал одним из удачнейших своих произведений. Как писал он И. З. Сурикову,[2] его привлек «списанный с натуры» образ «старого дедушки Клима», назначенного присяжным заседателем в Окружном суде. Сам в прошлом жертва несправедливого извета, Клим судит людей не по «закону», не по принципам официального правосудия, но на основе богатейшего своего жизненного опыта и знания людей. Поэтому-то и приговоры, вынесенные присяжными заседателями при участии и содействии дедушки Клима, во многих случаях разительно противоречат требованиям и ожиданиям представителей официального обвинения; приговоры эти не только глубоко человечны, но и юридически оправданы учетом всех тех обстоятельств «дела», которые вовсе не учитывались прокурором.

Однако гуманистический пафос стихотворения Трефолева начисто смазывается нестерпимо фальшивым, слащавым умилением перед «всесословностью» суда: и бедняк-крестьянин, и «батька-поп», и генерал — все они, вместе с «барами», присутствовавшими в суде, целиком поглощены борьбой за правду, все они исполнены жалости к беднякам, от нужды своей великой пошедшим на преступление. Эта умиленность автора в конце концов даже искажает самый образ «дедушки Клима», задуманного, очевидно, как образ одного из народных правдоискателей и правдолюбцев, упорных и неистощимых в достижении поставленных перед собою целей.

Особенно противоречивой и неопределенной не только в деталях была положительная политическая и социальная программа поэта. Трефолев часто мечтал в своих стихах о революции, которая сметет царское самодержавие, ликвидирует существующее бесправие подавляющего большинства населения великой страны. Используя тради-

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 18, стр. 287.

[2] Неизданное письмо от 1 января 1876 г., Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, Москва.

ционные иносказания «эзоповского языка» прогрессивной поэзии, он писал о «грядущих днях», когда можно будет допеть все неспетые песни, писал о нетерпеливых ожиданиях «свободного века», «чародейки-весны».

Вместе с тем, в моменты спада душевного, он мог преисполниться розовых надежд от тех ублюдочных, тощих «реформ», которыми царское правительство старалось обмануть растущее общественное сознание широких масс, пытаясь предотвратить надвигавшиеся грозные революционные потрясения.

Характерен в этом отношении первоначальный набросок одной из «великопостных октав» «Грешница» (1896), имеющий выразительный автобиографический подтекст:

И я творил пред богом Аполлоном
Ужасные и темные дела:
Не восхищался русским небосклоном,
Когда на нем царила злая мгла;
Пел о земле нерадостно, со стоном,
Когда земля была невесела...
Но в те часы, когда нас солнце грело,
И я писал «Камаринскую» смело...

Но ведь «Песня о камаринском мужике» была написана в 1867 году, т. е. в самый разгар правительственной реакции, разгрома общественного движения. Сам Трефолев в середине 60-х годов отнюдь не ощущал «греющего солнца»: не чувствуется оно и в «Песне о камаринском мужике» и в «Дубинушке», нет его и в гневной концовке стихотворения «Накануне казни», очевидно имевшей в виду правительственный террор. Восторженно-умилительное упоминание о времени, когда «смело» писалась «Камаринская», конечно, явилось и оформилось в сознании поэта в результате усердно распространявшейся буржуазно-либеральной легенды о «шестидесятых годах» как «эпохе великих реформ». Эта легенда, собственно, и заслоняла, подавляла подлинные воспоминания, впечатления и наблюдения самого поэта совершенно иного характера.

Все же, при всех либеральных отклонениях в творчестве Трефолева, основой его поэтической деятельности и всего его мировоззрения был демократизм. В исповедании демократизма, как и в своих либеральных заблуждениях и ошибках, поэт был вовсе чужд каких бы то ни было сторонних побуждений. С полным основанием, еще в 1870 году он писал, обращаясь «К моему стиху»:

Мой бедный неуклюжий стих
Плохими рифмами наряжен,

Ты, как овечка, слаб и тих,
Но, слава богу, не продажен.

Признавая отсутствие в собственном творчестве революционно-демократического боевого духа, поэт, вместе с тем, в последней, подчеркнутой им самим строке четверостишия хотел отметить основную мысль его — независимость поэта-демократа от продажной буржуазной литературы.

6

В приведенной цитате обращает также на себя внимание характеристика поэтом своего «стиха», почти цитатно повторявшая неоднократные замечания Некрасова о своем поэтическом творчестве как о «рифмованных звуках», которые только что «не хуже плоской прозы». Некрасов жаловался:

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой суровый, неуклюжий стих!

Пренебрежительные отзывы Трефолева о собственном поэтическом мастерстве противоречат его творческой практике. Подобно прочим поэтам-«некрасовцам», он настойчиво овладевал мастерством, творческим методом своего учителя: усваивал некрасовские ритмы, некрасовские разговорные интонации, некрасовское стремление к органическому сочетанию бытового, обыденного содержания с высокой, демократической идейностью, некрасовское понимание народности и социальной функции поэзии.

Вместе с тем Трефолев широко использовал также традиционные формы поэтической культуры — в большей даже мере, нежели сам Некрасов и другие его последователи. Достаточно указать, например, на его сонеты («Океан жизни», «Кровавый поток»), на несколько стихотворений, написанных секстинами («Секстина», «Дай выручку!», «Набат») и октавами («Грешница» и др.), со строгим соблюдением всех требований этих сложных поэтических форм.

Примечательно в этом отношении среди трефолевских секстин стихотворение «Дай выручку!» [1] — с разительно резким контрастом (едва ли случайным!) между строгостью старинной стихотворной формы и ультрасовременным, натуралистическим содержанием (модный прожигатель жизни не задумываясь отбирает деньги у некогда обольщенной им девушки, ставшей уличной проституткой).

Можно припомнить в этой связи также стихотворение «В глу-

[1] «Осколки», 1886, № 2, стр. 5.

хом саду», с очень сложной, «цепной» строфикой (каждая последующая строфа начинается предпоследней строкой предыдущей), ряд стихотворений с широким использованием внутренних рифм («Генерал Ерофей», «Пленница» и др.).

Вряд ли эти и другие подобные примеры были для Трефолева случайными. Отчасти они являлись отголосками юношеских увлечений поэта произведениями Майкова, Фета, Тютчева, Щербины, Полонского; позволительно, однако, видеть в них также полемический ответ поэта-«некрасовца» сторонникам «чистого искусства», неоднократно попрекавших и самого Некрасова и его сторонников и последователей в «обеднении» поэтического мастерства, в пренебрежении к давним, «высоким» традициям культуры стиха. Тем самым поэт как бы утверждал мысль, что тонкости и ухищрения поэтической техники не используются самим Некрасовым и его последователями вовсе не из-за отсутствия дарования, не из-за неумения писать «по-настоящему», а потому, что им противостоят иные эстетические принципы.

Поэтому использование достижений стихотворной техники прошлого сочеталось у Трефолева с принципиальным стремлением к высокой простоте, какою характеризуются произведения народного гения. Трефолеву принадлежит перевод стихотворения Владислава Сырокомли «Три песни»; в нем чрезвычайно высоко поднимаются отличительные качества славянской народной песни — ее вдохновенная убедительность, ее свободолюбие, ее искренность:

Славянская песня звенит, будто меч,
На дело святое способна увлечь.
Вся сила той песни понятна, когда
Славян постигает лихая беда.
И светит ли солнце, иль буря ворчит —
Славянская песня всё так же звучит;
Она неизменно чиста, хороша,
И *примо* в ней — сердце, а *втора* — душа!
Славянская песня не будет рабой:
Ее распевая, идем мы на бой...
Под песню родную творим чудеса...
Ту песню сложили для нас... небеса.

В другом переводе из Сырокомли («Не я пою») Трефолев прямо говорит о народе, о народной песне как подлинных вдохновителях поэта:

Не я пою — народ поет. 10
Во мне он песни создает;

Меня он песнею связал,
Он ею сердце пронизал
И братски-нежно приказал
О зле и радостях в тиши
Петь по желанию души.
Народом песня создана,
И электрически она
На душу действует мою,
И я, бедняк, ее пою.

Аналогичные признания вырывались у поэта не раз; с ними нельзя не считаться, хотя восторженное преклонение перед гением народного творчества не связывалось у Трефолева с попытками в собственной поэзии широко использовать мастерство народного художественного слова, народной поэзии в той степени, как это удавалось Некрасову или И. З. Сурикову.

В тех, относительно нечастых, случаях, когда Трефолев обращался к прямому использованию песенного или сказочного русского фольклора («Песня о Дреме и Ереме», «Нянины сказки», «Воин Аника», «Два Мороза Морозовича», «Гусляр», «Батрак»), он либо имитировал народный сказ, обильно используя простонародную лексику, местные диалектные формы, звучащие несколько искусственно и чуждо в общем строе интеллигентской литературной речи, либо почти вовсе не заботился о сбережении фольклорного колорита, что практически приводило по временам к ощутительному разнобою между содержанием стихотворения и художественно-стилистическим его выражением.

В гораздо большей степени связан Трефолев с русской народной стихией через прочные традиции русской демократической поэзии, начиная с Некрасова, продолжая поэтами «Искры» и заканчивая такими друзьями и единомышленниками поэта, как И. З. Суриков. Эта связь основывалась и на непосредственном родстве увлекавшей названных поэтов тематики, и на близости их идейных настроений и, в особенности, на общих эстетических основах поэтического творчества, — конечно, при наличии в творчестве каждого из них индивидуальных черт.

7

Много творческих сил, много времени, внимания и энергии заняло в литературной деятельности Трефолева его сотрудничество в юмористических журналах 70—90-х годов.

Советское литературоведение справедливо указывало на идейную

ограниченность и художественную непритязательность юмористической журналистики 70—80 годов, всевозможных «Осколков», «Будильника», «Стрекозы», «Зрителя» и др. Традиции революционно-демократической «Искры», смело разоблачавшей официальную дворянско-помещичью и обывательско-чиновничью Россию, выродились в них в беспринципное зубоскальство, лишенное зачастую даже намеков на какой бы то ни было «либерализм», хотя бы в виде совершенно благонамеренного «кукиша в кармане». Всем этим журнальчикам «приходилось пробавляться пьяными купцами, на все лады «обыгрывая» купецкий жаргон, мещанскими свадьбами, дачными мужьями, ветреными женами, кумом-пожарным, модницами и франтами и т. п.»,[1] — более всего важна была сезонная «злободневность» персонажей и тем.

Следуя нехитрому журнальному календарю, Трефолев живо откликается в «Осколках» на скудные события медленно текущей жизни. Вслед за другими сотрудниками журнала, он сочиняет к одному из майских номеров, т. е. в самый разгар гимназических экзаменов, «гимназическую балладу-секстину» «Майский жук» — о гимназисте, уныло зубрящем латынь, а к августовскому — стихотворение «Августовские метеоры». Вслед за другими сотрудниками журнала он сочиняет стихи и стихотворные фельетоны — о непомерности аптекарской таксы, о чиновном начальстве, отправляющем скромного своего подчиненного «на реку Уфу» и удерживающем у себя его жену в качестве «экономки», об «удивительном ребенке», в котором родители с пеленок готовы провидеть будущего гения и который закономерно вырастает в совершенное ничтожество, бездарного и тупого балбеса, о снах «гаванского чиновника», навеянных международным столкновением царской России с Англией в Средней Азии, о только что присоединенном к России Батуме и о «батумской таможне», свободной от пошлин...

Подавляющее большинство этих стихотворений — дань журнальной рутине эпохи безвременья. Одновременно с Трефолевым, рядом с ним, отдавал обильную дань той же рутине и молодой Чехов, лишь постепенно, в процессе собственного идейно-художественного роста, освобождавшийся от «осколочной» обывательщины. В «осколочных» произведениях Антоши Чехонте мы встретим немало тем, живо перекликавшихся с темами стихотворений Трефолева того же времени.

Преодолевая обывательскую рутину многих своих произведений,

---

[1] В. Ермилов. А. П. Чехов. Драматургия Чехова. М., 1951, стр. 48.

печатавшихся в «Осколках», Трефолев в лучших из них все ж не ограничивался простой фиксацией скудных событий обывательской жизни, «обыгрыванием» ставших обычными и «традиционными» в юмористических журналах того времени общих мест и «масок» (злая теща, мытарства «дачного мужа», старик ловелас, девушка, «ловящая» женихов, и т. п.). Он пытался за единичным фактом, за отдельным происшествием подметить вызвавшие его причины. Поэт не стремился смеяться во что бы то ни стало и непременно смешить своих читателей. Наоборот, он отстаивал свое право отзываться на явления современности не только «честным смехом», который, «как благодать, может нас пересоздать», но также — «слезами».

«Слезы» в стихотворениях Трефолева, печатавшихся в «Осколках», слышатся очень часто, гораздо чаще, нежели это обычно полагалось в юмористическом журнале. Что юмористического, например, в нескольких его стихотворениях, посвященных одной, по существу, теме — злосчастной судьбе «падшей» жертвы какого-нибудь мерзавца («Дуня», «Дай выручку», «Тайна бедной Дуни» и др.)? Не юмором, но гневным сознанием тягостного застоя реакции пронизана небольшая «Цыганско-русская песня», дающая неожиданно новый смысл широко популярной старинной песне из оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский».

Выпадает из общего контекста «Осколков» также ряд стихотворений Трефолева, пронизанных патриотической горечью поэта-демократа, который не может примириться с творящимися вокруг него повседневными мерзостями. Показательно в этом отношении стихотворение «Космополитка», написанное под впечатлением газетных сообщений о предсмертной болезни М. Е. Салтыкова, но появившееся в свет уже в качестве отклика на смерть великого сатирика. Как известно, в последние годы жизни Салтыкову не раз приходилось сталкиваться с шедшими из реакционного лагеря обвинениями в том, что талант его «иссякает», что он, «писатель-юморист» по призванию, напрасно берется за изображение мрачных картин «Пошехонской старины», что упорное «изобличительство» сатирика является, будто бы, свидетельством отсутствия в нем подлинного патриотизма.

В своем стихотворении Трефолев, от лица демократических читателей и поклонников Щедрина, берет писателя под защиту, справедливо подчеркивая, что разоблачение Пошехонья продиктовано не недостатком у писателя патриотических чувств, но, наоборот, глубокой любовью к родине, искренним и подлинным патриотизмом. В этом смысле несомненно удачен самый замысел Трефолева — изобразить хулителей Щедрина в собирательном образе «космопо-

литки», которая клянется, «что ibi patria (с условьем), ubi bene» (т. е. родина там, где хорошо живется), и уверяет, что «в жалкой Пошехонии тоскливей жить, чем в Вене», которая поэтому ищет «святую родину на «выставке» — в Париже».

Эта характеристика «космополитки», кстати сказать, живо перекликается с щедринским обличением «цивилизованной толпы», которая, «наговорившись всласть о безнравственности, невежестве и грубости русского мужика . . .охотно предается на досуге словесным излияниям о сладостях патриотизма, о том, как это чувство возвышает душу и как, в особенности, необходимо развивать его . . . в простом классе» («Признаки времени», глава 4).[1]

В лучших из «осколочных» своих произведений Трефолев, используя иногда приемы «эзоповского языка», настойчиво твердил о своей вере в то, что

промчится беда,
С новой весной оживятся колосья, —
И заблестит наша Русь, как звезда!

(«Августовские метеоры»).

Он писал:

Верю слепо: добрей и чудесней
Будет мир в наступающий век.
С недопетой страдальческой песней
Не погибнет поэт-человек.

Всё, что живо, светло, благородно,
Он тогда воспоет от души,
Покарает злодейство свободно,
Наяву, а не в темной глуши.

(«Недопетая песня»).

Он твердо верил в то, что «недопетая песня поэта допоется в грядущие дни». Он был уверен, что «это будет, будет», — хотя тут же оговаривался: обо всем этом

сердцем ведаю,
Но когда? — Не знаю, господа!

(«Перл создания»).

Отвлекаясь же от мечтаний о будущем, обращаясь к наблюдениям над явлениями текущей жизни, неприглядной российской дей-

[1] Полное собрание сочинений, т. 7. Л., 1935, стр. 85.

ствительности 80—90-х годов, поэт с гневным презрением и отвращением вырисовывал типические образы, порождавшиеся политической реакцией. Он рисовал, например, «благополучного обывателя», коммерсанта-приобретателя, доведенного «до зеленого змия и белых слонов» не только неумеренным потреблением «зеленá вина», но и непрестанным жестоким страхом перед «властями предержащими», начиная от «свирепого квартального», опасением прослыть в глазах этих властей «либералом» («До зеленого змия и белых слонов»). Он рисовал обывателя-либерала, в котором «скорбит» «пошехонская душа» и пределом мечтаний которого является желание, чтобы «пошехонские квартальные стали тише голубей» («Песня о полушубке»).

Поэт разоблачал ближайшего духовного родственника некрасовского «нравственного человека» — некоего «добряка в душе», который «даже дочь-крáсавицу преследовал безбожно», «менял на пятачки по праздникам для нищих рублик медный» и «возглашал чувствительные тосты за жирною янтарною ухой», который, наконец, «бедняков любил и в год голодный пожертвовал... два пуда отрубей!» («Добряк, душа-человек»). Со скорбной издевкой показывал он «литератора-обывателя», который, желая выслужиться перед превосходительным своим начальством, сравнил его в стихотворении с «блестящим фонарем» и был изгнан со службы — за обнаруженный будто бы подобным сравнением «либерализм» («Из записок литератора-обывателя»).

Преодолевая всевозможные цензурные препятствия и опасливость благонамеренного редактора «Осколков» Н. А. Лейкина, пуще всего боявшегося, «как бы чего не вышло», поэт иногда затрагивал даже темы, упорно запрещавшиеся подозрительною царской цензурой. В «Весенней мелодии» можно обнаружить живой отклик на систему полицейско-административной ссылки, особенно широко практиковавшуюся как раз в середине 80-х годов.

В других стихотворениях Трефолев старался утвердить в сознании читателя положительные образы тех, на труде которых растет и крепнет благосостояние родины, — простых русских людей, «Nemo, или Имя-реков», и тех передовых людей, кто целью всей жизни поставили борьбу за лучшее будущее своего народа. Многое при этом безнадежно пропадало в цензурных застенках и увидело свет лишь в наши дни (см., в частности, в настоящем издании стихотворения «Папенька и маменька», «Отставной учитель» и др.). Однако время от времени поэту все же удавалось делиться с читателями заветными своими образами и мыслями.

Обрисованные выше литературные интересы Трефолева, свойственный лучшим его произведениям демократизм — определили также содержание и характер его деятельности как переводчика.

Переводческие интересы Трефолева очень обширны. Его интересовали произведения поэтов братских славянских народов (украинского — Т. Шевченко, польского — В. Сырокомли, А. Одынца, Ю. Словацкого, В. Гомулицкого, сербского и хорватского — Д. Якшича, И. Мажуранича); он переводил французских поэтов (Беранже, Гюго, Барбье, Дюпон), немецких (Гейне, Гервег, братья Гримм), датских (Андерсен), английских (Теннисон), голландских (Катс) и др. Уже самый выбор привлекавших к себе внимание переводчика поэтов и произведений, во всяком случае, свидетельствовал о широте его литературных интересов.

Большинство переводов, выполненных Трефолевым, тесно переплетается с оригинальными его произведениями. Самый выбор произведений для перевода, как правило, определялся у него теми же демократическими тенденциями, теми же, подчас весьма радикальными политическими настроениями, какими были продиктованы оригинальные его стихотворения. Начав с переводов стихотворений Барбье, Дюпона, Гервега, Шевченко (а еще раньше — Гейне, Беранже, Гюго), он в середине 70-х годов много внимания уделяет переводам сербского героического эпоса и некоторых сербских поэтов; особенно же часто, на протяжении многих лет обращается он к творчеству выдающегося польского демократического поэта Владислава Сырокомли (Людвика Кондратовича).

В большом и разнообразном по жанрам литературном наследии Сырокомли наиболее значительны по художественным своим достоинствам многочисленные «гавенды» — стихотворные рассказы, были, предания, наблюдения и зарисовки из быта мелкопоместной польско-литовской шляхты, из жизни простого народа, которую поэт отлично знал, пристальные наблюдения за которой не прекращал до конца дней своих.

Именно эта группа произведений сделала Сырокомлю-Кондратовича одним из популярнейших польских поэтов; он выделялся среди современников глубокой любовью к народной массе, искренним демократизмом, настойчивым желанием познакомить польского читателя с лучшими достижениями передовой революционно-демократической поэзии славянства, с произведениями Некрасова, Шевченко и др. Закономерен в этой связи встречный интерес к творчеству польского поэта в России: с конца 50-х годов произведения Сыроком-

ли охотно переводятся на русский язык; его переводили поэты-демократы Минаев, Омулевский, Пальмин, Плещеев и др.

Для Трефолева перевод произведений польского поэта стал делом всей жизни. В Сырокомле поэт нашел подлинного своего единомышленника, поэта близкого себе по духу, по характеру и диапазону творчества, по творческому методу.

Как сказано выше, Сырокомля горячо и убежденно любил народ. В своем творчестве он стремился любовно запечатлеть и показать читателям жизнь села — во всей ее повседневности, с ее редкими радостями, с многочисленными, разнообразными скорбями и страданиями. И отражал он эту жизнь не бесстрастно-объективистски, отдавая дань эмпирическому бытописательству; на протяжении всей своей литературной деятельности он показывал, противопоставляя их друг другу, два мира: мир безмерно тупого, ограниченного в своих интересах, в своем мировоззрении шляхетско-помещичьего (реже — буржуазного) благополучия, основанного на угнетении и эксплуатации крестьянской массы, и мир нужды и горя, сопутствующих забитому и закрепощенному народу от рождения до самой смерти и все же не лишивших его неисчерпаемых творческих возможностей, жизненных сил.

Эти чувства, пронизывающие творчество польского поэта, всего более и привлекали к нему внимание Трефолева. Они обусловили самый выбор произведений Сырокомли для перевода; они объясняют весьма свободное, с точки зрения советских принципов перевода, отношение переводчика к оригиналу: в большинстве своих переводов Трефолев сознательно ослаблял национальный колорит польского оригинала, сохраняя лишь отдельные штрихи, намеки, более или менее понятные для русского читателя мелочи бытовой обстановки. В ряде случаев он заменял пейзажи и образы польского поэта, навеянные польско-литовской природой, историко-бытовой обстановкой, — соответствующими русскими, даже ярославскими. Не случайно Трефолев часто называл свою работу над произведениями Сырокомли не переводами, но — «подражаниями», стихотворениями «на мотив Сырокомли» и т. п.

Вот, например, «Ямщик», перевод стихотворения Сырокомли «Почтальон». Уже в самом заголовке видно стремление переводчика к «руссификации» образов стихотворения. Дальше читаем:

Скакал я и ночью, скакал я и днем;
На водку давали мне баря,
Рублевик получим и лихо кутнем,
И мчимся, по всем приударя.

В точном прозаическом переводе это место выглядит так: «С утра до вечера, с вечера до утра я возил пакеты и господ («панов»); получишь злотый — о, тогда гуляю, и весел, и сыт, и пьян!» Вместо «писаря», «канцеляриста», у Трефолева появляется почтовый «смотритель», вместо «двузлотовика» — «червонец» и т. д.

Все это — естественное следствие определенных переводческих принципов, стремления ввести в стихотворное повествование известные русскому читателю бытовые подробности и тем сделать для него текст переводимого автора более ощутимым и понятным. Подобное отношение к переводимому оригиналу, кстати сказать, присуще переводческой практике многих поэтов демократического лагеря.

Еще Добролюбов, говоря о переводах В. С. Курочкина из Беранже, писал, что переводчик «нередко уклоняется от слов французской песни и дает мысли Беранже свой самостоятельный оборот»; при этом, однако, — замечает критик, — «уклонения от существенного смысла подлинника г. Курочкин позволяет себе довольно редко» и «большею частию переводы его верно воспроизводят то общее впечатление, какое оставляется в читателе пьесою Беранже».[1] Сам Курочкин, характеризуя свою работу над Беранже как отчасти перевод, отчасти «переделку», также подчеркивал, что главным образом стремился «не изменить духу подлинника».

Советский исследователь обстоятельно расшифровал эти, по необходимости (по цензурным соображениям), общие и несколько туманные для нас определения. Он убедительно показал, что и замена Курочкиным имен русскими, и уничтожение французских географических названий (это «создавало возможность расширительного толкования и облегчало читателям перенесение места действия в Россию»), и лексика переводов, в частности сознательное употребление в переводах диалектизмов, разговорных и идиоматических выражений, и подмена специфически французских бытовых явлений и понятий русскими — все это являлось «не бессознательным приспособлением переводимых произведений к своей собственной стилистической системе, свойственным большинству переводчиков, а вполне осознанными и последовательно проводившимися переводческими принципами». Всеми этими способами Курочкин «переключал песни Беранже в план русских общественных отношений», превра-

---

[1] Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1934, стр. 473.

щал песни французского поэта-демократа в действенные документы русской революционной демократии. [1]

Подобные же приемы идейно-художественного использования оригинала применял и Трефолев в переводах из Сырокомли. В польском поэте Трефолев видел близкого себе по духу собрата; поэтому, обращаясь к его произведениям, он считал не только возможным, но и положительно необходимым дорисовывать, досказывать то, что, по его разумению, было выражено в оригинале недостаточно ярко и четко. Он усиливал, в частности, социальные мотивы, звучавшие у Сырокомли подчас не слишком отчетливо. Он делал таким образом польского поэта ближайшим сотрудником, соратником в повседневной своей работе поэта-демократа.

Примечательно также увлечение Трефолева сербской поэзией. Как известно, широкие круги русской прогрессивной интеллигенции с громадным вниманием следили за быстрым ростом развивавшегося среди балканских славян национально-освободительного движения, которое в середине 70-х годов переросло в национально-освободительную войну с турецкими поработителями славянства. В этой борьбе демократическая общественность хотела видеть начало широкой вооруженной борьбы народов славянского мира с угнетателями, борьбы, которая, перебросившись в Россию, должна была привести к освобождению ее от царско-помещичьего гнета.

Позиция Трефолева в данном случае снова оказалась противоречивой. Судя по многим стихотворениям 1876—1878 годов, освободительные тенденции были ему понятны и близки: в исповедании их был он вполне искренен. В это же время, однако, написал он популярную брошюру «Добрым русским людям — ярославцам» (Ярославль, 1876), в которой освободительная борьба балканских славян освещалась в духе славянофила Ивана Аксакова и возглавлявшегося им Славянского комитета, проповедовавшего откровенно панславистские идеи; по-видимому, именно в этом смысле называл себя «аксаковцем» Трефолев в одном из более поздних писем к Лейкину.

В сербской поэзии внимание Трефолева-переводчика привлекают прежде всего героические эпические сказания (по определению переводчика — «сербские легенды»), воспевающие высокие примеры моральной стойкости сербского народа, его готовность принести в жертву ради народного освобождения, ради общего блага все самое дорогое и близкое, не исключая собственной жизни.

---

[1] В. С. Курочкин. Собрание стихотворений. Вступительная статья, редакция и примечания И. Ямпольского. «Библиотека поэта», Большая серия. Л., 1947, стр. XLII—XLIV.

Поэзия Л. Н. Трефолева, при всех его идейных колебаниях, о которых говорилось выше, представляет большой интерес для советского читателя, который хотел бы шире и глубже познакомиться с некрасовскими традициями в русской поэзии.

Эта большая и далеко не однородная поэтическая группа, творчество которой характеризовалось демократизмом и пламенной верою в могущество народного гения, в неисчерпаемые силы и возможности русского народа, — не могла играть ведущей роли в развитии русской поэзии второй половины XIX века. Мешали этому и общеизвестные общественно-исторические условия буржуазно-помещичьего строя в России; имело значение также то, что даже наиболее талантливые представители этой группы значительно уступали самому Некрасову в глубине и значительности дарования, в широте выдвигавшихся ими и посильно решавшихся проблем.

Поэты-«некрасовцы» сплошь да рядом вынуждены были ютиться в разного рода второсортных журнальчиках; их произведения далеко не всегда выходили отдельными книгами; представители «большой», «настоящей» литературы, то откровенно реакционные, то прикрывавшиеся либеральной фразеологией литераторы и литературные критики упоминали о них (если только вообще упоминали!) либо с плохо скрываемой враждебностью, либо с оскорбительным пренебрежением.

И тем не менее «некрасовцы» продолжали дело своего учителя: они настойчиво утверждали принципы новой, демократической эстетики, провозглашенные Чернышевским и Добролюбовым; совершая по временам общественно-политические ошибки, уклоняясь в сторону либерализма, либерального культурничества, они все же создавали подчас замечательные образцы прогрессивной, демократической поэзии.

Естествен интерес советских читателей и литературоведов-исследователей к «некрасовской школе», к отдельным ее представителям, среди которых заметное место занимает Л. Н. Трефолев.

И. Айзеншток.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОБОЗ

1

Ночь светла, и снег блистает,
    На дворе мороз.
Вот к оврагу подъезжает
    Медленно обоз.
Мужики за лошадями
    Стороной идут
И, махая бородами,
    Разговор ведут:
«Плохо нам! Всё неудачи,
    Жизнь не хороша!
Голодают часто клячи,
    Дома — ни гроша;
Дома детушки не сыты
    И отец старик...
Мы невзгодами забиты,
    А оброк велик!»

2

На дороге ветер свищет,
    Поднялась метель,
И народ, озябнув, ищет
    В снежной вьюге ель...
Ель зеленую находят
    На шесте большом
И обрадованно входят
    В развеселый дом.

Целовальник бородатый
Вьется, точно змей,
И с улыбочкой, проклятый,
Потчует гостей.
«Пейте, братцы! Пейте в сладость!
Клим, ты пить горазд!
От дьячка я слышал радость:
Вот надел вам даст
И посредственник, и баря.

Миколаха, ты, брат, паря,
Нынче мало пьешь!
Наградят крестьян землями
По сту десятин,
Значит, на душу, — с лесами...
Пей же, Константин!»

3

На душе повеселело
Вдруг у мужиков;
По рукам же то и дело
Что гуляет штоф.
И пошел вприсядку бравый
Охмелевший Клим...
Ну уж хват! Ей-ей, лукавый
Пляшет вместе с ним!
Горе Клим позабывает —
Пропадай оно!
С Климом низко приседает
В склянице вино.
Лоб вспотел. Дрожат колени,
Фертом подперся,
И вдруг: «Сени мои, сени», —
Звонко залился.

4

Эй! Пора гостям в дорогу:
Не трещит мороз,
Вьюги нет — и понемногу
Двинулся обоз.

Вновь полозья заскрипели,
    Проскрипят всю ночь...
Мужики лениво сели, —
    Им идти невмочь.
Ничего они не видят:
    Хмель-туман в глазах;
Их теперь легко обидят
    Недруги в лесах.
Вот они! Готовы взяться
    За грабеж, твердят:
«Обойдем их!.. Тише, братцы!
    Мужичонки спят!»
Снится бедному народу,
    Что уж счастлив он, —
Но пророчит им невзгоду
    Смутный, сладкий сон!

<1864>

СЕМИНАРИСТ

Всё сосны да сосны высокие,
Пески рассыпные, глубокие;
Нагрело их солнце... Горячею
Дорогой иду я за клячею
И думаю: господи-боже,
Ведь это на пекло похоже!

Устал я, измучился жаждою,
А солнышко-батюшко с каждою
Минутой сильней разгорается
И, словно нарочно, старается
Явиться над бедной земелькой
Вторым Пугачевым Емелькой.

— Приятель! (Толкую с возницею;
Он едет с неважною птицею:
Сынок я дьячка деревенского
Фомы Ильича Вознесенского.)
Приятель! Такую надсаду
Терпеть я не в силах: присяду... —

Смеется возница: «В дороженьке
Измучились бедные ноженьки;
Они, значит, вдоволь натопались,
От зною — босые — полопались?
Садися, кутейничек милый,
А я поплетусь за кобылой».

Всё сосны да сосны высокие,
Пески рассыпные, глубокие...
Сижу на телеге. Сторонкою
Идет за уставшей клячонкою
Возница и трубочку курит,
И весело так балагурит:

«Какой вы народишко плохонький,
Жиденьки! А, слышно, частехонько
Папаша с дьячихой-мамашею
Вас кормят березовой кашею?
Как будешь отцом иереем,
Авось, мы с тобой раздобреем?»

Молчу. Мне припомнилось многое:
Всё детство больное, убогое,
И злое житьишко бурсацкое,
И розги — питание адское...
Не будьте так бешено строги
С детьми, господа педагоги!

Иначе, покрытые ранами,
Мы явимся также тиранами, —
Пред юностью, светлой надеждою,
Предстанем злодеем-невеждою...
Так думал я.. Солнышко грело
Мое утомленное тело.

Всё сосны да сосны высокие,
Пески рассыпные, глубокие...
Устала лошадушка сивая.
Какая она некрасивая!
На батькину лошадь похожа:
Одни только кости да кожа.

Мой батько, седая головушка,
Шлет весточку: «Пала коровушка,
А лошадь ногами разбилася.
Дьячиха весьма огорчилася
И, слезно жалея скотину,
Мне дщерь родила Катерину...»

Катюша, сестреночка милая,
Тебя ждет судьбина унылая,
И много увидишь ты грязного:
Ты будешь... женою приказного,
Дьячихой, просвирнею... Ну-тка,
Умри поскорее, малютка!

Сам сделаю гробик березовый,
Сам выкрашу краскою розовой,
Покрою тебя незабудками
И в церковь с веселыми шутками
Снесу, и, за дальней горою,
На сельском кладбище зарою.

Исчезнули сосны высокие;
Пески рассыпные, глубокие
Желтеют за нашей тележкою.
Возница кричит мне с насмешкою,
Истоме бурсацкой не веря:
«Слетела бы с возу тетеря!»

Нельзя не понять острословия:
«Тетеря», студент «богословия»,
Слезает с телеги, сам думая:
Скорей бы хоть ночка угрюмая!
Скорей бы увидеть мне батю,
Да мать, да сестреночку Катю...

Скорей! — А ведь знаю заранее,
Что грустное будет свидание,
Что там, под родительской кущею,
Я встречусь с нуждою гнетущею,
Услышу старинные песни:
«Плохонько живется, хоть тресни!»

Захнычут тоскливо родители:
«Просись во священнослужители
К «Николе» — местечко доходное...»
А с «местом» — и тело дородное:
Приход отдают за поповной,
Пылающей страстью любовной.

Родителей я не прогневаю:
Пленюсь престарелою девою,
В любви объяснюсь нежно-пламенной...
Мечтал я в Москве белокаменной
Науке святой поучиться,
Да бедность велит мне... жениться.

<1864>

* * *

Лошаденки за оврагом
Изнуренные плетутся,
Выступая робким шагом,
Под кнутом хозяйским жмутся.

И хозяева их, кстати,
Приуныли и устали;
Мало счастья, благодати
Эти люди испытали.

Говорит один (я слышу):
«Эки, братцы, неудачи!
Всю соломенную крышу
Съели дома наши клячи».

— «Верно́, к зимнему Николе
Нам глодать кору придется».
— «Ни зерна на целом поле!» —
Третий голос раздается.

Тут четвертый, пятый сразу
Закричали, зашумели:
«Мы в сибирскую заразу
Обнищали в две недели!»

Лошаденки за оврагомъ,
Изнуренныя плетутся,
Выступая робкимъ шагомъ,
Подъ кнутомъ хозяйскимъ гнутся.

И хозяева ихъ, кстати,
Пріуныли и устали,
Мало счастья, благодати
Эти люди испытали.

Говоритъ одинъ: (я слышу)
— «Эхъ, братцы, неудачи!
Всю соломенную крышу
Съѣли дома наши клячи.»

— «Вѣрно къ зимнему Николѣ
Намъ глодать кору придется...»
— «Ни зерна на цѣломъ полѣ!»
Третій голосъ раздается.

Тутъ четвертый, пятый сразу
Закричали, зашумѣли.
— «Мы въ сибирскую заразу
Обнищали въ двѣ недѣли!»
— «И меня, сказалъ Ванюха,
Постигла вражья сила:
Ядовитая, знать, муха
Спину крѣпко укусила.

Сшилъ себѣ я саванъ бѣлый,
Въ церкви божьей причастился,
Гробъ купилъ, съ деревней цѣлой
Предъ кончиною простился.

Да на умъ меня наставилъ
Коновалъ одинъ любезный:
Прямо къ спинушкѣ приставилъ
Раскаленный прутъ желѣзный...»

Всѣ хохочутъ... Смѣйся дружно,
Своротивъ съ дороги узкой,
Людъ страдающій, недужный,
Терпѣливый братъ мой, русскій!

Много милости у Бога,
Жизнь не вся въ тебѣ убита,
И широкая дорога
Предъ тобой вдали открыта.

Л. Трефолевъ.

— «И меня,— сказал Ванюха, —
Посетила вражья сила;
Ядовитая, знать, муха
Спину крепко укусила.

Сшил себе я саван белый,
В церкви божьей причастился,
Гроб купил, с деревней целой
Пред кончиною простился.

Да на ум меня наставил
Коновал один любезный:
Прямо к спинушке приставил
Раскаленный прут железный...»

Все хохочут... Смейся дружно,
Своротив с дороги узкой,
Люд страдающий, недужный,
Терпеливый брат мой русский!

Много милости у бога,
Жизнь не вся в тебе убита,
И *широкая* дорога
Пред тобой вдали открыта.

<1864>

БЕЗ ОТВЕТА

Ехала ты шагом первую дорогу
С няней-баловницей помолиться богу.
К церкви приближалась медленно карета...
Ты была, малютка, чудно разодета, —
В церковь легкокрылой бабочкой порхнула
И, взглянув на образ, нянюшке шепнула:
«Посмотри, как чудно матерь божья светит!
Что́ спрошу, наверно мне она ответит?»
Крест святой сложила детская ручонка;
К небу уносился голосок ребенка,

Верой простодушной ты была согрета;
Но... Она молчала, не дала ответа.

Ехала ты быстро, словно от погони,
С барынею-свахой. Убранные кони
С женихом-красавцем к той же церкви мчались.
Встретил вас священник. Пышно вы венчались,
Около налоя обойдя три раза...
Радостные слезы — крупных два алмаза —
По румяным щечкам искрились украдкой...
Грудь твоя вздымалась с верой чистой, сладкой —
Быть всю жизнь любимой, видеть только ласки...
Ты к святой иконе обратила глазки:
«Чтó мне образ скажет тихо и без гнева?»
Но... опять молчала пресвятая дева.

Ехала ты снова, бедная, иначе:
Не в карете пышной, а на жалкой кляче.
Ванька-горемыка, взяв пятиалтынный,
В путь с тобой пустился улицею длинной.
Муж твой разорился в северной столице;
Бедностью убитый, он лежал в больнице.
Ты к нему спешила, чтоб застать живого,
И пред теплым трупом вопросила снова,
Взоры устремляя к ней — за всех скорбящей:
«Буду ли я, дева, женщиной пропащей,
Новой Магдалиной, жрицей полусвета?»
Но... на вопль и слезы не было ответа.

Вот и три дороги! Есть еще *тропинка*,
И по ней пошла ты с горя, сиротинка,
В рубище, в лохмотьях, жалобно рыдая,
С каждым часом ниже, ниже упадая,
И совсем упала — всемогущий боже! —
В доме преступленья на продажном ложе.
Помнишь ли? Однажды, после буйной ночи,
Горькими слезами окропивши очи
И ломая руки, бедная блудница,
Вздумала ты снова деве поклониться,
В угол посмотрела, издавая стоны;
Но.. в проклятом доме не было иконы.

<1864>

СТРЕЛОК

Догорела уж лампада,
Свечи тоже догорели...
Грустных дней моих отрада
Почивает в колыбели.
    Спи, моя малютка,
    Спи, ребенок нежный,
    Цветик незабудка,
    Ландыш белоснежный!

Ты, закрыв лениво глазки,
Лепетала мне упрямо:
«Говори скорее сказки,
Говори же, душка мама,
    Как стоит избушка
    Там на курьих ножках,
    Как живет вострушка
    В красненьких сапожках».

Я баюкала и пела, —
И теперь мой голос звонок, —
Только быль одну не смела
Рассказать тебе, ребенок.
    Жил стрелок когда-то,
    Жил по-барски, строго;
    Погубил, проклятый,
    Красных девок много!

Он ведь не был людоедом
И не лакомился мясом
Бедных девок за обедом,
А ласкал их поздним часом,
    Всех держал в неволе,
    Мучил за работой
    И частенько в поле
    Ездил за охотой.

И ни зайцы, ни лисицы
Пули меткой не боялись;
Только бабы да девицы
От него не укрывались...

Встретится старуха.
«Где?» — он грозно скажет.
Та ответит глухо
И на рожь покажет...

И оттуда он поспешно
Уходил, позвав Фингала...
Кто-то плакал неутешно,
А стрелку и горя мало!
Ведь охота — шутка,
Честное занятье...
О, пошлем, малютка,
Мы стрелку проклятье!

4 декабря 1864

НАКАНУНЕ КАЗНИ

Тихо в тюрьме. Понемногу
Смолкнули говор и плач.
Ходит один по острогу
С мрачною думой палач.
Завтра он страшное дело
Ловко, законно свершит:
Сделает... мертвое тело,
Душу одну... порешит.
Петля пеньковая свита
Опытной, твердой рукой.
Рвать — не порвешь: знаменита
Англия крепкой пенькой.
Сшит и *колпак погребальный*...
Как хорошо полотно!
Женщиной бедной, печальной
Ткалось с любовью оно;
Детям оно бы годилось,
Белое, словно снежок,
Но в кабачке очутилось
Вскоре за батькин должок.
Там англичанин, заплечный
Мастер, буянил и пил;

Труд горемыки сердечной
Он за бесценок купил.
Дюжины три иль четыре
Он накроил *колпаков*
Разных — и у́же, и шире —
Для удалых бедняков.
Все колпаки на исходе,
Только в запасе один;
Завтра умрет при народе
В нем наш герой-палладин.
Кто он? .. Не в имени дело,
Имя его — ни при чем;
Будет лишь сделано «тело»
Нашим врагом-палачом.

Как эту ночь *он* выно́сит,
Как пред холодной толпой
Взор равнодушный он бросит
Или безумно-тупой,
Как в содроганьях повиснет,
Затрепетав, словно лист? —
Всё разузнает и тиснет
Мигом статью журналист.
Может быть, к ней он прибавит
С едкой сатирою так:
«Ловко палач этот давит,
Ловко он рядит в колпак!
Скоро ли выйдет из моды
Страшный, проклятый убор?
Скоро ли бросят народы
Петлю, свинец и топор?»

26 июня 1865

ДУБИНУШКА

(Картинка из бывшего-отжившего)

По кремнистому берегу Волги-реки,
Надрываясь, идут бурлаки.
Тяжело им, на каждом шагу устают
И «Дубинушку» тихо поют.

Хоть бы дождь оросил, хоть бы выпала тень
В этот жаркий, безоблачный день!
Всё бы легче народу неволю терпеть,
Всё бы легче «Дубинушку» петь.

«Ой, дубинушка, ухнем!» И ухают враз...
Покатилися слезы из глаз.
Истомилася грудь. Лямка режет плечо...
Надо «ухать» еще и еще!
...От Самары до Рыбинска песня одна;
Не на радость она создана:
В ней звучит и тоска — похоронный напев,
И бессильный, страдальческий гнев.
Это праведный гнев на злодейку-судьбу,
Что вступила с народом в борьбу
И велела ему под ярмом за гроши
Добывать для других барыши...

«Ну, живее!» — хозяин на барке кричит
И костями на счетах стучит...
...Сосчитай лучше ты, борода-грамотей,
Сколько сложено русских костей
По кремнистому берегу Волги-реки,
Нагружая твои сундуки!

1865

БАТРАК

(Народная легенда)

1

Ох ты, доля, доля женская,
Как подчас ты тяжела!
В страшных муках деревенская
Баба двойни родила.
И старуху-повивальницу
Не успела пригласить:
В Аграфенин день, в «Купальницу»,
Стала травушку косить.
Солнце бабу сильно жарило,
Припекало с головы;

Вдруг в головушку ударило...
И у срезанной травы,
Там, где горькая осинушка
Тень отбросила, одна
Повалилась сиротинушка —
Незамужняя жена.

2

В небе к ангелу крылатому
Обращен был божий глас:
«Мчись стрелой к селу Богатому
И найди скорей сейчас
Под высокою осиною
Бабу — Анною зовут, —
И минутою единою
Соверши над нею суд:
Душу вынь из тела грешного!» —
В небе голос прогремел,
И святой жилец нездешнего
Мира к бабе прилетел.

3

Видит ангел Анну бедную:
Детям, красным как кумач,
Грудь она дает — грудь бедную, —
Унимая детский плач.
Стонет баба: «Дети милые!
С вами — божья благодать:
За дела мои постылые
Вы не будете страдать.
Суждена мне тьма кромешная,
За грехи мои, в аду,
Пусть одна я, многогрешная,
На мученья в ад пойду!
Без друзей живя, без сродников,
Мать-бобылку не виня,
Попросите вы угодников
Заступиться за меня!»

Жалко ангелу-губителю
Близнецов: так хороши!
И явился к вседержителю
Он без грешницы-души.

4

«Что ж ты, вынул душу грешную?»
— «Нет, не вынул, виноват!
Жаль родильницу сердешную,
Больше — жаль ее ребят.
Кто детей накормит смолоду?
Есть чужие не дадут,
Без грудей родимых с голоду
Ребятишки пропадут.
На земной печальной тверди я,
Много грешных душ сгубя,
От тебя жду милосердия
Для детей и для себя!»

Взял господь свой посох каменный
(Не подымет человек!)
И десницей огнепламенной
Пополам гранит рассек.
«Полезай туда старательно,
Выю гордую склони,
Осмотри там всё внимательно,
Что увидишь — объясни!»
Ангел с воплем влез в отверстие,
Перевел в смущеньи дух
И из камня дал известие:
«Мотыльков я вижу двух...»
— «Тот, кто их питал, сторицею
Напитал бы и сирот
Свежей райскою пшеницею...
Не противься же вперед!»
И господь за ослушание
Крыльев ангела лишил
И на землю в наказание
На два года отпустил.

5

У отца Преображенского
Просто чудо — не батрак;
Он не любит пола женского,
Первый враг его — кабак;
Никогда не дожидается
Приказаний попадьи,
Всё работой занимается —
Сеет, жнет, чинит ладьи.
В сентябре, во время темное,
В лодке ездит с острогой,
Метко рыбку бьет, — скоромное
Он не ест: такой благой! ..
А когда придут кутейнички
В Рождество зимой, — «Для вас
(Говорит батрак), келейнички,
Я и саночки припас!»
На горе стоит, любуется,
Усмехаяся, глядит —
Как ребячество балуется,
В легких саночках летит.
«Так бы в царство вам небесное
Вознестися к небесам...
Там жилище есть чудесное...
Что́ смеетесь? Знаю сам! ..»
И батрак на небо взглядывал,
Затуманившись слегка, —
И никто ведь не отгадывал
Емельяна-батрака...

6

Шла неделя за неделею;
Год прошел, прошел другой...
Не нахвалятся Емелею:
Парень смирный, дорогой.
Попадье, большой капризнице,
Угождает он всегда;
Книг достал в церковной ризнице
И читает без труда.

Отдыхает лишь за книгами
И, желая быть в раю,
Изнурил себя веригами
И бичует плоть свою.
Иногда он и юродствовал
Вместе с некоей вдовой,
Но ему не доброхотствовал
Вольнодумец-становой;
Бранью злобной, нехорошею
Оскорблял всегда его:
«Если хочешь быть святошею, —
Вон из стана моего!
Упеку тебя под следствие,
Чтоб народ не возмущал...»
Добрый поп, предвидя бедствие,
«Благодарность» обещал
И, исполнив обещание,
Гнев на милость изменил,
Батраку же увещание
Благодушно учинил:
«От юродства бесполезного
Воздержись: не та пора!
Иль тебя, дружка любезного,
Мы прогоним со двора.
Берегись! Без нашей помощи
Попадешься, друг, в беду!
Есть пора для всякой овощи...
Нынче святость не в ходу!»
И батрак, придя в смущение,
Улыбался, как дитя,
И испрашивал прощение,
Взоры к небу обратя.

7

Как-то летом, за обеднею,
Был батрак у Покрова,
Со старушкою столетнею
Перемолвил слова два:
«Что, страдалица, неможется?
Обижает молодежь?
Верь, что горе уничтожится:

Скоро в лучший мир уйдешь.
Отдохнут в могиле косточки;
Ты узнаешь правый суд;
Скоро правнучки-подросточки
На погост тебя снесут...
Помолись за всех страдающих
На кормилице-земле,
За несчастных, утопающих,
Словно в омуте, во мгле!»
Пригрозив лакею барскому
(Тот всё горничной мигал),
Он отлично пономарскому
Пенью в церкви помогал.
Выходя из храма божия,
Нищей дал старинный грош...
Вдруг все ахнули прохожие:
Камень в крест пустил... Хорош!..
«Что ты, шутишь? Али хмелюшка
В молодой башке шумит?»
Потешается Емелюшка:
Снова камень в крест летит...
И за церковь православную
Заступилась вся толпа, —
И дала науку славную
Без согласия попа.

8

Научен толпою строгою,
Подгулявшею слегка,
Шел батрак путем-дорогою
Близ царева кабака.
Там веселая беседушка
Собралась еще с утра:
Двое пьяниц, два соседушка,
Усидевши полведра,
Друг на друга любовалися,
Оба плакали навзрыд,
Обнимались, целовалися...
Очень нежен русский быт!..
Ох ты, русская идиллия,
Ты кровава и грязна!

...Вот, собравши все усилия,
Стонет пьяницы жена:
«Ты лежи, сынок, до времени,
А как встанешь, подрастешь, —
Из всего ты роду-племени
Раскрасавицу возьмешь.
Так же будешь ты показывать
Над женою власть свою —
И буянить, и наказывать...
Баю-баюшки-баю...»

С воплем женщины сливается
Пьяниц речь, — и что за речь!
Пара пьяниц обещается
«Супротивницу» посечь...
Терпит баба жизнь суровую...
Как ей век с тираном жить?
Всю избил: шубейку новую
Не давала заложить...
Ох ты, доля, доля женская,
Как подчас ты тяжела!
Горемыка деревенская,
Ты зачем сюда пришла?
Иль забыла руку грозную,
Пудовой большой кулак?..
И, творя молитву слезную,
На колени стал батрак.
Засмеялись все прохожие:
«Помешался мужичок!
Призывает имя божие,
А не видит — кабачок!»

9

«Емельян, ты забываешься!
У тебя ведь с мозгом лоб,
А ты чем, брат, занимаешься? —
Горячился добрый поп. —
Ты бесчинствуешь по улицам,
Оскорбляешь божий храм
И — ведь это на смех курицам! —

Стал молиться кабакам...
Это просто еретичество!
За тебя, мой друг, дрожу.
За такое озорничество
Я от места откажу.
То мне больше поразительно,
Что ты вовсе не был пьян...»
Отвечал ему почтительно,
Шапку снявши, Емельян:
«Не в церковные строения
Мой булыжник попадал;
Не пред водкою колени я
Преклонял и вслух рыдал.
Нет, над церковью Покровскою
Я увидел злую рать:
С грозной силою бесовскою
Я и начал воевать.
Там кружились бесы разные;
Изо всех подземных мест
Собралися — безобразные —
И старались сесть на крест...
Пред питейным заведением
Я молился богу... Да!
Пьяный муж с ожесточением
Бил жену свою... Тогда
Я воззвал к царю небесному:
«Иисусе мой, Христе!
Сам ты предан был телесному
Истязанью на кресте.
Ради ран твоих зияющих
Я прошу тебя: спаси
Слабых всех от угнетающих, —
А их много на Руси!..
Не считай за преступления
Всё, что здесь я сотворил...»
И, смутясь от удивления,
Тихо поп проговорил:
«Человек ты хоть и маленький,
А умен, брат!.. Пару кос
Захвати... Денечек аленький...
Мы пойдем на сенокос».

10

Вышли в поле, оглянулися...
Расцвела кругом земля,
И цветами захлебнулися
Бесконечные поля.
Дети сумрачного севера —
Море синих васильков,
Море розового клевера —
Наградите бедняков!
В утро солнечное, чистое
Вы, покрытые росой,
В сено мягкое, душистое
Обращайтесь под косой;
И потом копной высокою
Подымайтесь к небесам,
Не мешайтесь лишь с осокою
По долинам и лесам!

До осоки не касается
Поп Иван — лихой косец, —
С батраком перекликается:
«Не ленися, молодец!
Обработай эти полосы!»
Блещут косы по траве...
Вдруг поднялись дыбом волосы
У попа на голове.
Он услышал речи смелые
И увидел чудеса:
«Дай мне, боже, крылья белые!
Я хочу на небеса.
Долго ль ангелу унылому
В батраках жить по найму?
Не пора ль ему, бескрылому,
Бросить грешную тюрьму?
Здесь тюрьма, житье порочное,
Между братьями вражда...
Наказание урочное
Вынес я... Туда! Туда!»

Так, смотря на небо синее,
Бедный ангел тосковал, —

И ему, белее инея,
Крылья длинные бог дал.
Он поднялся... «Унесу
О земле воспоминания! —
Так сказал. — Среди небес
Люда сельского страдания
Буду помнить...» И — исчез.

<1867>

ПЕСНЯ О КАМАРИНСКОМ МУЖИКЕ

Ах ты, милый друг, камаринский мужик,
Ты зачем, скажи, по улице бежишь?

Народная песня

1

Как на улице Варваринской
Спит Касьян, мужик камаринский.
Борода его всклокочена
И *дешевкою* подмочена;
Свежей крови струйки алые
Покрывают щеки впалые.
Ах ты, милый друг, голубчик мой Касьян!
Ты сегодня именинник, значит — пьян.
Двадцать девять дней бывает в феврале,
В день последний спят Касьяны на земле.
В этот день для них зеленое вино
Уж особенно пьяно, пьяно, пьяно.

Февраля двадцать девятого
Целый штоф вина проклятого
Влил Касьян в утробу грешную,
Позабыл жену сердечную
И своих родимых деточек,
Близнецов двух, малолеточек.

Заломивши лихо шапку набекрень,
Он отправился к куме своей в курень.
Там кума его калачики пекла;
Баба добрая, румяна и бела,
Испекла ему калачик горячо
И уважила... еще, еще, еще.

2

В это время за лучиною
С бесконечною кручиною
Дремлет-спит жена Касьянова,
Вспоминая мужа пьяного:
«Пресвятая богородица!
Где злодей мой хороводится?»
Бабе снится, что в веселом кабаке
Пьяный муж ее несется в трепаке,
То прискочит, то согнется в три дуги,
Истоптал свои смазные сапоги,
И руками и плечами шевелит...
А гармоника пилит, пилит, пилит.

Продолжается видение:
Вот приходят в *заведение*
Гости, старые приказные,
Отставные, безобразные,
Красноносые алтынники,
Всё Касьяны именинники.

Пуще прежнего веселье и содом.
Разгулялся, расплясался пьяный дом.
Говорит Касьян, схватившись за бока:
«А послушай ты, приказная *строка,*
У меня бренчат за пазухой гроши:
Награжу тебя... Пляши, пляши, пляши!»

3

Осерчало *благородие:*
«Ах ты, хамово отродие!
За такое поношение
На тебя подам прошение.
Накладу еще в потылицу!
Целовальник, дай чернильницу!»

Продолжается всё тот же вещий сон:
Вот явился у чиновных у персон
Лист бумаги с государственным орлом.
Перед ним Касьян в испуге бьет челом,

А обиженный куражится, кричит
И прошение строчит, строчит, строчит.

«Просит... имя и фамилия...
Надо мной чинил насилия
Непотребные, свирепые,
И гласил слова нелепые:
Звал *строкой*, противно званию...
Подлежит сие к поданию...»

Крепко спит-храпит Касьянова жена.
Видит баба, в вещий сон погружена,
Что мужик ее хоть пьян, а не дурак,
К двери пятится сторонкою, как рак,
Незамеченный чиновником-врагом,
И — опять к куме бегом, бегом, бегом.

4

У кумы же печка топится,
И кума спешит, торопится.
Чтобы трезвые и пьяные
Калачи ее румяные
Покупали, не торгуяся,
На калачницу любуяся.

Эко горе, эко горюшко, хоть плачь!
Подгорел совсем у кумушки калач.
Сам Касьян был в этом горе виноват:
Он к куме своей явился невпопад,
Он застал с дружком изменницу-куму,
Потому что, потому что, потому...

«Ах ты, кумушка-разлапушка,
А зачем с тобой Потапушка?
Всех людей считая братцами,
Ты не справилась со святцами.
Для Потапа безобразника
Нынче вовсе нету праздника!»

Молодецки засучивши рукава,
Говорит Потап обидные слова:

«Именинника поздравить мы не прочь,
Ты куму мою напрасно не порочь!»
А кума кричит: «Ударь его, ударь!
Засвети ему фонарь, фонарь, фонарь!»

5

Темной тучей небо хмурится.
Вся покрыта снегом улица;
А на улице Варваринской
Спит... мертвец, мужик камаринский,
И, идя из храма божия,
Ухмыляются прохожие.

Но нашелся наконец из них один,
Добродетельный, почтенный господин, —
На Касьяна сердобольно посмотрел:
«Вишь налопался до чертиков, пострел!»
И потыкал нежно тросточкой его:
«Да уж он совсем... того, того, того!»

Два лица официальные
На носилки погребальные
Положили именинника.
Из кармана два полтинника
Вдруг со звоном покатилися
И... сквозь землю провалилися.

Засияло у хожалых «рожество»:
Им понравилось такое колдовство,
И с носилками идут они смелей,
Будет им ужо на водку и елей;
Марта первого придут они домой,
Прогулявши ночь... с кумой, с кумой, с кумой.

1867

ГРАМОТКА

Дарья-молодка от радости плачет:
Есть письмецо к ней, — из Питера, значит.
Стало быть, муж посылает поклон.
Скоро ли сам-то воротится он?

Незачем медлить в холодной столице,
Время вернуться к жене-молодице,
Платьем-обновкой утешить ее...
Славное будет в деревне житье!

Сбегала Дарья к дьячку Еремею,
Просит его: «Я читать не умею,
Ты прочитай мне, хоть ради Христа!
Дам я за то новины и холста».
Горло прочистив забористым квасом,
Начал читать он октавою-басом,
Свистнул отчаянно, в нос промычал
И бородою с тоской покачал.

«Дарья-голубушка! Вести о муже...
Жаль мне тебя, горемычная, вчуже!
Слез понапрасну ручьями не лей...
Умер в больнице твой муж Пантелей».
Грохнулась óземь со стоном бабенка.
«Как воспитаю без мужа ребенка?
Я ведь на сносях!» — «Сие вижу сам, —
Значит, угодно сие небесам;
Значит, сие испытание свыше.
Ты причитай, ради чада, потише!
Главное дело, терпенье имей! —
Молвил любовно дьячок Еремей. —
Слушай, что пишут тебе из артели:
«Вас письмецом известить мы хотели,
Что уж давненько, великим постом,
Умер супруг ваш и спит под крестом.
Плохи у нас, у рабочих, квартеры:
Гибнем, как мухи, от тифа, холеры.
Всяких недугов нельзя перечесть,
Сколько их — дьяволов — в Питере есть!
Тиф и спалил, как огонь, Пантелея.
Грешную душеньку слезно жалея,
Мы пригласили попа. Причастил,
Добрый такой: все грехи отпустил.
Гроб мы устроили целой артелью;
Вырыть могилу велели Савелью;

Дядя Гаврило и дядя Орест
Сделали живо березовый крест.
Сенька (он грамотен больно, разбойник!)
Надпись наляпал: «Спи добрый покойник».
Барин ее, эту надпись, читал,
В стеклышко щурясь, и вдруг засвистал.
«Что ты свистишь?» — обозлился Ананий.
«*Знаков* не вижу...» — «Каких?» —
«Препинаний!»
Добрые люди, чтоб нам удружить,
Знак и на мертвых хотят наложить.
Знаков наложено слишком довольно!..
Тут, умилясь, по душе, сердобольно
Выпили мы на поминках...»
...За сим
Следует подпись: *«Артельщик Максим»*.

Дальше нет речи о Дарьином горе,
Дальше — поклоны: невестке Федоре,
Бабке Орине и братцу Фоме,
Тетке Матрене и Фекле куме.

13 февраля 1867

ЖАР-ПТИЦА

Раз вели переговоры
Об одной заморской птице
Благородные синьоры,
Штабы, оберы и вице.
На сужденья были тонки...
(Я сидел, нагнувши плечи,
И записывал в сторонке
Слово в слово эти речи).
Оживляясь понемногу,
Говорили так особы:
«Ну, уж птица! .. В ней, ей-богу,
Поселился демон злобы.
Рада с каждого холопа
Сбросить цепи, дать свободу;

Либеральная Европа
За нее в огонь и воду.
Посвист птицы — молодецкий!
Собирали все усилья
Меттерних и граф Радецкий
У нее подрезать крылья.
Черта с два!.. По воле рока
Эта птица, феникс древний,
Распустила хвост широко
И над русскою деревней.
Клюв у ней ужасно тонкий,
Скажем мы не без досады, —
И свободный голос звонкий,
Полный неги и отрады.
Увлеклись молокососы,
Как сиреной, этим пеньем;
Мы же, истинные россы,
Не знакомы с увлеченьем:
Мы смекнули, что Жар-птица
Для великого народа
Не годится, не годится,
Как опасная свобода!
Дело клонится к развязке,
И у нас одна забота:
Как Иван-царевич в сказке,
Расставлять везде тенета.
Здесь нельзя без вероломства,
Хоть мы люди и незлые...
Сохраним же для потомства
Наши яблоки гнилые!
Затемним опять садочек
И отправим эту птицу,
При записке в десять строчек,
Под конвоем — за границу.
И в записке скажем, дружно
Европейцев всех ругая,
Что Жар-птицы нам не нужно,
А пришлите... попугая!

16 марта 1867

РЕКРУТЧИНА

У рекрутского присутствия собралось народу множество;
Тут и молодость ученая, тут и темное убожество.
Темнота, повесив голову, смотрит в землю мрачной тучею,
И поет ей ветер песенку — вьюгой зимнею, трескучею:
— Я спою вам, православные, веселее, чем гармоника!
Вы служите верой-правдою, супостатов бейте с о́ника.
Вы служите верой-правдою, и чрез десять лет, не менее,
Отпроситесь у начальников заглянуть в свое селение.
Ваши жены, бабы грешные, приготовят по подарочку:
По ребенку годовалому, а не то и сразу парочку».

1 апреля 1867

СТРАННИК

Утром раненько дорогой плохой
Выехал Сивко с тяжелой сохой.

Стал он на части железом ломать
Твердую землю, кормилицу-мать;

Следом за Сивкой хозяин-мужик
Тихо идет, головою поник,

Песней веселой лошадку не тешит,
Всей пятернею затылок свой чешет,

И разражается крепким словцом
Пред безответным своим жеребцом.

Вспомнил бедняк, при забористом слове,
Быль, а не сказку, о бурой корове.

Сильно буренку-кормилицу жаль;
С ней приключилась такая печаль:

Сивко, послушай! — Ко мне из Соловок
Странник пришел, на язык больно ловок.

«Я, дескать, грешник, — с одним посошком
Исколесил всю Россию пешком;

Словно душа за грехи, по мытарствам
Долго блуждал по языческим царствам;

Жаждой духовною, значит, палим,
Зрел я и самый град Ерусалим!

Ад показали мне добрые греки:
Мучатся в жупеле там человеки,

Жалобно, слезно они голосят;
Черти палят их, как вы — поросят.

Ты, пребывая в невежестве глупом,
И не слыхал, что земля наша с пупом!

Темное чадо, внемли мне, внемли!
Я рассмотрел самый пуп у земли!..»

Разных чудес он поведал мне с кучу.
Все повторять, так, пожалуй, наскучу.

Слушай же, Сивко! С хозяйкой в ночи
Только успел я вздремнуть на печи,

Вижу: сбирается странник прохожий.
«Переночуй, человече ты божий».

— «Нет, — говорит, — ночевать не могу,
Или, пожалуй, отдамся врагу!

Шепчет мне бес: ты залезь на полати,
Побалагурь же с хозяйкою кстати.

Славная баба! Красива, толста,
Грудь как у лебеди, сахар — уста...

Силен проклятый: я дьявола трушу».
Так и ушел он, спасаючи душу.

Мне не спалось, не спала и жена,
С боку и на бок вертелась она,

Стонет и мечется... ахи да охи...
«Что, — говорю, — Катеринушка, блохи?»

«Нет, — отвечает, — уж мне не до блох:
Больно замок у сарайчика плох.

Надо взглянуть, подобру-поздорову,
Не волочил ли прохожий корову?»

— «Полно, Катюша, пустое молоть:
Странник спасает и душу и плоть,

После него всё останется цело,
Он не пойдет на бесчестное дело.

Лучше молитву скорей сотвори,
Да и усни до восхода зари».

Баба не слушает, баба упряма,
С печки сошла — и к сарайчику прямо...

Грянулась о́земь: прохожий злодей
Свел коровенку у бедных людей!

Так то-ста, Сивко! .. Да ну же, иди!
Много работы еще впереди!

<1867>

ДЕТСКИЕ ГОДЫ

Я помню, помню дом родной,
Где солнце утренней порой
Смотрело в узкое окно;
Ко мне являлося оно
Не очень рано и, блестя,
Меня, ленивое дитя,
Не утомляло долгим днем...
А нынче только об одном
Прошу: чтоб ночь скорей прошла
И жизнь с собою унесла!

Я помню, помню садик. Там
Привольно розовым кустам;
Там чашечки моих лилей
Блистали с каждым днем светлей.

Цвела сирень; на ней тогда
Пел соловей среди гнезда...
Там, много дней тому назад,
Ракиту посадил мой брат.
Стоит ракита у ручья,
Она растет... но вяну я.

Я помню, помню и качель,
Где я, быстрее чем метель,
Взвивался, позабыв урок.
В лицо мне веял ветерок,
Была минута хороша,
Когда летел я, чуть дыша,
Казалось, страшно далеко,
И было так в груди легко...
Теперь же грудь утомлена,
Тоской придавлена она.

Я помню, помню ели те,
Что в гордой, мрачной красоте
Неслись вершиной к небесам,
И думал я, и верил сам,
Что подпирает этот лес
Своей вершиной свод небес...
Ах! Это был лишь детский бред;
Но, право, радости в том нет,
Что я теперь одно узнал,
Как от небес далек я стал!

<1868>

ШУТ

(Картинка из чиновничьего быта)

1

В старом вицмундире с новыми заплатами
Я сижу в трактире с крезами брадатыми.
Пьяница, мотушка, стыд для человечества,
Я — паяц, игрушка русского купечества.
«Пой, приказный, песни!» — крикнула компания.
«Не могу, хоть тресни, петь без возлияния».

Мне, со смехом, крезы дали чарку пенного,
Словно вдруг железы сняли с тела бренного.
Выпивши довольно, я смотрю сквозь пальчики,
И в глазах невольно заскакали «мальчики».
«Ох, создатель! Эти призраки унылые —
Всё родные дети, дети мои милые.
Первенца, Гришутку, надо бы в гимназию...
(Дайте на минутку заглянуть в мальвазию!)
Сыну Николаю надо бы игрушечку...
(Я еще желаю, купчики, косушечку!)
Младший мой сыночек краше утра майского...
(Дайте хоть глоточек крепкого ямайского!)
У моей супруги талья прибавляется...
(Ради сей заслуги выпить позволяется!)» —
«Молодец, ей-богу, знай с женой пошаливай,
Выпей на дорогу и потом — проваливай!»

2

Я иду, в угаре, поступью несмелою,
И на тротуаре всё «мыслете» делаю.
Мне и горя мало: человек отчаянный,
Даже генерала я толкнул нечаянно.
Важная особа вдруг пришла в амбицию:
«Вы смотрите в оба, а не то — в полицию!»
Стал я извиняться, как в театре комики:
«Рад бы я остаться в этом милом домике;
Топят бесподобно, в ночниках есть фитили, —
Вообще удобно в даровой обители;
В ней уже давненько многие спасаются...
Жаль, что там маленько клопики кусаются,
Блохи эскадроном скачут, как военные...
Люди в доме оном всё живут почтенные.
Главный бог их — Бахус... Вы не хмурьтесь тучею,
Ибо вас с размаху-с я толкнул по случаю».
И, смущен напевом и улыбкой жалкою,
Гривну дал он, с гневом погрозивши палкою.

3

Наконец я дома. Житие невзрачное:
Тряпки да солома — ложе наше брачное.

Там жена больная, чахлая и бледная,
Мужа проклиная, просит смерти, бедная.
Это уж не грезы: снова скачут мальчики,
Шепчут мне сквозь слезы, отморозив пальчики:
«Мы, папаша, пляшем, потому что голодно,
А руками машем, потому что холодно.
Отогрей каморку в стужу нестерпимую,
Дай нам хлеба корку, пожалей родимую!
Без тебя, папаша, братца нам четвертого
Родила мамаша — худенького, мертвого...»

4

Я припал устами жадно к телу птенчика.
Не отпет попами, он лежал без венчика.
Я заплакал горько... Что-то в сердце рухнуло...
Жизнь птенца, как зорька, вспыхнувши, потухнула.
А вот мы не можем умереть — и маемся.
Корку хлеба гложем, в шуты нанимаемся.
Жизнь — плохая шутка... Эх, тоска канальская!
Пропивайся, ну-тка, гривна генеральская!

<1868>

ЧЕСТНЫЙ ДОЛЖНИК

1

Я умру бедняком неизвестным,
Заплатив за визиты врачу;
Должником, негодяем бесчестным
Я в могиле лежать не хочу.

2

Я умру, заплатив до копейки
И хозяйке моей все долги,
Хоть и жил я у старой злодейки,
Как в избушке у бабы-яги.
В конуре развалившейся, грязной
Дождь меня, горемыку, мочил,
И чахотку — несчастный приказный —
Я в вертепе моем получил.

3

Я умру, заплатив непременно
В кабаке целовальнику. Там
Сколько раз я мечтал вдохновенно,
Поднося злую влагу к устам!..
Ты сидельца прости, всемогущий!
Он вино настоял табаком
И какой-то загадочной гущей...
(С ним акцизный смотритель знаком).

4

Я умру... Но тебе, мой голубчик,
Бедный школьник, оставить позволь
Небогатый подарок — тулупчик,
Хоть его и испортила моль.
Ходишь ты в затрапезном халате
В семинарию даже зимой;
Так не будет ли, юноша, кстати
Небогатый подарочек мой?

5

Я умру — отслужи панихиду,
Сам с дьячками дискантиком пой,
Да другим не давайся в обиду
И иди в жизни твердой стопой!
Полюби горячее науку
И не будь бессердечен и глуп.
Дай же, милый, мне честную руку
И возьми мой последний тулуп!

<1868>

К МОЕМУ СТИХУ

Мой бедный неуклюжий стих
Плохими рифмами наряжен,
Ты, как овечка, слаб и тих,
Но, слава богу, не продажен.

«Слова! Слова! Одни слова!» —
О нет, зачем же мне не верить?
Пусть ошибется голова,
Но сердцу стыдно лицемерить.

5 ноября 1870

ПОШЕХОНСКИЕ ЛЕСА

(Савве Яковлевичу Дерунову)

Ох, лесочки бесконечные,
Пошехонские, родимые!
Что шумите, вековечные
И никем не проходимые?

Вы стоите исполинами,
Будто небо подпираете,
И зелеными вершинами
С непогодушкой играете.

Люди конные и пешие
Посетить вас опасаются:
Заведут в трущобу лешие,
Насмеются, наругаются.

Мишки злые, неуклюжие
Так и рвутся на рогатину:
Вынимай скорей оружие,
Если любишь медвежатину!

Ох, лесочки бесконечные,
Пошехонские, родимые!
Что шумите, вековечные
И никем не проходимые?

Отвечают сосны дикие,
Поклонившись от усердия:
«К нам пришли беды великие, —
Рубят нас без милосердия.

Жили мы спокойно с мишками,
Лешим не были обижены;

А теперь, на грех, мальчишками
Пошехонскими унижены».

«Доля выпала суровая! —
Зашумели глухо елочки. —
Здесь стоит изба тесовая,
Вся новехонька, с иголочки.

Земской школой называется.
Ребятишек стая целая
В этой школе обучается
И шумит, такая смелая!

И мешает нам дремать в глуши,
Видеть сны, мечты туманные...
Хороши ли, путник, — сам реши, —
Эти школы окаянные?»

Нет, лесочки бесконечные,
Ваша жизнь недаром губится.
Я срубил бы вас, сердечные,
Всех на школы... да не рубится!

1870

ЧТО Я УМЕЮ НАРИСОВАТЬ?

Я художник плохой: карандаш
Повинуется мне неохотно.
За рисунок мой денег не дашь,
И не нужно, не нужно... Когда ж
Я начну рисовать беззаботно, —
Всё выходит картина одна —
Безотрадная, грустно-смешная,
Но для многих, для многих родная...
Посмотри: пред тобою она!

...Редкий, мелкий сосновый лесок;
Вдоль дороги — огромные пенья
Старых сосен (остатки именья
Благородных господ) и песок,

Выводящий меня из терпенья.
Попадаешь в него, будто в плен:
Враг, летающий желтою тучей,
Враг опасный, коварный, зыбучий,
Засосет до колен, до колен...

Ходит слух, что в Сахарской степи
Трудновато живется арабу...
Пожалей также русскую бабу
И скажи ей: «Иди и терпи!
Обливаючи потом сорочку,
Что прилипла к иссохшей груди,
Ты, голубка, шагай по песочку!
Будет время: промаявшись ночку,
Утром степь перейдешь, погоди!»

Нелегко по песочку шагать:
Этот остов живой истомился.
Я готов бы ему помогать,
На картине построил бы гать,
Да нельзя: карандаш надломился!
Очиню. За леском, в стороне,
Нарисую широкое поле,
Где и я погулял бы на воле.
Да куда!.. Не гуляется мне.
Нет, тому, кто погрязнул давно
В темном омуте, в жизненной тине,
Ширь, раздолье полей мудрено
Рисовать на унылой картине.
Нет, боюсь я цветущих полей,
Начертить их не хватит отваги...
Карандаш, не жалея бумаги,
Деревеньку рисует смелей.

Ох, деревня! Печально и ты
Раскидалась вдоль речки, за мостом,
Щеголяя обширным погостом...
Всюду ставлю кресты да кресты...
Карандаш мой, не ведая меры,
Под рукою дрожащей горит
И людей православных морит
Хуже ведьмы проклятой — холеры.

Я ему подчинился невольно:
Он рукою моей, как злодей,
Овладел и мучительно, больно
Жжет ее...   .
                ...Мертвых слишком довольно.
Нам живых подавайте людей!

Вот и люди... И дьякон, и поп,
На гумне, утомившись, молотят,
И неспелые зерна, как гроб
Преждевременный, глухо колотят.
. . . .
...Вот и люди... Огромный этап
За пригорком идет вереницей...
Овладевши моею десницей,
Карандаш на мгновенье ослаб,
Не рисует: склонился, как раб
Перед грозной восточной царицей.
Я его тороплю, чтобы он
Передал в очертаниях ясных
И бряцание цепи, и стон,
И мольбу за погибших, «несчастных»...
У колодца молодка стоит,
Устремив на несчастных взор бледный...
Подойдут к ней — она наградит
Их последней копейкою медной...

...Вот и люди, веселые даже,
Подпершись молодецки в бока,
Входят с хохотом в дверь кабака...
...О создатель, создатель! Когда же
Нарисую я тонко, слегка,
Не кабак, а просторную школу,
Где бы люд православный сидел,
Где бы поп о народе радел?
Но, на грех, моему произволу
Карандаш назначает предел.
Он рисует и бойко и метко
Только горе да жизненный хлам, —
И ломаю зато я нередко
Мой тупой карандаш пополам.

1870

НА БЕДНОГО МАКАРА И ШИШКИ ВАЛЯТСЯ

(Русская пословица)

Макарам всё не ладится. Над бедными Макарами
Судьба-злодейка тешится жестокими ударами.
У нашего крестьянина, у бедного Макарушки,
Ни денег нет на черный день, ни бабы нет сударушки.
По правде-то, и деньги есть: бренчит копейка медная.
И баба есть: лежит она, иссохшая и бледная.
Помочь бы ей, да чем помочь? Не по карману, дóроги
Все лекаря и знахари, лихие наши вóроги.

Макар-бедняк, любя жену, не знает темной ноченьки,
Не спит, сидит, вздыхаючи, слезой туманя оченьки.
Слезами не помочь беде — есть русская пословица,
А бабе-то, страдалице, всё пуще нездоровится.
«Не плачь, моя голубушка! — решил Макар
с усмешкою. —
Продам кобылку в городе со сбруей и тележкою.
И заплачу я лекарю: он больно жаден, гадина!»
Вошел Макар в пустой сарай: кобылка-то украдена.

Настало лето красное. Стоят денечки славные.
И молятся от радости на церковь православные.
Повсюду пчел жужжание в цветах душистых слышится.
И рожь обильным колосом волнуется, колышется.
Макар-бедняк утешился с женой надеждой сладкою,
И пляшет, как помешанный, пред бабою с присядкою;
Плясал, плясал и выплясал, и рвет в досаде волосы:
Ударил град... и выбил все Макарушкины полосы.

Макар печально думает: «Отправлюсь до Симбирска я,
Есть у меня один талант: есть сила богатырская;
Достались от родителя мне плечи молодецкие,
И буду я таскать суда тяжелые купецкие».
Бурлачить стал Макарушка. Идет дорогой долгою,
Знакомится под лямкою с кормилицею Волгою.
Поет свою «Дубинушку» с тоскою заунывною,
Домой же возвращается с одною медной гривною.

Прокляв купца-обманщика и дальную сторонушку,
Идет Макар на торг в село, продать свою буренушку.
По ней ребята плакали, как будто о покойнике;

Жена бежала улицей в изношенном повойнике
И голосила жалобно, больная, истомленная:
«Прощай, моя скотинушка, прощай, моя кормленая!»
Макар, вернувшись, кается перед женою строгою:
«Я деньги за корову взял, да... потерял дорогою».

Жена его осыпала и бранью и упреками:
«Разбойник, простофиля ты! Как быть теперь с оброками?
Уж сколько горя горького в замужстве испытала я!
Я кашляю — и кровь течет из горла бледно-алая...
Проси отсрочки подати!» — И гонит в исступлении.
Макар пошел на суд мирской; но в волостном правлении
За недоимки старые, как водится с Макарами,
Недешево отделался... побоями, ударами.

Макара пуще прежнего грызет нужда проклятая.
Вдруг слышит он: приехала помещица богатая,
Такая добродушная, такая сердобольная,
Собою величавая и страшно богомольная.
С народом обращается без хитрости, не с фальшею,
И величают все ее «почтенной генеральшею».
Макар-бедняк в хоромы к ней пришел за покровительством,
Но... выгнан был, как пьяница, ее превосходительством.

Ошиблась крепко барыня. Не вор он и не пьяница.
Да с горя и Макарушке понадобилась скляница.
Идет в кабак Макар-бедняк нетвердою походкою,
Залить свою печаль-змею усладой русской — водкою;
Но баба-целовальница не верит в долг, ругается:
«Вина-то здесь бесплатного для всех не полагается,
Ступай назад, проваливай, не то скажу я сотскому!»
И побежал Макарушка стрелой к леску господскому.

Лесочек был сосняк густой. Шумели сосны дикие.
Поведал им Макарушка беды свои великие:
Как жизнь прошла нерадостно, как бедствовал он смолоду,
Как привыкал под старость он и к холоду и к голоду.
Довольно жить Макарушке, пришлось бедняге вешаться...
Но даже сосны старые над горемыкой тешатся:
Он умереть сбирается, из глаз слезинки выпали...
Вдруг шишки, стукнув в голову, всего его осыпали.

24 февраля 1872

НАША ДОЛЯ—НАША ПЕСНЯ

(Памяти Ивана Захаровича Сурикова)

Я тоски не снесу
И, прогнавши беду,
На свободе в лесу
Долю-счастье найду.

Отзовись и примчись,
Доля-счастье, скорей!
К сироте постучись
У тесовых дверей.

С хлебом-солью приму
Долю-счастье мое,
Никому, никому
Не отдам я ее!

Но в лесной глубине
Было страшно, темно.
Откликалося мне
Только эхо одно...

Так и песня моя
Замирает в глуши
Без ответа... Но я —
Я пою от души.

Пойте, братья, и вы!
Если будем мы петь,
Не склоняя главы, —
Легче горе терпеть.

Что ж мы тихо поем?
Что ж наш голос дрожит?
Не рекой, а ручьем
Наша песня бежит..

<1876>

ДВА МОРОЗА МОРОЗОВИЧА

(Сказка)

Ветер холодный уныло свистит.
По полю тройка, как вихорь, летит.
Едет на тройке к жене молодой
Старый купчина с седой бородой,
Едет и думает старый кащей:
«Много везу драгоценных вещей,
То-то обрадую дома жену!
С ней на лебяжьей перине усну,
Утром молебен попам закажу:
Грешен я, грешен, мамоне служу!
Если мильон барыша получу —
Право, Николе поставлю свечу».

Ветер, что дальше, становится злей,
Снег обметает с широких полей,
Клонит верхушки берез до земли.
Тройку, за вьюгой, не видно вдали.
Следом за тройкой, в шубенке худой,
Едет мужик, изнуренный нуждой,
Едет и думает: «Черт-те возьми!
Плохо живется с женой и детьми;
Рад я копейке, не то что рублю...
Грешник, казенных дровец нарублю;
Если за них четвертак получу —
Право, Николе поставлю свечу».

Два молодца под березкою в ряд
Сели и вежливо так говорят:
«Братец мой старший, Мороз Синий Нос,
Что это вы присмирели давно-с?»
— «Братец мой младший, Мороз Красный Нос,
Я предложу вам такой же вопрос».
— «Видите, братец, случилась беда:
Добрые люди не ходят сюда;
Только медведицы злые лежат,
Нянчат в берлогах своих медвежат;
Шуба у них и тепла и толста.
Нет здесь добычи, глухие места».

— «Правду изволили, братец, сказать:
Некого в здешнем краю наказать.
Наш Пошехонский обширный уезд —
Это одно из безлюднейших мест.
Но погодите, не плачьте пока:
Я замечаю вдали седока.
Вот и добыча пришла наконец!
С ярмарки едет богатый купец,
Вы догоните его на скаку,
Да и задайте капут старику!
Пожил, помучил крещеный народ...
Что же стоите? Бегите вперед!»

— «Братец любезный, Мороз Синий Нос,
Это исполнить весьма мудрено-с.
Старый купчина отлично одет;
В шубу медвежью мне доступу нет.
Как подступиться к мехам дорогим?
Лучше потешусь сейчас над другим.
Едет на кляче мужик по дрова...
Эх, бесшабашная дурь-голова!
Ветхая шапка... овчинный тулуп...
Братец, признайтесь: мой выбор не глуп?»
— «Ладно, посмотрим. Да, чур, не пенять!
Живо, проворней, пора догонять!»

Ночью в лесу два Мороза сошлись;
Крепко, любовно они обнялись.
Старший не охает: весел и смел;
Младший избитую рожу имел.
«Что с вами, братец, Мороз Красный Нос?»
— «Ах, я желаю вам сделать донос!»
— «Жалобу-просьбу я выслушать рад,
Хоть и пора бы ложиться нам, брат.
Сон так и клонит к холодной земле;
Полночь пробили в соседнем селе;
В небе спокойно гуляет луна,
Так же, как вы, и грустна и бледна».

— «Братец, мне больно: везде синяки
Страшные знаки мужицкой руки.

Как еще только дышать я могу,
В лапы попавшись лихому врагу!
Я невидимкой к нему подбежал.
Вижу: разбойник как лист задрожал,
Морщится, ежится, дует в кулак,
Крепко ругается, так вот и так:
«Стужа проклятая, дьявол-мороз!»
Я хохотал втихомолку до слез,
Ловко к нему под шубенку залез,
Начал знобить — и приехали в лес.

Лес был огромный. Зеленой стеной
Он, понахмурясь, стоял предо мной.
Сосны и ели шумели кругом,
Чуя смертельную битву с врагом.
Вот он вскочил и, схвативши топор,
Ель молодую ударил в упор.
Брызнули щепки... Работа кипит...
Вздрогнуло деревцо, гнется, скрипит,
Просит защиты у старых подруг —
Елок столетних — и падает вдруг
Перед убийцей... А он, удалой,
Шапку отбросил, шубенку — долой!

Вижу: согрелся злодей-мужичок,
Будто приехал не в лес — в кабачок,
Будто он выпил стаканчик винца:
Крупные капли струятся с лица...
Мне под рубашкою стало невмочь,
Вздумал я горю лихому помочь,
В шубу забрался с великим трудом —
Шуба покрылась и снегом и льдом;
Стала она, как железо, тверда...
Тут приключилась другая беда:
Этот злодей, подскочивши ко мне,
Ловко обухом хватил по спине.

Спереди, сзади, больней палача,
Долго по шубе возил он сплеча.
Словно овес на гумне молотил, —
Сотенки две фонарей засветил.

Сколько при этом я слышал угроз:
«Вот тебе, вот тебе, дьявол-мороз!
Как же тебя, лиходея, не бить?
Вздумал шубенку мою зазнобить,
Вздумал шутить надо мной, сатана?
Вот тебе, вот тебе, вот тебе, на!» —
Мягкою стала овчина опять,
И со стыдом я отправился вспять».

С треском Мороз Синий Нос хохотал,
Крепко себя за бока он хватал.
«Господа бога в поруки беру,
Моченьки нету, со смеху умру!
Глупый, забыл ты, что русский мужик
С детских пеленок к морозам привык.
Смолоду тело свое закалил,
Много на барщине поту пролил,
Надо почтенье отдать мужику:
Всё перенес он на долгом веку,
Силы великие в нем не умрут.
Греет его — благодетельный *труд!*»

<1876>

СИТСКИЕ КУРГАНЫ

(Николаю Петровичу Топорнину)

Где билась Русь с тиранами,
    Где бой кипел упорный, —
Над Ситскими курганами
    Поднялся ворон черный.

Ты, птица-ворон, рада ли,
    Или дрожишь от злости,
Что здесь не видишь падали,
    Что спрятаны здесь кости?

«Какая радость ворону
    Терпеть жестокий голод?
Мой пращур эту сторону
    Любил, когда был молод.

ВЪ ПОЛЬЗУ БАЛКАНСКИХЪ СТРАДАЮЩИХЪ СЛАВЯНЪ.

СЛАВЯНСКІЕ ОТГОЛОСКИ.

Стихотворенія Л. Н. Трефолева.

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ.

Ярославль.
Типографія Губернской Земской Управы.
1877.

Над мертвецами голыми
Он часто здесь кружился
И с грозными монголами
Сердечно подружился.

Он сохранил предание
Чудесное в потомстве:
Не зная сострадания,
В свирепом вероломстве,

Рубил монгол без жалости
Князей святых, великих,
И мчался без усталости
На кобылицах диких.

Под страшными ударами
Склонилась Русь в неволе,
Потом сошлась с татарами
На Куликовом поле.

Там Дмитрий-князь прославился
Победой. Напоследок
На пир туда отправился
Мой благородный предок...

Настали дни прекрасные,
Когда явились турки...
У нас ведь очи ясные,
Мы не играем в жмурки!

Мы видим лучше сокола!..
На крыльях молодецких
Летал мой предок около
Наездников турецких.

Он наблюдал за битвою
В тени зеленой вербы,
И видел, как с молитвою
Рубились с турком сербы.

Царь Лазарь пал израненный, —
    И турок в дикой мести,
Победой отуманенный,
    Кровь с вороном пил вместе...»

Молчи ты, птица вредная,
    Лети назад по воле!
Раздастся песнь победная
    И на Косовом поле.

Над Ситскими курганами
    Спокойно в наши годы.
Коссовскими полянами,
    Под знаменем свободы,

Помчимся за убийцею,
    Врага сразим сурово,
Сквитаемся сторицею
    За *Сить* и за *Косово!*

<1876>

ПОХОРОНЫ

Хоронили его в полуночном часу,
Зарывали его под березой в лесу
Бросив в землю его без молитв, без попа,
Разошлась по домам равнодушно толпа.

И о нем плакал только нахмуренный лес;
На могилу смотрели лишь звезды с небес;
Мертвеца воспевал лишь один соловей,
Притаившись в кустах под навесом ветвей.

Тот, кто пулей свинцовой себя погубил,
Этот лес, это небо и звезды любил;
Он лесного певца на свободу пустил,
Потому что и сам о свободе грустил.

<1876>

КОНСТИТУЦИЯ

«И в Стамбуле конституция! —
Сидор Карпыч мне сказал, —
А у нас лишь — проституция!»
И на деву показал.

«И в Стамбуле бредят левою, —
Сидор Карпыч продолжал, —
А у нас...» — и вслед за девою,
Улыбаясь, побежал.

«Доложу без лицемерия:
Эта девушка мила,
Как респуб...» Вдруг жандармерия
К либералу подошла.

«Ваша речь — о конституции?
Не угодно ли в квартал?..»
— «Нет, мы так... о проституции...» —
Сидор Карпыч лепетал.

Улыбнулся снисходительно
Светло-синий алгвазил
И перстом весьма внушительно
Либералу погрозил.

Уподобясь мокрой курице,
Не желая сгнить в части,
С той поры мой Клим на улице
Стал себя умней вести.

На девчонок тратит рублики,
Состоит у них в долгу,
Но не любит он республики,
О свободе — ни гу-гу!

Даже с Третьим отделением
Примирился Клим давно,
И твердит он с умилением
Громко правило одно:

«Разговоров политических
Опасайся на Руси!
Но о девах венерических
Без опасности проси!»

7 июля 1876

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Шлет султан цидулку в Рим святому папе:
«Мы друг другу братья, — дело, значит, в шляпе.

Рим держал когда-то всю Европу в лапе.
Я прижму славянство, — дело, значит, в шляпе.

Мы «ва-банк» играем, гнем «углы» и «нá пе»:
Если передернем, — дело будет в шляпе...

Дикое проклятье, как прилично папе,
Ты пошли славянам, — дело будет в шляпе...

Я пошлю эскадру к Керчи и к Анапе:
Если разорю их, — дело будет в шляпе...

Музыку мы слышим в страшном общем храпе:
Пусть храпит Европа, — дело, значит, в шляпе...»

<1877>

СОВРЕМЕННЫЕ СТАРУХИ

Sancta simplicitas! ..[1]

(Слова Гуса на костре)

Клубился дым, пылал костер,
Толпа шумела в злобе дикой,
И над толпою муж великий
Десницу чистую простер.

Молился Гус... Его слова
Гремели, как металл звенящий, —
Вдруг на костер его горящий
Упали новые дрова...

[1] Святая простота! .. (лат.) — *Ред.*

Во имя господа Христа
Дрова старуха положила
И от страдальца заслужила
Упрек: «Святая простота!»

Погиб великий славянин...
И снова гибнут наши братья,
И снова слышны их проклятья
Среди дымящихся равнин!

И льется кровь... Ее ручей
Бежит, дымясь, всё шире, шире...
Опять в славянском бедном мире
Бушует стая палачей...

Они безумны, слепы, глухи,
И жгут нас медленным огнем...
Благословим иль проклянем
Мы вас, ужасные старухи?!

<1877>

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ГОРОДОК

Ваша правда. Да-с,
Сам теперь я вижу:
Город N у нас —
Брат родной Парижу!
Видно из газет,
Что в Париже оном
Беспорядков нет, —
Бредят Мак-Магоном.
Маршал Мак-Магон
(Президент их, значит),
Чинно сев в вагон,
По чугунке скачет.
Франции сынам
Нужно отличиться,
И префекты там
Стали горячиться...
Черт возьми! И к нам
Воевода мчится:
Ваша правда. Да-с,
Сам теперь я вижу:

Город N у нас —
Брат родной Парижу!
Есть у нас поэт
Страшно либеральный,
И к нему чуть свет
Прибежал квартальный.
«Вот — бумаги лист!
Сядь скорей за оду.
С нею, нигилист,
Встретишь воеводу.
Оду поднести
Ты ему обязан,
А не то в части
Будешь крепко связан...»
Выполнен приказ, —
Неприятны узы...
Мигом на Парнас
Прилетели музы,
Ибо и у нас
Есть они, французы!..
Ваша правда. Да-с,
Сам теперь я вижу:
Город N у нас —
Брат родной Парижу!

Франции сыны
Нам дают примеры:
Так же мы должны
Действовать, как мэры:
Городской глава
С полицейской стражей
Мудрствует сперва
Над ухой стерляжьей.
(Без нее ведь нет
Счастья для народа!)
Примет ли обед
Важный воевода?
Роковой вопрос —
«To be, or...» [1] — Гамлета.
Я бы, вот, привез
К нам тебя, Гамбетта,

[1] Быть, или... (англ.) — *Ред.*

Посмотреть, как росс
Трусит в «дни ответа»!
    Ваша правда. Да-с,
    Сам теперь я вижу:
    Город N у нас —
    Брат родной Парижу!

Земский либерал
Шепчет: «Я ведь тоже
На собраньях врал,
Правосудный боже!
Якобы Адам,
Искушенный Евой,
Заседал я там
Постоянно с «левой».
Всё занесено
В наши протоколы.
Я кричал: «Давно
Нам потребны школы!»
Жаждая добра,
Будто рыцарь бравый,
Шел я на ура,
Воевал с управой...
Нет, давно пора
Примириться с «правой».
    Ваша правда. Да-с,
    Сам теперь я вижу:
    Город N у нас —
    Брат родной Парижу!

Страшный экипаж
Ближе, ближе едет.
Полицейский страж,
Как безумный, бредит:
«Господи, творец!
Николай угодник!
Я хоть и вдовец —
Страшный греховодник:
Взяткам я не враг —
Загребаю славно,
И в гражданский брак
Я вступил недавно...

Просто волком вой,
В гроб ложись с надсады!
С городским главой
Мы берем подряды:
Вместо мостовой,
Строим... баррикады!»
    Ваша правда. Да-с,
    Сам теперь я вижу:
    Город N у нас —
    Брат родной Парижу!..

<1877>

ОНУФРИЙ ИЛЬИЧ

(Картинка с натуры)

По улице мрачной и грязной,
Лишь свечка блеснет в кабаке,
Несчастный чиновник плетется —
Плетется в худом сюртуке.

Крутятся ли снежные хлопья
И режет ли, будто бичом,
Пронзительный северный ветер —
Чиновнику всё нипочем!

Есть домик на улице этой,
Стоит он, погнувшись, давно,
И в домике том есть бутылки,
А в них есть дешевка-вино...

И в час неурочный и поздний
Чиновник с глубокой тоской
В окошко питейного дома
Стучится дрожащей рукой.

Выходит к нему целовальник,
Глаза продирает от сна
И тихо обычному гостю
Вручает полштофа вина.

От холода руки запрятав
В карманы дырявых штанов,
Бежит титулярный советник,
Онуфрий Ильич Иванов.

Бежит он в свой «угол» печальный,
Где сладко он будет дремать,
Где брошены милые дети,
Жена и родимая мать.

Но только тот «угол» увидит,
Который и беден и пуст, —
Опять кулаком он грозится,
Проклятье срывается с уст.

По шаткому полу уныло
Он ходит и взад и вперед,
Жену призывает сердито
И деток с любовью зовет.

Но умерли бедные дети,
В могиле им сладко лежать, —
Они голодать уж не будут,
Не будут от стужи дрожать. . .

И зова не слышит супруга:
Покинувши мужа, семью,
С любовником-франтом бежала
И честь потеряла свою.

Наряды, алмазы и деньги
Красивой бабенке несут;
А муж, титулярный советник,
Упрятан с позором под суд.

И, руки ломая тоскливо,
По комнате, взад и вперед,
Онуфрий Ильич марширует
И матку-старуху зовет.

«Родная! покинут я всеми, —
Хоть ты приласкай, подойди!
Я выплачу злобу и горе
На старой родимой груди...»

Но мать воплей сына не слышит:
Забитая горем-нуждой,
Глухая старушка с упреком
Трясет головою седой.

«Зачем ты с начальством не ладил?
Ты мог бы жену уступить —
Кресты и чины бы летели,
Не стал бы ты горькую пить.

Ты выпил с похмелья полштофа,
А мне не оставил глотка...
Послал мне господь искушенье:
Без водочки жизнь не сладка!»

Тогда титулярный советник,
Онуфрий Ильич Иванов,
Рыдает... и мелочи ищет
В карманах дырявых штанов.

Найдя, полоумной старухе
Вручает последний пятак,
И с маткой идет он под ручку,
Шатаясь, в знакомый кабак...

<1877>

В БОЛЬНИЦЕ

Догорала румяная зорька,
С нею вместе и жизнь догорала.
Ты одна, улыбаяся горько,
На больничном одре умирала.
Скоро ляжешь ты в саване белом,
Усмехаясь улыбкою кроткой.

Фельдшера написали уж мелом
По-латыни: «Страдает чахоткой».

Было тихо в больнице. Стучали
Лишь часы с деревянной кукушкой,
Да уныло березы качали
Под окошком зеленой верхушкой...
Ох, березы, большие березы!
Ох, кукушка, бездушная птица!
Непонятны вам жгучие слезы,
И нельзя к вам с мольбой обратиться.

А ведь было же время когда-то,
Ты с природою счастьем делилась,
И в саду деревенском так свято
Ты невинно о ком-то молилась.
Долетели молитвы до неба:
Кто-то сделался счастлив... Но, боже!
Богомолку он бросил без хлеба
На больничном страдальческом ложе.

Упади же скорей на подушку
И скрести исхудалые руки,
Допросивши вещунью-кукушку:
Скоро ль кончатся тяжкие муки?
...И кукует два раза кукушка.
Две минуты — и кончено дело!
Входит тихо сиделка-старушка
Обмывать неостывшее тело.

<1877>

НА ТО И ЩУКА В МОРЕ, ЧТОБ КАРАСЬ НЕ ДРЕМАЛ

(Пословица)

Подружился серый заинька с лисой.
«Я люблю тебя без памяти, косой!
Истомилась, истерзалась, полюбя:
Очень нравятся мне уши у тебя, —
Ты красивей длинноухого осла...

Я тебя бы в теремочек унесла,
Уложила б на тесовую кровать,
Стала б зайчика ласкать да миловать. . .»

Полюбился красной девушке старик.
Говорит она, надев ему парик:
«Что за кудри! Так и вьются по плечам,
И об них я сокрушаюсь по ночам,
Грудь лебяжья разрывается в клочки. . .
Погляди-ка на меня в свои очки,
Приласкай меня дрожащею рукой,
Не сгибайся в три погибели клюкой!»

«Патрикеевна, любезная кума!
Полюбил тебя я, зайчик, без ума.
Рад я с милою невестой под кустом
Побеседовать в орешнике густом. . .»
— «Ах, бесстыдник, что за дерзкие слова!
Я — невинная, почтенная вдова.
Ты в мужья мне не годишься, — очень слаб. . .»
Подбежала, рот раззела, да и — хап!

«Раскрасавица, волшебница моя!
Пред тобою молодею снова я.
Как пойдем с тобою в церковь под венец,
Подарю тебе с брильянтами ларец. . .»
— «Ты обманешь? Покажи мне, я взгляну,
Чем обрадуешь красавицу жену —
Что такое в сундучке-то дорогом?»
Подбежала, всё схватила и — бегом!

Ах, зачем ты, серый заинька косой,
Подружился, на беду свою, с лисой?
Ах, зачем ты, старче древний и седой,
Волочился за красоткой молодой?
Ах, зачем у нас зубастых щук стада
Поглощают мелких рыбок без труда?
Ах, зачем у нас на матушке Руси
Так доверчивы и глупы караси?

<1877>

КРИ-КРИ

(Всеволоду Леонидовичу Т<рефол>еву)

1

«Дети! возьмите игрушку:
Я подарю вам ее, —
Я подарю вам не пушку
И не стальное ружье...»

— «Пушки и ружья, мы знаем,
Нынче гремят за Дунаем, —
Бой от зари до зари...»
— «Вы же от утра до ночи
Щелкайте, сколько есть мочи,
Щелкайте, дети, кри-кри!»

2

Милое юное племя!
Ты уж заранее знай:
И для тебя будет время —
Видеть широкий Дунай!

Но, голубой, многоводный,
Будет рекой он свободной, —
Светлой дождется зари...
Вам уж не нужны игрушки —
Ружья, солдатики, пушки, —
Щелкайте, дети, кри-кри!

<1877>

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

Черные вершины
Всё дрожат в огне,
Сербские долины
Дремлют в тяжком сне.

Мрачно в них, убого...
Мертвецы... кресты...
Подожди немного:
Встанешь, серб, и ты!

<1877>

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

(Старая погудка на новый лад)

У Василия Петрова
Женка больно врать здорова:
С мужем спорит, бьет баклуши,
Молвит слово — вянут уши.
Пробежит ли серый зайка,
Баба мужу: «Догоняй-ка!
Это, видишь ли, лисица, —
Шуба лисья пригодится.
Что стоишь разинув рот?
Что задумался, урод?
Не поверишь мне — умру
Завтра рано поутру!»

Муж поймает в невод щуку, —
Баба снова за науку
И облает, как собака:
«Мне не нужно, дурень, рака!»
Муж себе бородку сбреет, —
Баба учит, не робеет:
«Неприятный, безобразный,
Ты остригся — как приказный!
Что стоишь разинув рот?
Что задумался, урод?
Не поверишь мне — умру
Завтра рано поутру!»

Видит муж, летит ворона, —
Баба мужу: «Вона, вона!
Это гусь летит. Не труся,
Застрели к обеду гуся!..»
— «Полно, матушка Матрена,
Это — серая ворона...»

— «Врешь, разбойник, врешь, тетеря!
Ты ослеп, жене не веря...
Что стоишь разинув рот?
Что задумался, урод?
Не поверишь мне — умру
Завтра рано поутру!»

Баба охает, рыдает,
Лютой смерти ожидает.
«Говори! — кричит Матрена, —
Гусь летел?» — «Не гусь, ворона...»
— «Если так, попа мне нужно, —
Нездоровится, недужно,
Собираюсь умирать я.
Позови попа Кондратья!
Что стоишь разинув рот?
Что задумался, урод?
Не поверишь мне — умру
Завтра рано поутру!»

Исповедал поп Кондратий.
Воет баба на кровати:
«Говори! — кричит Матрена, —
Гусь летел?» — «Не гусь, ворона...»
— «Если так, при всем народе
Лягу спать навек в колоде.
Муж противный, поседелый,
Приготовь мне саван белый!
Что стоишь разинув рот?
Что задумался, урод?
Не поверишь мне — умру
Завтра рано поутру!»

Сшили бабе саван новый,
Притащили гроб сосновый.
«Говори! — кричит Матрена, —
Гусь летел?» — «Не гусь, ворона...»
Завопила баба злая:
«Умерла я, умерла я!
Тело спрячьте в домовище
И несите на кладбище..,

Что стоишь разинув рот?
Что задумался, урод?
Не поверишь мне — умру
Завтра рано поутру!»

В гроб Матрену положили,
Панихиду отслужили.
Шепчет в саване Матрена:
«Гусь летел?» — «Не гусь, ворона...»
— «Если так, скорей в могилу, —
Жить с упрямым не под силу!
Под землею, под сырою,
Очи ясные закрою.
Что стоишь разинув рот?
Что задумался, урод?
Не поверишь мне — умру
Завтра рано поутру!»

Вот могильщик бородатый
Застучал своей лопатой,
И в последний раз Матрена
Шепчет: «Гусь?» — «Не гусь, ворона...»
— «Если так, не уступлю же!
Мне в земле не будет хуже, —
Лютой смерти не боюся —
Пусть погибну... ради гуся.
Ни слезинки не утру
И, назло тебе, умру!
Что стоишь разинув рот?
Зарывай меня, урод!»

<1877>

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

(Старая погудка на новый лад)

«Всё ли здоро́во в деревне?» — так барыня
Старосте молвила речь.

«Всё хорошо, всё здоро́во, сударыня,
Нам ли уж вас не беречь?»

— «Ладно, спасибо. Сберег ли ты сокола, —
Жив ли мой сокол ручной?»

— «Умер недавно. Летал он всё около
Нашей долины речной,

Там и объелся любимец ваш падали...»
— «Кто ж из скотинушки пал?»

— «Конь вороной...» — «Отчего?! Не от яда ли
Конь дорогой мой пропал?»

— «Бог с вами, матушка! Речью неправою
Нас обижать для чего?

Мы угощали коня не отравою, —
Но похлестали его.

Плетка и кнут, а не то и дубинушка,
Все изломались... Беда!

Больно упрямилась ваша скотинушка,
Воду везя из пруда».

— «Воду зачем вы возили, негодные,
Должен ответить ты мне!!»

— «Ваши хоромы большие, свободные
Вдруг затрещали в огне...»

— «Кто их поджег? Говори, Калистратушка, —
Богом прошу я, Христом!»

— «Ваша старушка, покойница матушка,
Были виновными в том.

Их хоронили. Свеча погребальная
Дом подожгла невзначай.

Так и сгорела усадьба опальная...
Барыня, дай-ка на чай!»

<1877>

ФИЛАНТРОПУ

До́ крови губы сердито кусая,
Грозно ты морщишь высокий свой лоб:
Пьяный мужик или девка босая
Так возмутили тебя, филантроп?

Глупо смущаться обычной картиной, —
Падших людей от себя прогони:
В омуте жизни, покрытые тиной,
К самому дну опустились они.

Трудно поднять их. Она — из вертепа,
Телом торгует и ночью и днем;
Тот же, кто с нею, работал свирепо
На перекрестках своим кистенем.

Я изумлен: между вами есть сходство...
Право, не будь так изящно хорош,
Не представляй на лице благородство —
Был бы на них, как отец, ты похож.

Это, конечно, насмешка природы, —
Зло подшутила она над тобой.
Впрочем, припомни: в старинные годы
Ты подружился... с своею рабой...

Помнишь ли ты, филантроп благородный,
Помнишь ли ты, как в осеннюю ночь
У молодицы в избенке холодной
Двойни родились — сынишко и дочь?

Темная ночка смотрела в окошки
Бедной, холодной избенки — а там
Вас прижимала, несчастные крошки,
Мать обольщенная к жарким устам!..

Вдруг совершилось твое возрожденье:
Стал ты гуманен и в помыслах чист.
Фразы о «благе» — твое наслажденье...
Как ты прекрасен и как ты речист!

Прачки, стирая в большие морозы,
Знают, что ты изнываешь с тоски,

Ибо твои либеральные слезы
Сильно смочили платки и носки.

Млеют лакеи твои от восторга,
Хором решивши, что ты — филантроп:
Ты не продашь их с публичного торга
И не забреешь по-прежнему лоб!

<1877>

К РОССИИ

К коленам твоим припадая,
Страдаю я вместе с тобой
И жду той минуты, когда я
Увижу тебя не рабой.

И в рабстве ты чудно-могуча,
Не видя свободы лучей;
Грозна ты, как темная туча,
Для диких твоих палачей.

Они всю тебя истерзали,
Пронзили железом, свинцом,
И руки и ноги связали,
Покрыли терновым венцом...

Надейся! Исчезнут тираны,
Исчезнут коварство и ложь.
Надейся! Ты вылечишь раны,
Венец свой терновый сорвешь.

Терпи же, моя дорогая,
Покуда есть силы, терпи!
Сверкай, огонечком мигая
В широкой унылой степи!

Потом огонек разгорится
На поле угрюмом, нагом, —
И мрачная степь озарится
Далеко, далеко кругом!

1877

БОРЬБА

Бранное поле я вижу.
В поле пустынном, нагом
Братьев ищу, пораженных
Насмерть жестоким врагом.

Гневом душа загорелась,
Кровь закипела во мне.
Меч обнаживши, скачу я
Вслед за врагом на коне.

Что-то вдали раздается —
Гром иль бряцанье мечей...
Всё мне равно, лишь догнать бы
Диких моих палачей!

Сивко мой гриву вскосматил,
Весь он в кровавом поту...
Как бы желал я за братьев
Жизнь потерять на лету!

Милые братья, их было
Шесть, молодец к молодцу;
Каждый погиб за свободу
Честно, прилично бойцу.

Пусть и седьмой погибает,
Жизнь отдавая свою!
Дай же, судьба, мне отраду
Пасть за свободу в бою!

1877

ГРАМОТЕЙКА

Голова моя, головушка,
Голова моя свободная!
Не золовки, не свекровушка,
Баба злая, сумасбродная,
И не ласки свекра пьяного
Извели тебя, измучили...

Нет! Слова Петра Иванова
Голове моей наскучили.

Петр Иваныч всё ругается,
Говоря слова несладкие:
«Книжки здесь не полагается,
Изорву твои тетрадки я.
Грамотейка, вишь, явилася,
И гордиться стала, знамо, ты!
В земской школе обучилася
И сошла с ума от грамоты...

Не учен я батькой смолоду,
Мне смешно за книгой париться,
А от холоду и голоду
Мы сумеем отбояриться:
Наши руки молодецкие
Три тягла несут без малого...
Мы-ста люди не немецкие, —
Роду русского, удалого!..

Али дочка ты поповская?
Али барыня ученая?
Ах ты, дурища таковская,
Кулаком не окрещенная!
Перед мужем будь овечкою,
Знай в избе сиди за кринками,
Пусть валяются под печкою
Книжки глупые с картинками...

Цыц, молчать, жена-сударушка,
Не читать азов с мальчишкою!
Али хочешь, чтоб Макарушка
Погубил себя за книжкою?
Бывши в городе с товарами,
Там ребят я видел... Бедные,
Тащат ранцы, ходят парами,
Истомленные да бледные...»

Голова моя, головушка,
Голова моя свободная!
Ты придумай, чтоб свекровушка,

Баба злая, сумасбродная,
Муж, и свекор, и золовушки
(Хороша ли ты, убога ли)
Тайных замыслов головушки
Не тревожили, не трогали!

В нашем доме тьма кромешная...
Я встаю одна, украдкою,
И рыдаю, безутешная,
Над сыновнею кроваткою.
Не боясь греха великого,
Обману свекровь-сударушку,
Обману и мужа дикого,
Научив... тайком... Макарушку!

1878

М. Н. КАТКОВУ

Живется тяжко на Руси,
И плачем мы, склонясь над урной...
В наш век тревожный, в век наш бурный
Нас от урядников спаси
Хоть ты, жандарм литературный!

6 апреля 1878

НЯНИНЫ СКАЗКИ

Вспомнил я нянины старые сказки,
Мальчик пугливый, пугливее лани.
Ждал я хорошей, спокойной развязки
Чудных рассказов заботливой няни.

Я был доволен, когда от чудовищ
Храбрый Иван-королевич спасался;
С ним я, искатель несметных сокровищ,
В царство Кащея под землю спускался.

Если встречался нам Змей шестиглавый,
Меч-кладенец вынимал я, и в битву
Смело бросался, и бился со славой,
После победы читая молитву.

Бабы-яги волшебство и коварство
Мы побеждали с улыбкою гневной,
Мчались стрелой в тридесятое царство,
Вслед за невестой, за Марьей-царевной.

Годы прошли... Голова поседела...
Жду я от жизни печальной развязки.
Няня, которая так мне радела,
Спит на кладбище, не кончивши сказки.

Грустно могилу ее обнимаю,
Землю сырую целую, рыдая.
Сказки твои я теперь понимаю,
Добрая няня, старуха седая!

Я — не Иван-королевич, но много
В жизни встречалось мне страшных чудовищ;
Жил и живу безотрадно, убого,
Нет для меня в этом мире сокровищ.

Тянутся грустно и дни и недели;
Жизнь представляется вечным мытарством.
Жадные люди давно овладели
Славной добычей — Кащеевым царством.

Змей, как и прежде, летает по миру
В образе хитрого грешника Креза.
Молятся люди ему, как кумиру,
Золота просят, чуждаясь железа.

Баба-яга (безысходное горе)
В ступе развозит и холод и голод;
В ступе ее я, предчувствую, вскоре
Буду раздавлен, разбит и размолот.

Солнце, как факел, дымит, не блистая;
В сумрак вечерний народы одеты...
Марья-царевна, свобода святая,
Зорюшка наша! Да где же ты? Где ты?

13 сентября 1878

СПОКОЙСТВИЕ

Смотри на родник: как вода в нем свежа!
Сначала журчит он, чуть видимый оком,
Ударится в гору и, пенясь, дрожа,
С горы упадает бурливым потоком.

Кружится, волнуясь, и мчится вперед,
И, старые камни поднявши, грохочет;
В нем жизнь ни на миг не заснет, не замрет,
О мертвом покое он думать не хочет.

Теперь посмотри: от стоячей воды
Дыханием веет убийцы-злодея;
Зеленая плесень покрыла пруды;
Там гады клубятся, трясиной владея.

О мысль человека, беги и спеши
Вперед и вперед, как поток без преграды!
Покой — это гибель и смерть для души;
Покою, забвенью — лишь мертвые рады.

Но если, о мысль, утомившись в труде,
Вперед не пойдешь ты дорогой прямою,
Ты будешь подобна болотной воде,
И гады покроют вселенную тьмою.

2 июня 1879

ПРЕДСМЕРТНАЯ ПЕСНЯ

Разовьем мы березу́,
Разовьем мы зелену́.
Ой-да да ой-да,
Разовьем мы зелену́!..

Там, среди родной реки,
Песни пели бурлаки:
«Разовьем мы березу́,
Разовьем мы зелену́...
Ой-да да ой-да,
Ой-да да ой-да!
Разовьем мы зелену́!»

Наша песенка не та...
Но осталась *нищета*,
И над Волгою вдвоем
С ней мы песенку споем:

Разобьем мы жизнь скорей!
Смерть стучится у дверей.
    Ой-да да ой-да,
    Ой-да да ой-да!
Смерть стучится у дверей.

Гостья милая, иди!
Припади к моей груди.
    Ой-да да ой-да,
    Ой-да да ой-да!
Припади к моей груди.

Всё равно. Один конец.
Мы поедем под венец.
    Ой-да да ой-да,
    Ой-да да ой-да!
Мы поедем под венец.

Ехать с поездом пора.
Собралися шафера.
    Ой-да да ой-да,
    Ой-да да ой-да!
Собралися шафера.

Свахи наши тут как тут,
В церковь божию зовут.
    Ой-да да ой-да,
    Ой-да да ой-да!
В церковь божию зовут.

Смерть — невеста и жена —
Назови их имена!
    Ой-да да ой-да,
    Ой-да да ой-да!
Назови их имена!

«Свахи» — бедность и нужда —
Нас схоронят без следа.
Ой-да да ой-да,
Ой-да да ой-да!
Нас схоронят без следа.

«Шафера» — страданье, труд —
Нас цветами уберут...
Ой-да да ой-да,
Ой-да да ой-да!
Нас цветами уберут...

И тяжелою пятой
Нас затопчет люд простой.
Ой-да да ой-да,
Ой-да да ой-да!
Нас затопчет люд простой.

Я взываю к небесам:
Пусть здоров он будет сам!
Ой-да да ой-да,
Ой-да да ой-да!
Пусть здоров он будет сам!

И доволен буду я...
Спета песенка моя.
Ой-да да ой-да,
Ой-да да ой-да!
Спета песенка моя!

25 октября 1879

ТЕНИ

Тени ходили толпою за нами;
Были мы сами мрачнее теней,
Но, утешаясь отрадными снами,
Ждали — безумные! — солнечных дней.
Солнце взошло. И пред солнцем колени
Мы преклонили... Но снова из туч
Вдруг появились ужасные тени
И заслонили нам солнечный луч.

Снова мы ропщем и жалобно стонем,
Грезим отрадно лишь только во сне...
Мы ли ужасные тени прогоним,
Или опять одолеют оне?

<1880>

ПАМЯТИ ИВАНА ЗАХАРОВИЧА СУРИКОВА

Трудной дорогой, но честной, хорошею,
Шел ты, страдалец, с печальною ношею:
Горем, истомой она называется, —
Сердце от ноши такой надрывается!
Горе великое, горе народное
Чуяло сердце твое благородное:
Верил в народ ты — народу не льстя,
Верил, как матери верит дитя.

Скоро забудет о сгибнувшем детище
Мать, облеченная в рубище, вретище, —
Скажет она: «Много деток схоронено,
Много о них слез горючих уронено, —
Всех не оплачешь: не хватит и времени!
Я ж не останусь без роду, без племени,
Выращу снова могучих ребят...»
...Речи такие тебя ль оскорбят?

Нет в них упрека и нет оскорбления...
Жизнью своею живут поколения:
Старое горе легко забывается, —
Горькая песня не век распевается;
Новая песня с чудесными звуками
Будет услышана нашими внуками,
И, улыбаясь, воскликнут они:
«Пели не так в стародавние дни!..»

Мы же, твои, брат покойный, ровесники,
Будем... как были: печальные вестники
Горя людского, людского страдания,
Мы, не создавшие твердого здания,
Мы, истомленные жизнью убогою,

Честно пойдем проторенной дорогою
И, вспоминая страдальца-певца,
Песни твои допоем до конца.

<1880>

ШТАБС-КАПИТАНША

Ребенок мой больной умолкнул в колыбели.
Я к мужу в сад пришла, и мы в беседке сели.
Он долго на меня задумчиво глядел,
В объятиях своих согреть меня хотел,
Потом, очнувшися от думы безотвязной,
Сказал с улыбкою: «Пойдем дорогой разной,
Ты — к северу, а я... куда пошлют, бог весть!
Но знай, что у меня на шее образ есть.
Я буду на него молиться перед битвой,
Горячей, искренней солдатскою молитвой...
В турчанок не влюблюсь!» — прибавил он шутя.
«А наше бедное, невинное дитя?» —
«Пусть подождет отца. Вернувшись из похода,
Я сына научу твердить: «Вперед! Свобода!»
Прекрасные слова, не правда ли?» Но я
Не слушала его и, слез не утая,
Припав к груди его, в безумии ласкала,
За что-то гневалась, за что-то упрекала:
«Злой муж и злой отец, недобрая душа!
Свобода, говоришь? — Свобода хороша;
Но жить мне без тебя, подумай сам, легко ли?
Спасешь чужих детей, но не спасешь ты Коли,
Малютки нашего... Постой, не уходи,
Жестокий человек!»
...Так на его груди
Я долго плакала, молилась: «Боже, боже!
Свобода для славян ему всего дороже;
Ребенка своего он бросит сиротой...»
А муж порывисто крутил свой ус густой.
«Довольно, милая, не плачь о храбром муже.
Живым вернусь домой... Да чем других я хуже?
Все на войну идут: и низкий временщик,
И полковой наш поп, и мой Иван-денщик,
Который за кустом мне шепчет: «Не пора ли?

Всё, барин, сделано. К походу всё собрали».
Сейчас, Иван, сейчас! Два слова — и аминь...»
А я отчаянно рыдала:
«Не покинь!»
И на груди его успела вновь повиснуть...
«Сомлела барыня: водицей надо спрыснуть!» —
Заметил наш денщик, помчавшись за водой...

«Комиссия владеть женою молодой! —
Муж грустно упрекнул меня с улыбкой слабой: —
Того гляди, что сам вдруг сделаешься бабой!
Полковник наш — беда! — упрячет под арест».
И обнял он меня, и приложил свой крест
К рыдающим устам с любовию и верой.
Мы оба плакали. Сочувствовал нам «Серый»:
Почтенный старый пес откуда ни взялся
И лаем жалобным тревожно залился.

«Прощай, старик, не вой! А с крошкой Николаем
Проститься... нету сил. Ну, здравия желаем,
Сердечная моя! Не плачь, не провожай!»

И он отправился.
...Был страшный урожай
На русских мертвецов. Молитвой ежедневной
Три раза (верю я) он был спасен под Плевной.
Шутливо он писал, что «был в больших боях,
Сидел всё под кустом, где спас его аллах».
Прислал он весточку, как «наши великаны
Свободу принесли болгарам за Балканы».
Он быстро шел вперед; но... с пулею в груди
Остался мой герой, мой милый, позади
Спасителей славян в каком-то там обозе.
Священник полковой меня утешил:
«В бозе
Ваш муж, штабс-капитан, скончался. Знать, судьба!
Молитесь за него, за божьего раба,
Сударыня моя. Не унывайте, ибо
Унынье — смертный грех!»
...Совет хорош. Спасибо!
Но исполнять его, вдовея, не могу...

Ох, вдовья долюшка! .. Играет на лугу
Сиротка, мальчик мой: смеется он и пляшет,
Лучиной-саблею геройски храбро машет.
О милый мой герой! Тебе уж лет пяток,
Ты — вылитый отец: такой же кипяток,
Как наш покойничек. «Скажи мне, душка, милка,
Скажи мне на ушко: где... где его... могилка?»
— «В Болгарии...»
— «Так, так... А душенька его?»
— «У боженьки в руках...»
И больше ничего
Не ведает дитя. И знать ему не время,
Что жизнью заплатил за родственное племя
Отец его герой...
. . . .
. . . . . .«Не упади, смотри же!»
Ребенок побежал, а я молюсь тайком,
Чтоб не споткнулся он, гонясь за мотыльком
Прелестно-радужным.
...И мне, штабс-капитанше,
Грядущие беды мерещатся уж раньше;
Но милостив господь: ребенок не умрет...
И я ему кричу:
«Вперед, дитя, вперед!»

1881

БУЙНОЕ ВЕЧЕ

(Из «Записок» земца)

...И часто
Я отгадать хотел, о чем он пишет:
О грозном ли владычестве татар,
О буйном ли новогородском вече?

Пушкин

Гой еси, читатель! Слушай, человече,
Некое сказанье о недавнем вече...

. . . .

За столом сидели умные «особы»
И решали плавно, чинно и без злобы
О хозяйстве сельском хитрые вопросы.

Это были «наши». Это были «россы»,
Люди с головами, всё экономисты.
Помыслы их были радужны и чисты,
Как душа младенца; взоры — не свирепы;
Ибо, рассуждая о посадке репы
Или о горохе самым важным тоном,
Трудно быть Маратом, трудно быть Дантоном.
Даже сам картофель, скажем для примера,
Может ли из земца сделать Робеспьера?
Но, на всякий случай, средь экономистов
Важно поместился местный частный пристав,
Ради ли хозяйства или ради страха —
Это предоставим веденью аллаха.

«Съехались сюда мы из пяти губерний
(Начал Клим Степаныч) с целью, чтоб из терний
Вырастить пшеницу. Важная задача!
Что теперь хозяйство-с? Это... это кляча
Жалкая, худая, без ума, без силы:
Где копытом топнет — выроет могилы,
Где лягнет ногою — вырастет терновник...
Словом, эта кляча есть прямой виновник
Наших зол и бедствий, нашего банкротства,
Так сказать, источник «русского сиротства».
К вечу обращаюсь я с мольбою рабской:
Пусть из русской клячи выйдет конь арабский,
Гордый и свободный! Пусть на русском поле
Золотистый колос нежится на воле...»

— «Ваше выраженье не совсем удачно! —
Молвил частный пристав, брови хмуря мрачно. —
Нужно, Клим Степаныч, быть поосторожней!
Здесь я представляюсь нравственной таможней,
Так сказать — заставой... в идеальном роде.
Говорите больше, больше о народе,
О народных пользах, о народном благе,
Но не повторяйте в буйственной отваге
Эти каламбуры, «экивоки», «вицы»...
У меня, заметьте, жестки рукавицы!
Я имею право, Клим Степаныч... Впрочем,
Вас «призвать к порядку» мы еще отсрочим.

Смело объясните, но без краснобайства:
В чем лежит основа сельского хозяйства?»

— «В чем? Да очень просто-с: в трезвости
народной! —
Молвил Клим Степаныч с миной благородной. —
Наш мужик — пьянчужка. Это всем известно.
Кабаки плодятся нынче повсеместно,
И напрасно ропщет сельский обыватель,
Что его карает чересчур создатель:
Сам он в том виновен, небо раздражая,
Что ему создатель не дал урожая...».
— «Это грех какой же?» — кто-то молвил с места.
— «Я не разумею вашего протеста! —
Отвечал оратор, улыбаясь кротко. —
Грех сей всем известен. Это... это водка.
От нее и леность, от нее пороки,
От нее и трудность собирать оброки;
От нее и царство наше без кредита...
(Частный пристав что-то промычал сердито.)
У меня, примерно, есть наделов триста.
Правда, что земелька больно неказиста, —
Кое-где песочек, кое-где болотца;
Но мужик с природой мог бы сам бороться!
У него есть руки. Но и думать даже
Пьяница не хочет вовсе о дренаже.
Эта неподвижность, эта закоснелость,
Я боюсь, разрушит в государстве целость...»

— «Вы... о государстве?! Ради бога, тише! —
Вскрикнул частный пристав. — Велено так свыше.
Мы о сем предмете ничего не скажем,
А займемся снова водкой и дренажем...»

— «Весь вопрос исчерпан! — грянул вдруг октавой
Водочный заводчик, земец тучный, бравый. —
Водка есть, конечно, горе для народа,
Но ее велит нам пить сама природа.
Если (с сильным чувством продолжал оратор),
Если попадем мы, чудом, под экватор,
Ну, тогда мне с вами можно быть согласным:
Водку чтó за радость пить под небом ясным?

Там растут бананы, пропасть винограду,
А у нас лишь водка всем дает отраду.
Там, на солнце нежась, зреют апельсины,
А у нас в уезде — ели да осины...
Полюс и экватор — разница большая.
Мы, родным напитком сердце утешая
И живя под снегом, здесь, в Гиперборее,
Чувствуем, что водка делает бодрее
Русского героя, русского пейзана...
Здесь ведь не экватор-с, даже не Лозанна!
Каждый добрый русский к водке меньше жаден,
Если он приедет даже в Баден-Баден;
Но туда не часто ездят пошехонцы,
Для вояжа нужны звонкие червонцы,
А у нас их мало; но на рубль кредитный
Можно выпить водки славной, аппетитной
(Я мои изделья вам рекомендую)...
А за Русь святую я и в ус не дую:
Всё снесет, всё стерпит добрая старуха!
Горе унесется к небу, легче пуха...
Заявляю вечу прямо, без коварства,
Что налог питейный — щит для государства...»

— «Вы... о государстве?!» — грянул частный
пристав.
Взор его был мрачен, голос был неистов.
Все затрепетали, выслушав угрозу,
И — pardon! [1] — решились перейти... к навозу.
(Слово это грубо, дерзко, неопрятно,
Но для русских земцев столько же приятно,
Столь же благозвучно, как «fumier» [2] — французу,
Если он захочет беспокоить Музу.)
. . . .
Сидор Карпыч начал с целью примиренья:
«Вовсе несподручно жить без удобренья.
Это всем известно, это аксиома.
У меня в деревне есть мужик Ерема.
У сего Еремы чахлых две лошадки,
И дела Еремы очень, очень шатки;

---

[1] Простите! (франц.) — *Ред.*
[2] Навоз (франц.). — *Ред.*

У его же кума, у бедняги Прова,
Только и осталась бурая корова,
Да и ту, я слышал, вскоре он утратит,
Ибо государству подати не платит...»

— «Вы... о государстве?! Как же это можно? —
Вскрикнул частный пристав злобно и тревожно. —
Несколько убавьте пыл ваш либеральный,
А не то... на свист мой выглянет квартальный.
(Чтоб присечь мгновенно злобные баклуши,
Он стоит за дверью, навостривши уши.)
Впрочем, не желая вас послать на полюс,
От дальнейших прений я уж вас уволю-с...»

Карл Богданыч (немец, сильно обрусевший,
Даже бутерброды неохотно евший,
Даже говорящий вместе «эти» — «эвти»)
Утверждал хозяйство на кавказской нефти.
«Нефть спасет хозяйство, нефть его осветит.
Разве лишь незрячий факта не заметит,
Что теперь, при нефти, менее поджогов,
Что она потребна для палат, острогов,
Барских кабинетов и бобыльской кельи,
Что она удобна и при земледельи,
Ибо (Карл Богданыч очень любит «ибо»)
Каждый русский пахарь скажет ей спасибо,
Смазывая нефтью ось своей телеги...
Мы не азиатцы, мы не печенеги!
(Так гремел оратор.) Нефть необходима.
«В дни новогородца, храброго Вадима,
Русь еще не знала нефтяных заводов,
Ибо представляла сонмище народов
Диких и свирепых...», — говорит Устрялов.
Сей Вадим, прапращур наших либералов,
Как они, был неуч. Сей республиканец
Знал один лишь деготь...»
— «Вы, как иностранец, —
Крикнул частный пристав, — целы, невредимы:
Мне подсудны только русские «Вадимы».
Ваша речь, явившись в нашем протоколе,
Русского могла бы водворить и в Коле;

Но за эту дерзость, за такое слово
Вашу братью гонят... через Вержболово!»

Бедный Карл Богданыч, проворчавший под нос,
Низко поклонился...
«Эвто как угодно-с,
Но за нефть держаться я имел причину...»
— «Я за соль держуся...»
— «Я же — за овчину...»
— «Соль нужна в хозяйстве...»
— «Да-с. Но за овечку
Следует поставить пред иконой свечку...»
— «Да-с. Но для овечки нужен свежий клевер;
Если этой травкой мы засеем север...»
— «Да-с. Нам поработать нужно над лугами,
Также над коровой и над битюгами:
В битюгах вся сила!»
— «Да-с. Битюг-битюгом,
Но займитесь прежде, Петр Игнатьич, плугом...»
— «Вы, Авдей Авдеич, совершенно правы,
Но исправьте прежде нравы, нравы, нравы! ..»
— «Эх, куда хватили, батенька, ей-богу!
Предоставим нравы исправлять острогу.
«Нравы» нам известны-с. Это — не новинка.
Нам не нравы нужны-с. Нам потребна свинка.
Нет на свете лучше бекширской породы!
Так решил весь Запад, то есть все народы...
Чем же мы их хуже... в свиноводстве, право?»
...Вече зашумело: «Браво, браво, браво!»
. . . .
«Мы златою пчелкой Русь обезопасим! —
Грянул, протестуя, вдруг отец Герасим. —
В оном свиноводстве слишком мало толку...
Главное забыли: мы забыли пчелку.
Пред почтенным вечем утаить могу ль я
Важное значенье для хозяйства улья?
Карамзин глаголет, что во время оно
Украшал сей улей дорогое лоно
Матушки-России. Такожде Советов
Много дал изрядных о пчеле советов.
Гавриил Державин пел: «Пчела златая!»
Без нее несладок чудный дар Китая,

Сиречь, чай цветочный... Нужен воск, понеже
Токмо анархисту, злобному невеже,
В храмах не известны свечи восковые...
У одной просвирни, у одной вдовы, я
Видел ульев сорок... И сия вдовица
С них сбирает «взяток», якобы царица
С подданных...»
— «Позвольте (молвил частный пристав)
Вас самих причислить к сонму анархистов.
Ваши рассужденья, батюшка, отсрочьте,
А не то владыке донесу по почте!»

Батюшка смутился, потупивши очи,
Ибо частный пристав был мрачнее ночи.
Добрый шеф уездный (то есть предводитель)
Молвил очень кстати:
«Кушать не хотите ль?
В грязь челом не лягу даже при султане:
Так отменно вкусны караси в сметане!»

—«Сельское хозяйство еле-еле дышит.
Что его шатает? Что его колышет,
Как былинку в поле? Барская рутина! —
Так один из земцев, пасмурный детина,
Твердо вставил слово. — Силой красноречья
Вас, народолюбцы, не могу увлечь я.
Это и не нужно, добрые сеньоры!
Ни к чему не служат наши разговоры,
Ни гроша не стóят съезды и «дебаты»:
Будем ли прямыми, если мы горбаты?
А ведь мы... горбаты! Мы перед народом
Вечно, вечно будем нравственным уродом.
Да-с, «дебаты» наши лишь игра в бирюльки.
Мы играем вечно, начиная с люльки
До сырой могилы, волею народа, —
Видим в нем лентяя, пьяного урода,
Или же, напротив, в нем «героя» видим...
Это по-латыни — idem et per idem.[1]
Наш народ — не мальчик, вас самих поучит,

[1] То же посредством того же (лат.) — *Ред.*

Если... если голод вдосталь не замучит
Вашего «героя», вашего «пьянчужку».
Слез о нем не лейте ночью на подушку:
Слезы крокодила — это не алмазы.
Хлеб народу нужен, а не ваши фразы.
. . . .
Мы стоим высоко и кричим с вершины:
«Проводи дренажи, заводи машины,
Распростись с системой старою, трехпольной, —
Ведь теперь, голубчик, человек ты вольный!
По тебе мы страждем либеральной болью,
Ибо ты не знаешь, сколь полезно солью
Питие и пищу приправлять скотине.
Ангел мой, не следуй дедовской рутине!
Миленький, скорее заведись ты пчелкой!
Бедненький, зубками с голоду не щелкай!» —
Так поем мы песни, слаще канареек...
А ведь хлеб-то черный стоит пять копеек!
Не стократ ли лучше, чем играть в бирюльки,
Этот стол назначить... для вечерней пульки?
Или, как сказал наш добрый предводитель,
Карася в сметане скушать не хотите ль?
Или, сознавая русские мытарства,
Голод, холод, бедность, гнет для государства...»
— «Так лишь рассуждали в Запорожской Сече!» —
Рявкнул частный пристав...
И закрыл он вече.

1881

ОСЕНЬ

Осень настала — печальная, темная,
С мелким, как слезы, дождем;
Мы же с тобой, ненаглядная, скромная,
Лета и солнышка ждем.

Это безумно: румяною зорькою
Не полюбуемся мы;
Вскоре увидим, с усмешкою горькою,
Бледное царство зимы.

Вскоре снежок захрустит под обозами,
Холодно будет, темно;
Поле родное скуется морозами...
Скоро ль растает оно?

Жди и терпи! Утешайся надеждою,
Будь упованьям верна:
И под тяжелою снежной одеждою
Всходит зародыш зерна.

8 августа 1881

КРАСНЫЕ РУКИ

Красные руки, рабочие руки,
Много узнали вы горя и муки,
Много трудились вы ночью и днем
В страшной заботе о «милом», о «нем».
Знать, небеса справедливо решили,
Чтоб эти руки всё шили да шили,
Хлеб добывая сперва для одной
Бедной швеи, истомленной, больной,
После — для двух: для нее и ребенка.
Красные руки, бедняжка Олёнка!
Повесть твою (в назиданье для дам)
Я неискусным стихом передам.

Красные руки, рабочие руки
Шили да шили, не ведая скуки.
Было ли время скучать, и о чем?
Жизнь для Олёнки была палачом,
Жизнь эта душу и тело губила;
Всё же Олёнка ее полюбила
И не боялась ее, палача,
Швейной машиною бодро стуча.
Если машина в ночи умолкала,
Как ты ее задушевно ласкала,
Доброе сердце пред ней не тая:
«Обе уснем, горемыка моя!»

Красные руки несли раз картонку.
Вдруг нагоняет «с работой» Олёнку
Барин-красавец. «Помочь вам, мамзель?

Что вы бежите быстрей, чем газель?
Знаете, зверь есть такой?» — «Не слыхала...»
И побежала она от нахала.
Барин — за ней, в переулок, и там
Он прикоснулся к горячим устам,
Красные руки пожал он с любовью.
Гордо Олёнка нахмурилась бровью.
Но... чрез полгода (ужасное *«но»!*)
Было уж то, чему быть суждено.

Красные руки *его* обвивали,
Страстные губы *его* целовали...
Губы?.. Неловко! Не лучше ль «уста»?
Впрочем, Олёнкина повесть проста.
Было бы дико и странно о многом
Здесь выражаться торжественным слогом.
Будем попроще. Не правда ли: да?
Не осмеем мы святого труда?
Труд обольщенной, несчастной Олёнки
Весь устремлен был тогда... на пеленки.
Красные руки их шили тайком,
С трепетом, с дрожью над каждым стежком.

Красные руки всё больше худели,
Дни проходили, за днями — недели.
Он не являлся. Когда же, порой,
К ней забегал благородный герой,
Холоден был он, не ласков, как прежде;
Не говорил он о сладкой надежде
С ней, «красноручкой», всю жизнь провести;
Мрачно твердил: «Извини и прости,
Если тебе предлагаю, Елена,
Не упадать предо мной на колена:
Неграциозно выходит, друг мой!
Также... и красные руки умой.

Красные руки!.. Что может быть хуже?
Ты, словно Гретхен, мечтаешь о муже.
Другом ли, мужем ли буду, о том
Мы объясниться успеем потом.
Прежде всего откровенно обсудим:

Как мы с руками ужасными будем?
Личиком, ножкой и всем ты взяла.
Жаль, что ручонка твоя не бела!
Средства найдутся: лекарства, помады...
Разве с тобой дикари мы, номады?
Им не грешно эти руки иметь...
Будет же плакать. Довольно, не сметь!»

Красные руки слезу утирали.
Он говорил: «Мне в театр не пора ли?
Нынче Островского будет „Гроза"»...
И убегал. Закрывая глаза
Красной рукою, Олёнка стонала.
...Бедная, бедная! Ты и не знала,
Что нищета да мучительный труд
Страх живущи́: никогда не умрут.
Глупая! Даже не знала того ты:
Руки белеют всегда без работы.
Руки, как лилии, чисты всегда,
Если не знают святого труда.

Красные руки с упорным стараньем
Долго лечили себя «притираньем»,
Чистились, мылись душистой водой:
Так приказал Дон-Жуан молодой.
Сладко жилось москвичу Дон-Жуану.
Как, почему? Объяснять вам не стану.
Но голодала бедняжка моя,
«Красные руки», Олёнка-швея.
...Мальчик родился, красавчик — в папашу...
Верю я слепо в «чувствительность» вашу:
Жаль вам Олёнки и жаль сироты?
Мальчик, на свете не лишний ли ты?

Красные руки томишь ты собою,
Делаешь мать подневольной рабою,
Грудь истощаешь... А грудь так плоска,
Словно твоя гробовая доска.
Лучше умри преждевременно, птенчик!
Может быть, *он* разорится на венчик?

Может быть, купит он гробик простой?
...Нет, не ложися в могилку, постой,
Здесь поживи, в этом мире широком,
Будь для «папаши» жестоким упреком;
Но, прижимаясь к родимой груди,
Белые руки ласкать погоди!

Красные руки, склонясь к колыбели,
С каждым днем больше и больше грубели.
Умер ребенок. За гробом одна
Шла «красноручкая» мать — холодна,
Мрачно сурова. Ей жизнь надоела.
Часто машина стояла без дела.
Бедность просилась: «стук-стук!» у дверей.
«Мне умереть бы пора, поскорей!
Милый придет — озирается букой,
Злобно ругает меня «краснорукой».
Батюшки-светы! Да кем же мне стать,
Чтоб благородные руки достать?»

Красные руки остались чем были,
Койку в больнице «для бедных» добыли.
Нумер седьмой, пред кончиною, вдруг
Стал образцом благороднейших рук.
Смерть приближалась. В мгновения эти
Белые руки повисли, как плети.
«Холодно, спрячь их!» — сиделка твердит.
Нежно Олёнка на руки глядит,
Думает: «Боже! Теперь бы *он* встретил,
Чистые руки сейчас бы заметил,
К сердцу прижал бы меня от души...
Как мои руки теперь хороши!..»

Белые руки, изящные руки!
К вам подошел «представитель науки»,
Жрец Эскулапа. Пожавши плечом,
Он усмехнулся: «Я здесь — ни при чем.
Даром я бросил собрание наше...»
И — погрузился опять в ералаше.
Некто спросил: «Оторвали дела?»
— «Да, *белоручка* при мне умерла.

Знал ты ее, как мне помнится? Умер
В злейшей чахотке *седьмой* этот *нумер*».
— «Нумер не мой. Невиновен здесь я:
Красные руки имела *моя!*»

22 ноября 1881

ПЕСНЯ О ДРЕМЕ И ЕРЕМЕ

По селу ходит Дрема. Коробейник Ерема
Истомился и лег на полати;
А его-ста бабенка, спать уклавши ребенка,
Молвит слово: «Чего пожелати?»

— «Пожелай мне, родная, чтобы выпил до дна я,
Хоть во сне, чарку водки хорошей.
Пожелай мне с любовью, чтоб не кашлял я кровью,
Нагибаясь под грузною ношей.

Пожелай также чуда, чтоб хозяин-иуда
Уплатил мне по чести деньжонки»...
По селу ходит Дрема. Коробейник Ерема
Засыпает под песенку женки:

«Спи, мой милый, желанный! Наш сынок бесталанный
В рост войдет — и умнее нас станет.
Не кручинься, мой светик! Наше детище-цветик,
Даст господь, не замрет, не завянет.

Я вот так разумею, что тебе, Еремею,
Да и мне жить осталося мало.
Пожелать только надо, чтобы наше-то чадо,
Пробираясь вперед, не дремало.

Я, ученая в школе, не привыкла к неволе
И, ее завсегда проклиная,
Чую бабьим умишком, что над нашим сынишком
Зарумянится зорька иная.

А и в некую пору будет каждому вору
На Руси жить отменно негоже;
А и в некое время народится же племя,
На людей-ста свободных похоже.

Выйдет парень рабочий и до воли охочий!»
...И уснула над люлькой бабенка.
Спит и бедный Ерема. Но не спит только Дрема
И пугливо бежит от ребенка.

29 ноября 1881

ЧАРОДЕЙКА-ВЕСНА

(Современная идиллия)

Весна катит,
Зиму валит;
Поют птички
Со синички,
Хвостом машут
И лисички.

Тредиаковский

Зашумели ручьи. Наступила весна.
Вот и первый подснежник!
...Здоро́во,
Мать-природа! В объятиях зимнего сна
Ты лежала полгода. Сурово
Злой мороз по деревням ходил и знобил
Не паломников наших парижских:
Он рукою своей леденящей убил
Много душ православных, ревизских.
...Но весной благоденствуй, российский народ!
Кто остался в живых, тех весна обеспечит;
Добродушное земство накормит сирот
И народные язвы залечит...
«На гумне ни снопа, в закромах ни зерна!»
(Мне припомнилась песня поэта).
Но да будет надежде отчизна верна,
Чародейкой-весною согрета!

Так, приятно мечтая, иду я селом.
Вдруг урядник попался навстречу.
На лице его пасмурном, злом
Я, бывало, «опасность» замечу.
Так и видишь, бывало, что ночью и днем
Он мечтает упечь вас в Пинегу;

Но весной замечаю я в нем
Благодушие, милость и негу.
Как приятно лицо! Как улыбка ясна!
Он теперь состоит не на страже...
О, весна, чародейка-весна,
Ты пленила урядника даже!

На него я смотрю и не верю глазам,
И в раздумьи смущаюсь и трушу:
Неужели чудесный весенний бальзам
Мог смягчить эту черствую душу?
Он, урядник, с букетом весенних цветов?
Он, урядник, их нюхает?.. Где я?
Не во сне ли я брежу? Божиться готов,
Что его я считал за злодея.
Он не крупный злодей; он села не спалит,
Не убьет человека в задоре,
Или так... «по любви» (con amore);
Но крестьянское горе его веселит,
Обыденное, мелкое горе...

. . . .

Мы сошлись, и урядник пытливо спросил,
Прикоснувшись почтительно к кепи:
«На прогулку пошли, как невольник без сил,
Неким чудом сорвавшийся с цепи?
Извините мою кудреватую речь:
Мы в «риторике» тоже учились,
И весною, желая здоровье сберечь,
На прогулку от дел отлучились.
Надоели дела, надоели весьма!
Слава богу, дождался весны я,
А зимою хлопот для урядника — тьма:
Кражи, драки, порубки лесные.
Беспощадно крестьяне рубили леса
У казны и господ благородных;
Но тепло даровали опять небеса,
И не будет избенок холодных,
И не буду я слышать весной (чудеса!)
Громких стонов и воплей народных,
Поражают они, как кинжал,

Доложу вам по чести, без фальши...».
Гуманисту я руку пожал
И отправился дальше.

Миновавши пустой (слава богу!) кабак
(Русь трезвеет весной понемножку),
Вижу я, что седой пришекснинский рыбак
Собирает для ловли мережку.
«Что, приятель, работать идешь на Шексну?
В добрый час!» — «Благодарствую, милый!»
— «Расскажи, ты любовно ли встретил весну
После зимушки, всем опостылой?»
— «Да, ты верное слово сказал,
Надоела зима-лиходейка...»
И рукой на погост указал,
Где его приютилась семейка.
«Там ребята мои. На могилки взгляни!
А хорошие были парнишки,
И к рыбацкому делу привыкли они,
И читали в училище книжки.
Зазнобились зимой. Дорогоньки дрова,
Да и хлеб и лекарства-то дороги.
Затрещали у нас, на Шексне, с Покрова
Холода, наши лютые вороги.
Для ребят я в казенную рощу побрел;
От меня-де она не умалится:
Ведь казна, как могучий и сытый орел,
Над птенцами озябшими сжалится...
Прихожу я в лесок, а урядник — как тут!
И попался я в лапы безбожника:
Он меня за охапку валежника
К мировому отправил на суд.
Просидел я две целых недели;
А ребята болели, худели,
И теперь челобитье несут
На урядника господу-богу...
Наш урядник лихой больно крут
И пристрастье имеет к острогу.
Особливо свиреп он бывает зимой,
По весне же маленько покротче...»
— «Так-то так, старина! Человек ты прямой!»

Сам же думаю:
«Господи-отче!
Ты, который создал небеса,
Ты, пославший нам сына-спасителя,
Сотвори нам еще чудеса:
Обуздай пришекснинского жителя,
Чтобы он под ветвистым зеленым шатром
Позабыл наши «были» тиранские
И для жалких мальчишек своих топором
Не рубил наши рощи дворянские...
Это — первое чудо. Второе еще
Сотвори (я прошу дерзновеннее):
Чтоб урядник любил мужика горячо
И зимой, и во время весеннее!»

. . . .

А рыбак продолжал заунывную речь:
«Осудили меня, как воришку.
На беду я успел от морозов сберечь
Одного мальчугана-сынишку».
— «Как же так, на беду?» — «Потому, братец мой,
Потому, господин мой прохожий,
Что сынок, мой последыш, — глухой и немой
И к рыбацкому делу негожий.
От него я подспорья не жду впереди...»
— «Где же он?» — «Где-нибудь забавляется,
На погосте церковном, поди,
На могилках у братьев валяется.
Больно их он любил. Сам создатель печать
Положил на уста у Ванюшки;
А как умерли братья, я стал замечать,
Он таскает куда-то игрушки.
Подглядел я за ним. Он к моим сиротам
На кладбище умчался без шапки,
Да на свежих могилках и выставил там,
По дурачеству детскому, бабки.
Он мычит, словно зверь; он тоскует, ревет,
А сказать хоть словечко — нет силы.
Словно братьев умерших Ванюшка зовет:
«Вылезайте играть из могилы!»
Я не́ тронул его. Я ему не сказал,
Чтоб не смел баловаться при гробе.

Уж его без меня сам господь наказал
(Божья воля!) у матки в утробе.
Грех великий роптать: даст мне рыбки Шексна...»
И ушел он на плесо широкое.
...О весна, чародейка-весна,
Ты смягчаешь и горе жестокое!

На кладбище идти или в рощу? — Вопрос...
Всюду зелень, везде есть «природа»;
Но, по лености старой, как истинный росс,
Не люблю я большого похода,
А до рощи — далеко. Там ландышей тьма;
Там и воздух смолистей и чище;
Но дорога к кладбищу гладка и пряма...
Решено: я иду на кладбище.
Я окинул тоскующим взглядом
Божью ниву. Она возросла.
Там и здесь, в отдаленьи и рядом,
Всё кресты да кресты... без числа!
Сколько их, — сосчитает статистика;
Но из книжки моей записной,
Очарованный чудной весной,
С целью злобной не вырву я листика:
Пусть сочтет эти гробы иной!
Жаль, не слышу здесь голоса детского:
Бедный Ваня уснул: ни гу-гу!
...Здесь спокойно поэта немецкого
Прочитать очень кстати могу.
(Слишком плохи мои переводы.
Друг-читатель, сего не забудь!
Но «в объятьях царицы-природы»
О «Весне» пропою как-нибудь.) [1]
«Вот — весна, и бедняк горемычный
Верит вновь, что природа нежна,
Что рукою, к щедротам привычной,
Рассыпает блаженство она.
Каждый солнечный луч, проникающий
Сквозь дырявую крышу в избу,
Говорит человеку-рабу:
„Успокойся же, раб унывающий,

[1] «Der Frühling» («Весна») Мейснера.

И не смей клеветать на судьбу!
Милосердье с собой приношу я..."»
...Перевод, сознаюсь, плоховат;
Но под дубом могильным пишу я,
Потому-то и стих *дубоват*.
Не смущайтесь плохим каламбуром:
Обитая на севере хмуром,
Поневоле России сыны
На кладбище народном должны
Представляться шутом-балагуром,
Видя только... чудесные сны.
Я не сплю; но немецкие грезы
(Знать, мне так суждено на роду)
Без таможни, сквозь русские слезы,
Я у Мейснера жадно краду.
Перед ним не хочу быть невежей:
Подражать, так вполне подражать!
На траве охлаждающей, свежей
С добрым немцем готов я лежать.
...Этот немец для нас, россиян, — по плечу,
В нем не вижу славян истребителя,
И воскликну с ним вместе:
«Я верить хочу,
Что весь мир обретет утешителя.
Он, источник любви, золотой свой венец
Превратил в золотую монету
И народу отдаст, чтобы он, как слепец,
В нищете не шатался по свету.
Он порфиру свою разорвет и отдаст
По частям, по клочкам, для народа...»

Переводчик, заметьте, не слишком горазд,
Но понятна вам цель перевода.
Я не кончил еще, но докончу потом,
Как-нибудь, на спокойном досуге.
А теперь, осенившись славянским крестом,
Помечтаю о Ванюшке-друге.
На могилках он спит.
...Славянин бедный мой!
Ничего ты не слышишь, не скажешь, —
Час пробьет, и безропотно, глухонемой,
Рядом с братьями мертвыми ляжешь,

Больно мачеха-жизнь для тебя некрасна,
За тебя, за молчальника, трушу...
О весна, чародейка-весна,
Разбуди нашу сонную душу!

10 января 1882

К НАШЕМУ ЛАГЕРЮ

Много нас, и много слышно звуков.
Хор велик; но кто же правит им?
Что же мы в поэзии для внуков,
Для своих потомков создадим?

Чем они с любовью нас помянут,
Двинув Русь родимую вперед?
Чьи же лавры долго не увянут,
Чье же имя долго не умрет?

Нет у нас давно певцов великих;
В темный век мы слабы без вождя.
Мы в степях томительных и диких —
Словно капли мелкого дождя.

Если нива жадно просит влаги, —
Мелкий дождь не напоит ее;
Если мы развесим наши флаги, —
Примут их за жалкое тряпье.

Что́ на них пророчески напишем,
Поучая внуков дорогих?
Мы едва и сами робко дышим,
И нельзя нам оживить других.

Суждено проселочной дорогой
Нам плестись на маленький Парнас,
И страдалец истинный, убогий —
Наш народ — не ведает о нас.

Да и знать о нас ему ненужно.
Все мы мертвы. Он один — живой.
И без нас споет он песню дружно
Над Днепром, над Волгой и Невой.

Не придут от нас в восторг потомки,
Видя в нас лишь стонущих рабов,
И растопчут жалкие обломки
Наших лир и тлеющих гробов.

Пусть тогда восстанут наши кости,
Потешая деток и внучат;
Пусть они спокойно и без злости
Из своей могилы прозвучат:

«Растоптали нас вы и забыли;
Мы лежим, повержены в пыли;
Но народ мы истинно любили,
Хоть его воспеть и не могли.

Пойте сами громче и чудесней!
Вам иная доля суждена.
Мы себя не услаждали песней,
Нас лишь только мучила она.

Мы ее болезненно слагали,
Пред своим кумиром павши ниц:
Петь ее нам только помогали
Голоса из склепов и темниц!»

6 июля 1882

ТАИНСТВЕННЫЙ ЯМЩИК

(Крещенская баллада)

1

Мечты печальные тая,
В крещенский вечер еду я.
Мне что-то страшно. Незнаком
Я с молчаливым ямщиком.
На нем истасканный тулуп
И шапка старая. Как труп,
Он бледен, мрачен — как мертвец...
«Да погоняй же, молодец,

Пошибче! Скоро ли конец?»
— «Близехонько, всего верст пять...»
И замолчал ямщик опять.

2

Всё степь да степь — простор большой...
И я с взволнованной душой
Гляжу тайком на ямщика.
Нигде не видно огонька;
Лишь месяц нам издалека
Попутно светит. Страшно мне
В глухой, безлюдной стороне,
И робко бредит мысль моя:
Не с мертвецом ли еду я?
«Да скоро ли?» — «Проедем мост,
А там, близ станции, погост».

3

Погост... кладбище... Черт возьми!
«Людмилу» я читал с детьми
И хохотал до слез. Теперь
Мне не смешно. Свирепый зверь
Не напугал бы так меня,
Как мой ямщик. Он, наклоня
Тоскливо голову, дрожит, —
А тройка медленно бежит...
Через кладбище путь лежит.

4

Вдруг мой ямщик махнул рукой
И «Со святыми упокой»
Запел протяжно...
«Замолчи
И не пугай меня в ночи!»
— «Я не пугаю, я молюсь.
Ты, господин, сиди — не трусь!
Две вёрсты живо промелькнут...»
И мой ямщик, отбросив кнут,
Вдруг на кладбище побежал;

И видел я, как он лежал
Там на могиле, весь в снегу,
Потом вернулся, ни гу-гу,
На козлы сел, кнутом махнул
И тихо, жалобно вздохнул.

5

«Ямщик!» — «Чего?» — «Скажи, о ком
Молился ты сейчас тайком?»
— «О муже. . .» — «Как?!» — «А почему ж
Не помолиться, если муж
Здесь погребен? Он в ямщиках
Служил и на моих руках
Скончался. С парою сирот
Осталась я. Решил народ,
Что я бабенка — не урод,
Что у меня сильна рука:
Могу служить за ямщика...
Ну, живы будем — не умрем...
Теперь махнем по всем по трем!»

6

От бабы получив урок
В крещенский зимний вечерок,
Теперь не верю в мертвецов,
Но верю в женщин-молодцов...
Ты, днесь крестившийся, спаси
Страдалиц женщин на Руси!

6 января 1883

РУЧКА, РУКА И ЛАПА

1

Я смущаюсь и дрожу,
Ручку я твою держу,
Ручку нежную,
Белоснежную.
Ах! Зачем же так она

И бледна и холодна,
Ручка нежная,
Белоснежная?

Эта милая рука
Наградит ли бедняка
И пожатием
И объятием? ..
Прочь, игривые мечты! ..
Устремишь, ручонка, ты
Пальцев кончики
На червончики...

2

Я смущаюсь и дрожу,
С озлоблением держу
В ночь морозную
Руку грозную.
Эта грозная рука
Пощадит ли бедняка?
Не задавит ли?
Не отправит ли?
...А куда? Куда? Куда? ..
Много стран есть, господа,
Удивительных,
Прохладительных!

3

Лапу твердо я держу
И, по совести скажу, —
Лапу милую,
Не постылую.
Это лапа мужика,
Хоть мозольна, но легка, —
Лапа важная,
Не продажная!

...Иль я слеп и бестолков?
Иль на лапе перстеньков
Не имеется?

Но мозоль на лапе той,
Честной, доброй и простой,
Мне виднеется...
И она дороже их —
Перстенечков дорогих —
Разумеется!

1883

ПУШКИН И... МАНУХИН

(Сонет)

«Суровый Дант не презирал сонета!»
(Так Пушкин наш великий возгласил).
«Издания народного поэта
Страх дороги: купить не хватит сил.
Чей это грех? Дождусь ли я ответа?» —
Так юноша издателя спросил.
Издатель же, холодный, словно Лета,
Урядника на помощь пригласил.
«Лови его! Сей юноша зловредный:
Желает он, чтобы народ наш бедный
Над Пушкиным очнулся». Алгвазил
К народу был исполнен состраданья:
На Пушкина перстом он погрозил,
Велев читать... Манухина изданья.

<1884>

ПАПЕНЬКА И МАМЕНЬКА

(Деревенская быль)

Папенька с маменькой богу молились,
Чтобы малюточки в них уродились,
Чтобы они проводили свой век,
Помня, что жив крепостной человек.
Он на потребы господские нужен:
Нынче он — повар и стряпает ужин,
Завтра он должен попасть в кучера,
Ибо... «желудок испортил вчера».
Будет, разбойник, умней и послушней,
Как познакомится с барской конюшней!

. . .В пышной усадьбе, при свисте плетей,
Папеньке с маменькой бог дал детей.

Папенька с маменькой нежно воркуют,
Дети растут и о чем-то тоскуют, —
Всё им не нравится, всё не по ним!
Папенька, господом-богом храним,
Девке прикажет: «Чеши, дура, пятки!» —
И заволнуются в горе ребятки.
Коля и Маша рыдают тайком,
Встретясь на страде с больным мужиком.
Молятся Коля и Маша: «Ох, боже!
Папенька с маменькой бьют для чего же
Бедную няню? У ней на груди —
Страшные раны, хоть сам погляди!»

Папенька с маменькой — в страшной печали:
Буйством «свободу» они величали.
Коля (тогда он был мальчик большой)
Бывших невольников обнял с душой.
Маша — красавица с сердцем горячим —
Нянюшку встретила радостным плачем:
«Няня, ты — вольная! Няня-душа!
Царская милость — чиста, хороша. . .»
Папенька с маменькой ахнули оба;
В них закипела боярская злоба, —
И за своих вольнодумцев-ребят
Папенька с маменькой слезно скорбят.

Папенька с маменькой живы и здравы.
Дети, которые были неправы,
Дети, жалевшие глупо народ,
Рядом лежат у церковных ворот.
. . .Как схоронили и Колю и Машу —
Это не входит в историю нашу.
Носится слух, что, прогнавши толпу,
Папенька с маменькой батьке-попу
Лепту «изрядно богатую» дали,
Грустно сказав: «От детей мы страдали!
Нравились им мужики-голыши, —
Не было в детях дворянской души!»

<1884>

МАКАР

Мой приятель Макар
Покорился судьбе.
Он ни молод ни стар.
И живет... так себе.

Странный он человек!
Пожалеешь о нем:
То проспит целый век,
То вдруг вспыхнет огнем.

Он и кроток и смел,
И на всё он ходок,
Даже сделать сумел
Петербург-городок.

Поклониться велят —
Он отвесит поклон;
Гнать заставят телят —
И телят гонит он.

Хлебца нет — не беда:
Он и желуди ест;
Загуляет — тогда
Рад пропить с шеи крест.

Становой пригрозит —
Струсит он, как дитя;
А медведя сразит
Кулачищем шутя.

«Веселись, дуралей!» —
И Макар запоет.
«Слезы горькие лей!» —
И он рёвмя ревет.

«Сделай флот, старина!» —
И плывут корабли.
«Обеднела казна»... —
Он дает ей рубли.

«Правосудно суди!» —
И судить он горазд.
«На разбой выходи!» —
Он пощады не даст.

Человек он и зверь;
В нем и холод и жар...
Но велик ты, поверь,
Мой приятель Макар!

21 марта 1884

МУЗА-ГЕНЕРАЛЬША

Вы — художник, я — маляр;
Музе вашей я не вторю,
Ваших виршей экземпляр
Я купил... Нашел там: «К морю»,
«К музе», «К розе», «К соловью»
И так дальше, и так дальше...
Честь и славу отдаю
Вашей музе-генеральше!
Наша муза — сирота,
Не имеющая чина,
Раззевать не смеет рта,
И близка ее кончина.
Но среди могильной тьмы
Твердо веруем, без фальши,
Что утонем в Лете мы
После... музы-генеральши!

14 июля 1884

ПИИТА

Раз народнику-пиите
Так изрек урядник-ундер:
«Вы не пойте, погодите,
Иль возьму вас на цугундер!»

Отвечал с улыбкой робкой
Наш певец, потупя очи:
«Пусть я буду пешкой, пробкой,
Но без песен жить нет мочи.

Песня в воздухе несется,
Рассыпаясь, замирая;
С песней легче сердце бьется;
Песня — это звуки рая.

Песне сладкой всё покорно,
И под твердью голубою
Песнь не явится позорно
Низкой, подлою рабою.

Песня — радость в день печальный,
С песней счастлив и несчастный...»
Вдруг — свисток. Бежит квартальный,
А за ним и пристав частный.

Отбирают показанья
Твердой, быстрою рукою:
«Усладили вы терзанья
Русской песней, но какою?

Вы поете о народе, —
Это вредно. Пойте спроста:
«Во саду ли, в огороде...»,
«Возле речки, возле моста...»

Много чудных русских песен
Как пиите вам известно...
Мир поэзии не тесен,
Но в кутузке очень тесно».

Внявши мудрому совету,
Днесь пиита не лукавит:
Он теперь, в минуту эту,
Лишь Христа с дьячками славит.

21 декабря 1884

ДУНЯ

> Нива, моя нива,
> Нива золотая!..
>
> *Жадовская*

1

Дуня, моя Дуня,
Дуня дорогая!
В жаркий день июня
Ты, изнемогая,
Травушку косила
Ручкой неленивой,
Пела-голосила
Над родимой нивой:
«Где дружок найдется,
Чтоб мне слезы вытер?
Горько здесь живется, —
Я поеду в Питер.
Люди там богаты,
Здесь же — бедность, горе...
Из родимой хаты
Убегу я вскоре».
...И рыдала Дуня,
Дуня молодая,
В жаркий день июня
К ниве припадая.

2

Дуня, моя Дуня,
Дуня дорогая!
В жаркий день июня
Ты, полунагая,
В Питере дрожала
С рабскою мольбою:
«Острого кинжала
Нет ли, друг, с тобою?
Если есть, — пронзи ты
Грудь мою нагую,
Или... поднеси ты
Рюмочку-другую!»

Ярославль. 14 Мая 1864.

Милостивый Государь
Владимiръ Гавриловичъ!

На дняхъ я имѣлъ честь получить Ваше письмо. Покорнѣйше прошу не отсылая гонорарiума и напечатать мои стихи безъ всякаго вознагражденiя, если только плата за нихъ составляетъ единственное препятствiе къ помѣщенiю ихъ въ Иллюстр. Газетѣ. Мѣста, непропущенныя цензурою, вѣроятно, можно означить точками... Но изъ пяти пьесъ, Вами полученныхъ, я прошу воспользоваться, по Вашему усмотрѣнiю, только четырьмя: — Семинариста я желаю передѣлать и напечатать, если можно, въ одномъ изъ сатирическихъ журналовъ.

За готовность содѣйствовать напечатанiю моей статьи о бурлакахъ, приношу глубокую благодарность.

Остаюсь готовымъ къ услугамъ,
уважающiй Васъ

Л. Трефолевъ.

— «Дуня! Милка, крошка,
Что с тобой, малютка?»
— «Я... пьяна... немножко,
Угощай же, ну-тка!»

...И хохочет Дуня,
Дуня молодая,
В жаркий день июня
Низко упадая.

<1885>

ЦЫГАНСКО-РУССКАЯ ПЕСНЯ

«Мы живем среди полей
    И лесов дремучих»,
Проливая, как елей,
    Много слез горючих.

С каждым часом тяжелей
    Нам от фраз трескучих...
«Мы живем среди полей
    И лесов дремучих»...

Пусть истории столбцы
    Правду обнаружат, —
Как и деды, и отцы
    Стонут, плачут, тужат...

Выглянь, солнышко, смелей
    Из-за туч могучих!
Горько жить «среди полей
    И лесов дремучих».

<1885>

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Хоть у школьников спроси, —
Было время на Руси:
Раздавался смех рыдающий,
Но сквозь слезы уповающий
    В дни грядущие,
    Не гнетущие.

«Честный смех», как благодать,
Может нас пересоздать...
Только где же наши Гоголи?
На святой Руси их много ли
В дни тоскливые,
Молчаливые?

Но когда молчат уста,
То — прекрасна и чиста —
Говорит слеза горючая,
В самой немощи могучая,
Благотворная,
Непозорная!

<1885>

УЖАСНЫЙ СЛУХ

Ужасный слух, слух горький — вроде хины:
«Исчезнут все гражданские чины!!!»
Приятнее мне поглотить трихины,
Накушавшись немецкой колбасы!!!

У нас (скажу вам правду-матку смело)
Иметь «чины» есть множество причин,
Одна из них — известное вам дело, —
Чтоб передать жене и детям «чин».

Но если вы — коллежский регистратор,
Тогда на вас не стоит и глядеть:
Как сэр Джон Булль, отправьтесь под экватор, —
Там можете «арапками» владеть!

Но если вам нет радости в «арапках»,
Для вас невест российских подберем —
С условием: служа на задних лапках,
Вы сделайтесь скорей секретарем.

Но если вы высокоблагородный,
Приобрели «асессора» брюшко, —
Тогда вполне жених вы превосходный,
И уловить невест для вас легко.

Но если вы (подумать даже страшно)
«Действительный», хотя бы и кретин, —
Вступайте в брак, готовьте вкусно брашно
При первенце-малютке в день крестин.

У «тайного» есть тайны, приключенья:
Родится сын у старца древних лет...
Чиновника особых поручений
Он — вылитый и писанный портрет!

<1885>

ПОД ОСЕННИМ ДОЖДЕМ

Мне нравятся премудрые советы:
«Ты под дождем пиши повеселей.
В стихах своих, достойных мертвой Леты,
Напрасных слез отчаянно не лей.
О чем рыдать? Зачем упреки, вздохи?
Ведь горюшку слезами не помочь».
Так, так, друзья. Мои стишонки плохи...
Но осенью, в томительную ночь,
Когда льет дождь и близятся морозы,
Когда везде так скучно и темно, —
Петь соловьем об ароматах розы —
Ведь это так бездушно и смешно.
«Наивен ты: осенний дождь не вечен.
Придет весна с живительным дождем...»
А вот тогда, и весел и беспечен,
Я запою. Теперь же — подождем.

<1885>

ИЗ ЗАПИСОК ЛИТЕРАТОРА-ОБЫВАТЕЛЯ

25-го декабря 1885 года

Рождество. Его превосходительство,
Упрекнув меня за сочинительство,
Объяснил, что проза и стихи
Вообще — ужасные грехи.
...Дал совет:
«Сидите за докладами,

И тогда осыплю вас наградами,
А не то!»
...Согнулся я в дугу;
Но без Музы жить я не могу!

...Был швейцар его превосходительства
И сказал мне с видом покровительства:
«Дали вы мне рублик, и за то
Я подам вам шубу и пальто, —
Сверх сего, совет подать приятнее:
Сочинять извольте деликатнее!
Очень добр наш штатский генерал,
Но ведь вы — известный либерал!!!»

Ночью 31-го декабря

...Ночь темна... Я занят сочинительством.
В Новый год с его превосходительством
Будет мир... Я вирши поднесу
В честь его — в указанном часу.
Возглашу с приятным увлечением,
Что своим он славен просвещением,
Что, собой наш город озаря,
Он блестит, как... свет из фонаря?

1-го января 1886 года

Новый год. Его превосходительство
Похвалил сперва за сочинительство,
Но, когда дошел до «фонаря»,
Вспыхнул он, сурово говоря:
«Черт возьми! Вы пишете двусмысленно,
Вообще ужасно легкомысленно...
Вы меня сравнили с «фонарем»!!!
Завтра мы всё дело разберем...».

2-го января

...Выгнали из службы без прошения!
Лучше бы строчить мне «отношения»,
Или так: наместо «фонаря»
Написать: «Ты блещешь, как заря!»
<1885>

ПЕЧАТЬ И ЕЕ СЫНОВЬЯ, ИЛИ БЛИНЫ И ЗАПЯТЫЕ

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина...
(Мицкевич и Пушкин)

Три сынка у Печати. Мать их будит в кровати
И беседует так с молодцами:
«Дети, перья чините и туман прогоните, —
Перья будут для вас бердышами!

Справедлива весть эта, что вы ждете рассвета,
Что хотите догнать европейца...
Посреди буераков умер светлый Аксаков.
«Русь» мрачна... Но блестит «Луч» Окрейца.

Вы писаки не злые, храбрецы удалые...
(Да хранят вас цензурные боги!)
Я сама не поеду. Приезжайте к обеду
Не с «блинами» в родные чертоги.

Будет всем по награде на журнальном параде.
...Ты, мой первенец, «Вестник Европы»,
Покраснев понемножку, сохрани хоть... обложку,
И стремись чрез капканы-подкопы!

Ты, сыночек мой средний, не сидевший в передней,
Наблюдай, ибо ты — «Наблюдатель»!
Но пред каждой таможней осмотрись осторожней:
Не сидит ли в ней «блин», как предатель?

Младший сын, милый сердцу! Выходи в эту дверцу,
Юный девственник, свежий прелестник!
Вышибая клин клином, ты, на масленой, с «блином»
Не являйся, мой «Северный вестник»!

Я была помоложе и «блины» ела тоже,
И пила я горячую «жженку»...
Глупо век доживаю, но на вас уповаю:
Просветите родную сторонку!»

Детки с маткой простились и печатать пустились...
Ждет старуха их, чуя невзгоду.
Детки, верно, убиты? .. Едут тише улиты
И толкут только воду да воду.

На Печать снег валится. Из «Европы» сын мчится,
Чуть-чуть ноги свои уплетая.
Мать рыдает пред сыном: «Что? Опять едешь с „блином"?»
— «Да, мамаша... Опять запятая!»

Вьюгу поднял создатель. Мчится вспять «Наблюдатель»...
«Сын мой, есть ли надежда святая?
Объяснись перед нами: с чем ты едешь? С „блинами"?»
— «Да, мамаша... Опять запятая!»

Ветер жалобно свищет. «Вестник северный» рыщет,
Между светом и мраком летая.
«Ты спасен ли судьбою? Не «блины» ли с тобою?»
— «Да-с, мамаша... Опять запятая!»

Воют серые волки. Едут внучки «Осколки»
И с «блинами» спешат без отсрочки.
Бабка злобно хохочет, но спросить их не хочет,
Увидав... «запятые»... и «точки»...

<1885>

ОСТЫВШАЯ ЛЮБОВЬ

Блажен, кто верует:
тепло тому на свете!

Грибоедов

«Блажен, кто верует: тепло тому на свете!»
...Сатирику я слепо подражал,
И *верил* я в тепло, когда к Лизете
На чердачок холодный прибежал.

Дрова последние сырые догорали...
В объятиях друг друга грели мы —
А ветер пел уныло: «Не пора ли
Расстаться вам среди холодной тьмы?»

Но ты шептала мне в своей ночной одежде:
«Как здесь тепло! Еще со мной побудь!»
И с чердачка я убегал не прежде,
Когда у нас в лед обращалась грудь.

Исчезло счастие! Состарились мы оба...
Любовь прошла. Любовь нам — трын-трава!
Тебе и мне остался шаг до гроба,
И не любовь нас греет, а... дрова!

Сидим с заботою: что будет завтра с нами?
Согреет ли нас теплый камелек?
Не делимся мы радужными снами,
Но веруем: наш *берег* недалек!

К нему приходится приплыть, друг старый, милый!
...Пора забыть и радости и зло, —
Поверуем, что где-то, за могилой,
Мы будем жить спокойно и тепло!

<1886>

ДЕРЕВЕНСКАЯ ДОЛЮШКА-ДОЛЬКА

Раздаются рыданья и вопли...
Что за горе в селе: не потоп ли?
Но родимое наше село
Далеко от реки отошло.
Может статься, иные печали
Черти нам на беду накачали?
Опились в кабаке мужики,
Отравилась молодка с тоски?
Быть не может! Давно ли на сходке
Мужики отказались от водки?
Целый «мир» приговор подписал,
А трактирщик в затылке чесал...
И молодке погибнуть к чему же:
Разве худо живется при муже?
Правда, стар он, ревнив и суров,
Но зато «капиталец» здоров!

...Не опять ли люд темный и серый
Поражен злою ведьмой-холерой?
Но молва городская шумит:
Лекарь есть, Карл Адамович Шмит.
Он примчится к нам быстро и сразу

[illegible] [illegible] в [illegible] Цензорам, что в стихотворении этом с иронией изображено безпомощное положение сельского населения, единственного причиною горькой доли которого являются податной чиновник в образе податного инспектора, и находя в нем кроме того непристойное глумление над религиозными чувствами народа — Определили! Ст. н. з. «Деревенская долюшка-доля» к напечатанию в подцензурн. ж. «Осколки» не дозволять.

Осколки. № 5. 30 Янв. стр. 11

ДЕРЕВЕНСКАЯ ДОЛЮШКА-ДОЛЬКА.

Раздаются рыданья и вопли...
Что за горе въ селѣ: не потопъ ли?
Но родимое наше село
Далеко отъ рѣки стояло.—
Можетъ статься, иныя печали
Черти намъ на-бѣду накачали?
Опились въ кабакѣ мужики,
Отравилась молодка съ тоски?—
Быть не можетъ! Давно ли на сходкѣ
Мужики отказались отъ водки?
Цѣлый «міръ» приговоръ подписалъ,
А трактирщикъ въ затылкѣ чесалъ...
И молодкѣ погибнуть къ чему же:
Развѣ худо живется при мужѣ?
Правда, старъ онъ, ревнивъ и суровъ,
Но за то «копителенъ» здоровъ!

***

...Не опять ли людъ темный и сѣрый
Пораженъ злою вѣдьмой—холерой?
Но молва городская шумитъ:
Лѣкарь есть—Карлъ Адамовичъ Шмитъ,
Онъ примчится къ намъ быстро и сразу
Уничтожитъ лихую заразу,—
И за трудъ не возьметъ ни гроша
Добрый нѣмецъ—святая душа.

***

Можетъ быть, изъ небесной лазури
Покатились громовыя бури,
Градомъ выбило рожь и овёсъ,
И пропалъ отъ дождей сѣнокосъ?—
Не бѣда! Мы отслужимъ молебны,
А они (какъ извѣстно) цѣлебны.
Совершатся у насъ чудеса,
Засіяютъ опять небеса,—
И наступитъ желанное вёдро,
И хлѣба приподымутся бодро.
Мы увидимъ въ поляхъ благодать...
...Такъ о чемъ же такъ глупо рыдать?

***

...А рыдаетъ о томъ «міръ» крещеный,
Что явился *инспекторъ* ученый.
Онъ не учитъ голодныхъ ребятъ,
Но при немъ мужичонки скорбятъ.
— «Охъ ты, долюшка, горькая долька!»
...*Податной* онъ *инспекторъ*,—и только!

Л. Н. Трефолевъ.

Уничтожит лихую заразу,
И за труд не возьмет ни гроша
Добрый немец, святая душа.

Может быть, из небесной лазури
Покатились громовые бури,
Градом выбило рожь и овес
И пропал от дождей сенокос? —
Не беда! Мы отслужим молебны,
А они (как известно) целебны.
Совершатся у нас чудеса,
Засияют опять небеса, —
И наступит желанное ведро,
И хлеба приподнимутся бодро.
Мы увидим в полях благодать...
...Так о чем же так глупо рыдать?

...А рыдает о том «мир» крещеный,
Что явился *инспектор* ученый.
Он не учит голодных ребят;
Но при нем мужичонки скорбят:
«Ох ты, долюшка, горькая долька!»
...*Податной* он *инспектор* — и только!

<1886>

РЫЦАРЬ И ВЕДЬМА

(Баллада)

Мрачно всюду, глухо всюду...
Быть здесь чуду! Быть здесь чуду!

Из Мицкевича

«Всюду мрачно, неудачно...» Обращая к небу взор,
Мчится Рыцарь современный — бескорыстный ревизор.
Не грозит ему ни петля, ни отрава, ни кинжал, —
Но пред Ведьмой-лиходейкой храбрый Рыцарь задрожал.
На метле с проклятой Ведьмой улетев под небеса,
Он очистил недоимки, по закону, в полчаса...
...Вечер был. Мигали звезды. Всюду царствовал туман.
Рыцарь с тайною надеждой заглянул к себе в карман

И ощупал Ведьму-Взятку. Эта Ведьма, как бандит,
В виде *«красненькой»* — сурово и насмешливо глядит.

«Всюду глупо, всюду тупо...» Устремясь в казенный лес,
С чувством злобы, чрез трущобы, наш герой туда полез.
...Всё испортил, перепутал старый Дедушка Лесной:
Дуб корявый, величавый смотрит жалкою сосной...
Всё трясины да осины, вместо плачущих берез...
Рыцарь славный, благонравный сам растрогался до слез:
Значит, Леший разгулялся, словно Буря-атаман? —
Рыцарь кротко улыбнулся и ощупал свой карман.
Там опять он видит Ведьму. Смотрит Ведьма веселей, —
И на ней венок *желтеет*, состоящий из рублей.

«Всюду худо, всюду чудо...». Рыцарь бросился в приют,
Где амурно и недурно честь науке воздают.
В благородном пансионе он не встретил пошлых дур:
Без печали отвечали, кто был Вакх и кто Амур;
В должной мере о Венере знали все, как дважды два,
Так что сам экзаменатор убежал едва-едва...
Сочинив для дев невинных нежно-нравственный роман,
С чистой совестью наш Рыцарь углубился в свой карман
И заметил с удивленьем и великою тоской,
Что сидит там *«князь Димитрий Иоаннович Донской»!!!*

«Всюду взятки, беспорядки...» И дорогою прямой
К современной «Даме сердца» Рыцарь бросился домой.
Злобно «Дама» упрекнула:
«Ты ли, Рыцарь... Наконец!
Без тебя был здесь купчина, мудрый старец, не юнец.
Он не грабит, не терзает бедных, плачущих сирот;
Он — не *злостный*, а *несчастный*, добродетельный *банкрот...»*
И ответил Рыцарь:
«Дама! Не введу купца в обман,
Но позволь мне благородно заглянуть в его карман...»
...Рыцарь смотрит, улыбаясь... Вот так праздничек Христов!
...Сколько там бумажек разных! Сколько *радужных* цветов!

<1886>

ПТИЧКИ ПЕВЧИЕ

1

Вчера в саду, на ветвях ели,
Две «птички певчие» сидели
И задушевно-сладко пели,
Что мир очнулся после сна,
Что в мире слишком много счастья:
«В замену мрака и ненастья
Явилась светлая весна!»
Вдруг зашумела ведьма-вьюга —
И дети пламенного юга,
Одевши крыльями друг друга,
Умолкли. Ночь была темна...
Оледенели птички с думой,
Что там их бог вознаградит...
А здесь, под елкою угрюмой,
Лишь вьюга жалобно гудит.

2

Давно ль вдали от «злого света»
Стишки строчили два поэта? —
У них душа была согрета
Не охмеляющим вином,
А верой в «лучшие стремленья».
И оба с чувством умиленья
Они мечтали об одном:
Что молодые поколенья
Не будут спать могильным сном...
Умолкли вещие напевы.
...Поэты-птички! Где вы? Где вы?
Зачем вы пели не для «девы»
Весной — в краю своем родном?
Куда умчались вы, рыдая?
...Ответа нет... Ямщик летит,
И колокольчик, «дар Валдая»,
О ком-то жалобно гудит...

<1887>

ДО ЗЕЛЕНОГО ЗМИЯ И БЕЛЫХ СЛОНОВ

(Ярмарочные монологи)

Господи! господи! Что это мне
Всё нехорошее снится во сне?
Кажется, я человек не безбожный?
Кажется, я не замечен ни в чем?
Я — коммерсант до того осторожный,
Что перестал торговать кумачом,
Ибо кумач есть материя *красная*,
Стало быть, очень и очень опасная.
...К черту кумач!
Баба, не плачь!
Дай-ка мне водочки,
Дай мне селедочки!..
Выпить до чертиков смею!
Если же явится врач —
В шею!

Слушай, жена! Хоть кричи — не кричи,
Все на подбор либералы врачи.
Я охмелел... но я вижу и слышу,
Бывши всегда на крамольников яр,
Что пожелал нашу новую крышу
Выкрасить *красною* краской маляр...
Цыц! Не шалить! Под моею указкою
Крышу мне вымазать дикою краскою!
...Вот мой совет:
Дикость — не вред...
Дайте же водочки,
Дайте селедочки...
Выпить до чертиков смею!
А для врача: «Дома нет!» —
В шею!

...Весь я дрожу. На душе кипяток, —
Баба напялила *красный* платок...
«Марья, пойми: это цвет либеральный... —
Предупреждаю хозяйку любя. —
Слышу в ушах я всё звон погребальный,
Скоро вдовою оставлю тебя...

Впредь же платки от хозяина честного
Ты получай только цвета *небесного*».
...Грозен я сам:
Всех — по усам!
Дайте мне водочки,
Дайте селедочки!
Выпить до чертиков смею...
Лекарь приедет: ко псам!
В шею!

...Я взбушевался. В башке — ураган:
Книгу читает мой сын-мальчуган —
Книгу с проклятою *красной* обложкой.
Дело не чисто. Дурачится бес:
Книга вдруг сделалась «рыжею кошкой»...
Брось ее в печку скорее, балбес!
Батюшки-матушки! светики-братики!
Где мне спастись от бесовской «Грамматики»?
Книжку — в огонь!
Петька, не тронь!
Дайте мне водочки,
Дайте селедочки!
Выпить при чертиках смею...
Кажется, лекаря конь?!.
В шею!

...С водочки белой расстроились мы:
Красного цвета боюсь, как сумы...
Чертики пляшут — и весел вельми́ я...
Сели мне на нос... Послушай, жена!
Пусть я допьюсь до *зеленого змия*
Или до *белого* зверя — *слона*...
Белый, зеленый — цвета неопасные,
Стало быть, очень и очень прекрасные...
Марья! Ура!
Выпить пора!
Дай еще водочки,
Дай мне селедочки!
Я за слона выпить смею...
Лекаря гнать со двора —
В шею!

<1888>

ДОРОГИЕ МЕЧТЫ, ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
(Сценка)

Мрачный поэт

(Нахмуря брови, говорит могильным голосом)

Каждый день мы твердим золотые слова,
Что без праведных дел наша вера мертва.
Каждый день стынут в нас молодые сердца.
Мы живем... Как живем? Это — жизнь мертвеца.
Каждый день мы даем благодатный обет
Не тиранить людей для кровавых побед.
Каждый день сознаем, что «русак-человек»
Не украсил собой *девятнадцатый век*.
Нет поэтов у нас — молодых соловьев, —
И философ решил (господин Соловьев),
Что в поэзии Русь «абсолютно» слаба,
Что искусство в ней — нуль, а наука — раба...

Публика

(в недоумении)

...Может быть, в сих словах капля истины есть?

Веселый поэт

(с хохотом)

Нет-с! Извольте *обратно* все рифмы прочесть.
...Не дерзаю гласить вам про «славу», про «честь»,
Но они на Руси и водились, и есть.
Я могу клятву дать, но не клятву раба,
Что в искусстве Россия «зело» не слаба.
Что бы там не ворчал *велемудр* Соловьев,
А немало у нас молодых соловьев.
Если голос их слаб, виноват в этом «век»,
А не наш брат — пиит, «простота-человек».
«Простота» будет жить для бескровных побед.
Он свершит для славян свой заветный обет:
Звуком песен живых воскресит мертвеца, —
И забьются, в ответ, наших братьев сердца...
Нет, родная страна, ты не будешь мертва!

Публика

(в грустном раздумии)

...Дорогие мечты! Золотые слова!

<1889>

КОСМОПОЛИТКА

С насмешкой шаловливою она меня спросила:
«Ты страстно любишь родину, но в ней какая сила?
Зачем ты в «Пошехонии» замкнулся, как улитка?
Ищи «всемирной родины», как я, космополитка.
Клянусь, что ibi patria (с условьем), ubi bene,[1] —
Что в жалкой «Пошехонии» тоскливей жить, чем в Вене!
Хочу обнять живых людей, а не мильоны трупов...
Всего ужасней для меня почтенный город Глупов.
Найду святую родину на «выставке» — в Париже,
А ты... блуждайся в трех соснах: они для сердца ближе!
Старушка Пошехония мрачна и бестолкова...
Читай о ней правдивые сказанья Салтыкова!»
— Читал я их внимательно с мучительной любовью, —
И сердце обливалося не раз горячей кровью...
Но знаешь ли что, милая? Поэт-сатирик губит
Не всё давно минувшее. Он многое в нем любит.
Он в мертвой «Пошехонии» нашел живую душу...
...Я верю в «Пошехонию». Я за нее не трушу.
...Сатирик наш казнит порок законно и сурово,
Но честно шлет привет всему, что живо и здорово...
Отсюда страшно далеко до светлой Палестины,
Но в «Пошехонской старине» есть чудные картины!
Космополитка! Верь — не верь, но поклянуся солнцем,
Что и оно взойдет весной над бедным пошехонцем.
Тебе не нравится у нас? Останься за порогом!
Я помолюсь и без тебя, в лесу моем убогом,
О том, чтоб солнышко взошло, разрушив льда оковы,
Чтоб не погибла та страна, где живы Салтыковы...
...Они воспели, без хвалы, край пасмурный, но милый...
О них молиться буду я и здесь, и за могилой!

<1889>

ПАМЯТИ САТИРИКА М. Е. САЛТЫКОВА

1

Вы, белые, сверкающие ночи,
Потухните! Пою не о весне.
Не хочется воспеть мне «звезды», «очи», —

[1] Отечество там, где хорошо (лат.) — *Ред.*

Петь не могу о «зорьке» и «луне»:
Пусть запоют другие, кто охочи,
А я пою тоскливо, в полусне,
О том, кто нас будил сатирой чудно...
...Зачем он спит навеки-непробудно?

2

Торжественно он мог бы загреметь,
Как колокол, спасительно звенящий,
Чтоб Русь могла добро уразуметь,
Чтобы узрел слепец, во тьме ходящий,
Где свет и мрак? Где золото и медь?
Где здравствуют, и где лежит болящий?
...Болящих тьма. Но умер Знахарь. Мы
Скитаемся среди весенней тьмы.

3

Мы — нищие душою. Мы жестоки.
Мы падаем пред золотым тельцом.
У нас в душе укрылися пороки,
Казненные великим мертвецом.
Он был пророк... Придут ли вновь пророки
С тоскующим, карающим лицом, —
Не ведаю... Но, сердцем не торгуя,
Почтить слезой сатирика могу я.

1889

ПЕСНЯ О КАПУСТЕ

Вейся ты, вейся, капуста,
Вейся ты, вейся, родная!
Как мне, капустке, не виться,
Как мне, вилой, не ломиться?

Народная песня

Читатель-друг! Я знаю: наизусть ты
Цитируешь поэтов... Не взыщи,
Что в октябре, «под веяньем капусты»,
Решаюсь я воспеть родные щи.

Мои стишки ужасно будут пусты,
Ни дать ни взять — российские хлыщи.

О чем они тоскуют в наше время,
Как барышни, мечтая о луне?
...Ох, крошечки! Ох, молодое племя!
Вы о земле вздохните в полусне.
...Нет, не от вас взойдет живое семя,
И осенью петь глупо... о весне!

Желанная! Ты к нам придешь ли вскоре?
...Я близорук, но, право, не ослеп,
И вижу я земное наше горе,
Которому не помогает Феб.
Я от земли не устремлюсь к Авроре,
Не знающей, как страшно дорог хлеб.

В неурожай тебя спасет капуста,
Без хлебушка страдающий народ!
...Давно пора поэта-златоуста
Сослать к тебе — в капустный огород.
Там в животе поэта будет пусто —
И жадно он откроет «вещий рот».

...Прочтя сие, жрец Феба горько ахнет.
— Некстати «рот»! Есть «милые уста»;
Капустною поэзией здесь пахнет! —
...И воспоет он райские места,
А я вздохну о том, кто не зачахнет
При помощи... капустного листа.

<1889>

ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

...В ноябре мы увидим миллионы падающих звезд... Просим сообщить нам подробности...

(Газетное известие)

Ноябрь ужасен и несносен.
Звезд не видать. Царит хандра.
Среди трех пошехонских сосен
Блуждает наша детвора.

Учиться трудно ей без хлеба...
Пошлют ли «звезды» медный грош? —
    Но добрый русский мир хорош,
    И много звездочек у неба.

Я — не звезда, давно измучен
Земной житейскою нуждой...
(Да будет всяк благополучен
Со «Станиславскою звездой»!)
Я — человек пугливый, странный,
Меня от звезд кидает в дрожь...
    (Да будет честен и хорош,
    Кто награжден звездистой «Анной»!)

Не астроном я... Страшно прост,
На небо я не брошу взоров...
И, не хватая с неба звезд,
Дождусь ли я — но метеоров?..
Пусть наши звезды — молодежь,
Все наши дети дорогие —
    Увидят звездочки другие
    И молвят: «Русский мир хорош»!

<1889>

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ

Сегодня много лет минуло нам... О Муза!
Состарились с тобой мы оба... Грустно мне,
Но я еще бодрюсь и не хочу союза
С тобою разрушать в душевной глубине.

Не обольщали нас небесные светила,
Не увлекались мы в мечтах: «Туда, туда!»
Со мной ты злилася, смеялась и грустила,
Когда царил Порок и плакала Нужда.

Как юноша-поэт, «восторгами объятый»,
Я к небу не летал (царит на небе мгла).
Родимая земля с печальной русской хатой
И с грустной песенкой к себе меня влекла.

Ты не явилась мне в венке благоуханном:
Он не к лицу тебе, союзница, поверь.
Но — грешный человек — в мечтании туманном
Я верил, что для всех есть «милосердья дверь».

Как сказочный Иван, «по щучьему веленью»,
Я с трепетом молил смиренно вот о чем:
«Пусть Солнце-батюшко младому поколенью
Даст с неба весточку живительным лучом.

Пусть юноша-поэт забудется, срывая
«С одежды облачной цветы и янтари».
Не так поется мне... Пою, не унывая:
«Ох, Солнце-батюшко! Весну нам подари!

Пусть скроется навек земное «горе-лихо»...
Тогда, в желанный час, мы с Музою вдвоем,
Забытые людьми, уснем спокойно, тихо
И песню сладкую в могиле допоем».

1889

ПЕСНЯ О ПОЛУШУБКЕ

Сплю, но сердце мое чуткое не спит,
За дверями голос милого звучит:
«Отвори, моя невеста, отвори:
Догорело пламя алое зари...»

Л. А. Мей

Сплю, но сердце пошехонское не спит.
Пошехонская душа во мне скорбит.
Страстно хочется душе моей больной
После масленой умчаться в мир иной!
Наступают дни печальные,
Дни молитвы, дни скорбей...
Пошехонские квартальные
Стали тише голубей.
Всё воркуют над голубками,
Согрешив... пред полушубками.

В полушубке я не смею ворковать...
Завалившись в полушубке на кровать,

Сплю и вижу обольстительные сны:
В Пошехонье нет ни елки, ни сосны.
Тополя пирамидальные
К небу рвутся — без границ.
Пошехонские квартальные
Не кричат: «Смирнее! цыц!»
Всюду пахнет рощей вольною,
А не шубою нагольною.

<1890>

ОТСТАВНОЙ УЧИТЕЛЬ

(Картинка из школьной земской жизни)

Гласный Желтобрюхов. А мое мнение таково-с: все эвти земские школы, значит, теперича, отжили свой век-с. Предел им должно положить. Всех земских учителей — в отставку-с!

Гласный Вотьмеходященский. Умные речи приятно слышать.

(Из «Журналов Пустоголовского земского собрания»)

Отставкой убитый, учитель больной
О школе закрытой тоскует с женой:
«Так земство решило. Я земством гоним.
Оно согрешило, но чист я пред ним...
Как раб, цепями скованный, в родной моей глуши,
Обиженный, взволнованный, я плачу от души.
И горько мне, и сладостно о земстве вспоминать, —
Его готов я радостно любить и... проклинать.
...Мой старый друг единственный! Напомнила ты мне
Всё скрытое в таинственной душевной глубине.

Мы оба когда-то шли бодро вперед,
И честно, и свято любили народ.
Кипела в нас злоба... Господь нас прости!
Роптали мы оба на страдном пути.
Устали наши ноженьки. Для нас и мужичка
Плелись пути-дороженьки — не дальше кабака.
Манил он ночью странников таинственным огнем;
Для бедных, для изгнанников виднелся флаг на нем.

Толпою рабской, дикою творился буйный пир:
Там силою великою был... откупщик-вампир.

Ты помнишь ли «елку», как флаг, на шесте?
Народ втихомолку к ней шел в темноте,
И хмельную влагу он пил и страдал,
И к подлому «флагу» челом припадал...»
— «Дозволь теперь, Платонушка, окончить твой рассказ!»
— «Извольте, друг-Оленушка! Готовы слушать вас».
— «Исчез кабак-страшилище. Воскресло, наконец,
Вдруг земское училище, — и был в нем молодец...
Зовут его Платонушкой, Платоном... Тезка твой...
Молчи и стой пред женушкой, как лист перед травой!

...И в школьное дело влюбился Платон,
И честно, и смело витийствовал он:
«Для счастья народа, по воле царя,
Блестело всем знанье, как будто заря!»
Слюбился он с сироткою. Как храбрый делибаш,
Шепнул с улыбкой кроткою: «Марш в церковь и — шабаш».
...Женились и решилися делить свой школьный труд.
Вдвоем они трудилися — вдвоем они умрут.
Вдвоем они отведали всю «прелесть бытия», —
Но часто не обедали... ни ты, Платон, ни я...»

«Я понял... Довольно! Елена, молчи!
Мне сладко и больно в тоскливой ночи!
Мы вместе спать ляжем под бедным крестом,
И земство развяжем, клянуся Христом!
Сбирайся в путь, Оленушка! Да плакать-то к чему ж?
Гляди, старушка-женушка, как твой бодрится муж...
...Прощай, мое училище, живи, не умирай!
Ты — ад мой и чистилище, ты — чистый, светлый рай,
Живи под новым знаменем! Приходской школой будь,
Сверкай наукой-пламенем!.. Вперед! Счастливый путь!»

И капают слезы, и слышится стон...
Тоскует с Еленой учитель Платон.
И думают оба, молитвы творя:
«Увидим... из гроба, как блещет заря!»

<1891>

ИМЯ-РЕК, ИЛИ NEMO

Сын. Папенька, что значит выражение: «имя-рек»?

Отец. Это значит... Очень просто: чье-нибудь имя, преимущественно плебейское: Сидор, Карп, Иван, Матрена, Дарья, ну и так далее.

Сын. А как перевести правильнее порусски слово Nemo?

Отец. Гм!!! Чертовски латынь ослабили... Вашего брата за подобный вопрос сечь бы следовало. А я, как любящий родитель, только уши тебе надеру... Что, больно, негодяй? Не визжи! Помни, болван, помни, что Nemo значит «Некто», то есть такой «Некто», от которого зависит и казнить и миловать... Пошел в угол, негодяй!

(Из будущей комедии «Мы ваши и вы наши»)

Ты знаешь ли край, где в июле с косой
Идет «Имя-рек» по траве изумрудной?
Идет он, увлажненный свежей росой,
На страдное поле, на подвиг свой трудный,
В лаптишках худых или вовсе босой.
...Ему ли пленяться природою чудной?
Ведь он не испанец, не пламенный грек.
Он (знаешь ли, Nemo?) мужик-человек.

Ты знаешь ли край, где осенней порой
В лачуге сверкает и гаснет лучина?
От смрада в лачуге очей не открой...
Какая тоска в ней, какая кручина!
...О, кто бы ты ни был, мой Nemo-герой,
Желаю тебе и богатства и чина,
Желаю условно: чтоб «он» (Имя-рек)
Тобой был обласкан как «брат-человек».

Ты знаешь ли край, где тиранит зима,
Где солнца не видно, отрадного солнца,
Где царствует голод, где сходят с ума,
Где совесть и честность дешевле червонца?
Ты хочешь ли, Nemo, чтоб скрылася тьма,
Чтоб солнечный луч засверкал из оконца?

Ужель на погост — на последний ночлег —
С тобой без рассвета пойдет... Имя-рек?

Ты знаешь ли край, где весна хороша,
Где веет черемуха запахом свежим,
Где нужно от сна разбудить голыша,
Которого «мы» по-родительски нежим?
Ты знаешь ли, Nemo? Жива в «нем» душа...
Ужели «мы» душу измучим, зарежем?..
...По-братски и ныне, и присно, вовек
Живи, добрый Nemo, и ты — Имя-рек!

<1891>

ТРИ ПОЭТА

(Лирическая сцена)

Гений человечества

Ты куда убегаешь, страдалец?

Первый поэт

Туда —
К древним храмам бездушным, холодным!
Свежесть, юность меня не пленит никогда.
Я стремлюсь к мертвецам благородным.
К мавзолеям спешу; в них герои лежат
Отдаленной великой эпохи.
Здесь мне страшно! Боюсь, здесь меня раздражат
Жалкой черни рыданья и вздохи.

Гений человечества

Где живешь ты, безумец?

Первый поэт

В минувшем живу,
Только в нем я вкушаю отраду...
Отойди от меня! Не во сне — наяву
Я желаю увидеть Элладу.
Перед ней, с умилением руки сложив,
Поклонюсь величавому праху...

Пусть мне голову срубят с размаху,
Но в Элладе душою останусь я жив!
На живых мертвецов негодуя,
Вижу в них слабосильных борцов;
Но великие мысли найду я
У *бессмертных* моих *мертвецов*.

Гений человечества

Ты куда держишь путь?

Второй поэт

По тропинке лесной,
Покидая бесплодные степи,
Я стремлюсь к берегам с вечно юной весной, —
Не звучат там презренные цепи:
Там, вдали от рабов, я не буду склонять
Низко голову — сильным в угоду.
Только там я надеюсь с любовью обнять
Вечно чистую *деву-природу*.
Бури бешеный стон и дыханье весны,
Злое горе и радость — всё вместе
Я увижу в *природе-невесте*,
И пригрезятся мне благодатные сны,
В яркий солнечный луч и в туман облаков
Я охотно готов погрузиться.
Лишь *природа* не носит тяжелых оков,
Я желаю с *природою* слиться,
Перед ней трепетать...

Гений человечества

А молиться
Можешь ты за страдальцев — людей бедняков?

Второй поэт

Не могу! О народе я тихо пою, —
И зачем громко петь о народе,
Если сердце мое, если душу мою
Посвятил я *царице-природе*?
За народ иногда я в потемках грущу:
Погибает он, слабый и дикий;
Но не в нем мысли светлые жадно ищу,
А в *природе* бессмертной, великой.

Гений человечества

Ты куда?

Третий поэт

До свиданья! Нет, сердце мое
Не похоже, коллеги, на ваше.
Это сердце отыщет другое жилье —
В шумном городе. Лучше и краше.
Там живется среди вековечной борьбы
Низкой хижины с гордым чертогом.
Там... клянусь и природой, и богом,
Существуют святые герои-рабы.
...Почему на меня вы глядите с тоской?
Иль во мне узнаете злодея?
Не ужасен мне шум, вечный шум городской:
В нем есть также *живая идея.*
Пусть услышу в столицах проклятья и стон,
Пусть увижу там бездну разврата,
Но в толпе я найду друга-брата,
Мудреца, как ваш древний великий Платон.
Воспою ли ручьи и долины?
Поклонюсь ли я вам, исполины
Старой спящей Эллады, в полночном часу?
Я в вертепах найду не *природу-красу,*
Не обломки костей... Нет, я женщин спасу:
И в вертепах живут *Магдалины.*
Утешать погибающих, слабых, больных,
В павшем брате не видеть злодея —
Вот в чем истина, вот в чем идея
Для смиренных людей, для поэтов земных!

Гений человечества

Убежали все трое, исчезли вдали...
Но из них полюблю я кого же?
Ты, мой третий поэт, друг печальной Земли,
Для меня всех милей и дороже!
Ты не враг величавых старинных гробниц,
Но пред ними безумно не падаешь ниц;
От природы не ждешь ты привета...
Пусть по-братски, отрадно звучит для темниц
Утешающий голос поэта!..

25 января 1891

ДОБРЯК, ДУША-ЧЕЛОВЕК

Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла...

Некрасов

Он был в душе прекрасен, если ночь,
Ночь темную, назвать «прекрасной» можно.
(Он на нее похож был!)... Даже дочь-
Красавицу преследовал безбожно.
Нашла она в стенах монастыря
Убежище от батюшкиной сети
И в келии, в своей сиротской клети,
Прекрасная, как летняя заря,
Потухла вдруг.
...Поминки сотворя,
Отец стонал: «О дети, наши дети!»

Он был добряк: менял на пятачки
По праздникам для нищих рублик медный.
Толпа пред ним рвала себя в клочки,
А он вздыхал: «Как дик народ наш бедный!»
И жарко он молился... (Кстати, вы
Считаете ль молитвою живою
И чистою, младенчески-простою —
Не для себя, а для людской молвы —
Кивание злодейской головы
Перед Христом и девой пресвятою?)

Добряк в душе, оратор неплохой,
Он возглашал чувствительные тосты
За жирною, янтарною ухой:
«Брат мужичок, как высоко возрос ты!
Пью за тебя, кормилец и герой!
Ты сохранил в душе живое семя,
Без ропота несешь ты жизни бремя!»
Но про себя добряк твердил порой:
«Ах, черт возьми! Прогнал бы я сквозь строй
С охотою всё хамовское племя...»

Он у судьбы аллегри вынул номер,
И спит в гробу. Звонят колокола.
Толпа ревет:
«Наш благодетель помер,

Свершив свои великие дела.
Спи, крепко спи, герой наш благородный,
И на суде последнем не робей:
Ты чист и свят, невинней голубей!»
...И к небесам стремится глас народный:
«Он бедняков любил и в год голодный
Пожертвовал... два пуда отрубей!»

23 июня 1891

ЖИВОЙ МЕРТВЕЦ

Живой мертвец, я посетил
Литературное кладбище.
Там дышится отрадней, чище
Среди угаснувших светил.
Певцы-покойнички! Вы спите,
Счастливые, в могильной мгле...
Очнитесь, братцы, поглядите:
Живым легко ли на земле?
При лютом дедушке Борее
Нет больше силушки страдать!
Весну пришлите нам скорее,
А с ней — и свет, и благодать.
Как ведьмы, зимние метели
Нам песни жалобно поют...
Зачем, певцы, вы улетели
И под землей нашли приют?
Без вас мы слабы, жалки, нищи;
В нас помрачилися умы,
И жадно, средь житейской тьмы,
Оставшись без телесной пищи,
Духовной пищи ищем мы.

<1892>

ПРЕД ДУШЕВНЫМ КАМЕЛЬКОМ

Ни вперед, ни вспять не еду.
Я сижу один, тайком,
И веду с собой беседу
Пред душевным камельком.



А. Н. ТРЕФОЛЕВЪ (УЕДИНЕННЫЙ ПОШЕХОНЕЦЪ).

одинъ изъ заправскихъ поэтовъ.

Рис. М. М. Далькевича.

«Здравствуй, милый!» — «Здравствуй,
старче!»
— «Как живется?» — «Плохо, брат...»
— «Огонек в душе поярче
Засвети! Я буду рад...»

— «Зажигал его я, друже,
Но... сгорели все дрова, —
И во тьме, при ведьме-стуже,
Охладела голова...»

— «А душа не охладела?»
— «Нет, по-старому она
Просит воли без предела,
И во тьме ей — не до сна!»

— «Ты похож стал на младенца,
Мой двойник! Хоть на авось,
Поскорей два-три поленца
В камелек души подбрось!»

— «Так и быть, двойник! Подброшу,
Запою о том, о сем...
Нашу песню, словно ношу,
До рассвета донесем!»

<1892>

КУМУШКА-ГОЛУБУШКА

Ох ты, Муза-кумушка! В сердце бродит думушка:
В светлый праздник, любя,
Обнимать ли тебя?
Все с кумой целуются, все с кумой милуются;
Все поэты сподряд
Ей подарки творят.

«Как яичко красное, *нечто* чудно-ясное
Предлагаем тебе —
Нашей верной рабе!
Мы с кумою-любушкой, с пленницей-голубушкой,
Задушевно вдвоем
Засвистим соловьем!»

Ох, не верь им, кумушка! В них — пустая думушка,
Ты, бедняжка, слаба,
Но, клянусь, не раба!
...Чем дарить мне любушку, кумушку-голубушку!..
В светлый праздник Христов
Я кумиться готов.

Но *сонета* ясного, как яичка красного,
Чуя горе-беду,
Я в душе не найду.
Украду для кумушки, для шалуньи думушки,
Словно вор-лиходей,
Честный смех у людей.

Воровство невинное, доброе, старинное:
Не ужасный разбой —
Хохотать... над собой.
Затаивши думушку, поздравляю кумушку:
В светлый день и в ночи
Ты сквозь слез хохочи!

Трели соловьиные, песни лебединые,
Благодатные сны —
Не для нас созданы...
...Ох ты, Муза-кумушка! В сердце бродит думушка:
Мой подарок ценя,
Ты поймешь ли меня?

<1892>

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛОЖЬ

Верить поэтам весной невозможно:
Лгут обольстительно, страшно, безбожно...
Значит, удел их таков!
Сколько обмана в их пламенном взоре!
Как *сочиняют* они! (В «Ревизоре»
Так сочинял Хлестаков).

С Музы весенней без всяких приличий
Взятки берут. В них воскрес Городничий.
Лиру настроив под тон,

Нежно они, средь холодной равнины,
Часто справляют свои именины,
Словно Онуфрий-Антон.

Все, господа, мы в душе — Хлестаковы!
Носим весной золотые оковы —
Лирики светлый сосуд...
Пламя в сосуде священном угасло,
И за святое, погибшее масло
Всех отдадут нас... под суд.

Лирики-братья! Напрасно свой дар мы
Музе приносим: нас схватят жандармы,
Критики наши... Беда!
Взяточки с Музы представив в улику,
Скажут они: «А подать Землянику!
Где Ляпкин-Тяпкин? Сюда!»

<1892>

СТРАДНОЕ ВЕЧЕ

— Ой, стоги, стоги! Во поле широком
Вас не перечесть, не окинуть оком!
— Добрый человек! Были мы цветами,
Подкосили нас острыми косами.
От лихих врагов нет нам обороны,
На главах у нас — черные вороны;
На главах у нас, затмевая звезды,
Стая галок вьет поганые гнезды!

Гр. А. К. Толстой

Цветы столпилися на «вече», —
И шепчутся: «Пришли враги...
Ты, бедный русский человече,
Сооруди из нас стоги!
Мы пред тобой, косцом суровым,
Смиренно просим небосклон;
Чтоб *Колупаев* с *Деруновым*
Не увлекали нас в полон.
От них не видим обороны;
Они — любовны... на словах;
Но чудится: совьют вороны
Гнезда на наших головах.

Мы все погибнем в грозной сече,
Нас разбросают вкривь и вкось...»
...И смолкнуло *цветное вече*, —
Людское вече началось.

«Пришла томительная страда
И для тебя, мужик босой!..
Земля измученная рада
Проститься с летнею красой.
Ее ковер — цветной, душистый —
Вознаградит народ за труд, —
И под косой, с молитвой чистой,
Цветы невинные умрут...»

На вече так, с тоской великой,
Рек *Колупаев*. Вновь увлек
Его на ниве бедной, дикой
Красавец — синий василек.
...Раздался голос *Дерунова:*
«И ландыш беленький хорош!
Народный труд — всему основа;
Но ландыш в сене стоит грош.
Я оценяю труд высокий,
Я от цветов в восторге, но...
За ландыш, смешанный с осокой,
Копейку дать — смешно, грешно!»

Так всероссийские бандиты
Шумят-гудят со всех сторон...
О небо, небо! Пощади ты
Цветы — от галок и ворон.

<1892>

ГРЯДУЩИЙ СКОМОРОХ

Ей-ей, умру! Ей-ей, умру! Ей-ей, умру от смеха.

Беранже — в переводе Курочкина

Ей-ей! Смех — добрый чародей:
Он не звучит подобно эху
Для всех страдающих людей —
Смех создан небом на потеху...

Скажите: хоть один злодей
Спокойно умер, и со смеху?
Одна беда, один вопрос:
Над чем смеяться может росс?

Смиренно шествуя за веком
(Хоть *век* ему — не по плечу),
Росс думает: «За человеком
Грядущим смело полечу...
Будь он французом, негром, греком, —
Но если он зажжет свечу,
Которая сверкнет над миром, —
Он будет мне святым кумиром!

Я в пояс поклонюсь ему,
Со смехом возглашу на вече:
«Ты светом прогоняешь тьму, —
Вперед, грядущий человече!
Ты в школу превратил тюрьму, —
Ты не погиб в кровавой сече.
Спокойно, стройно, без помех
Звучит твой стих, гремит твой смех!»

Но страшно мне... Над бедной клеткой,
Где я сижу, смеясь тайком, —
Воскликнет *он* с насмешкой едкой:
«Несчастный! Ты мне незнаком.
Ты, вместе с Музою-наседкой,
Пел добродушно... петушком.
Мой смех — не твой! Он над долиной
Звучит с небес, как крик орлиный».

<1892>

ПЕРЛ СОЗДАНИЯ

Смех сквозь слезы — это верх страдания!
Пережить бы только мрачный век...
Может быть, как лучший *перл создания,*
Заблестит *работник-человек?*
Но теперь ему блистать нет времени,
Тяжело идти вперед, вперед;

Бродит он, без роду и без племени,
И земельку пашет и орет.
Он глядит с тоской на землю серую
И, краснея, плачет от стыда;
Но земле он верен...
Сам я верую,
Что Земля — светило, господа!

Над Землей когда-нибудь да сжалится
Батько-Солнце, светлый чародей,
И Земля пред Солнышком похвалится,
Приютив работников-людей.
На Земле не будет пушек грохота,
Навсегда умолкнет звук мечей,
И народ, сквозь слезы, после хохота,
Позабудет предков-палачей.
Мир-Любовь украсится победою,
И окрепнет царствие Труда...
Это будет, будет... Сердцем ведаю,
Но когда? — Не знаю, господа!

<1892>

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ

Недопетая песня допета,
Будет лучше в грядущие дни,
А теперь... не казните поэта:
Все мы грешнице Музе сродни.

Наша грешница Муза сквозь слезы
Напевает со смехом: «Молчи!
Стыдно петь, как румяные розы
Соловьев полюбили в ночи».

. . . .

Верю слепо: добрей и чудесней
Будет мир в наступающий век.
С недопетой страдальческой песней
Не погибнет поэт-человек.

Всё, что живо, светло, благородно,
Он тогда воспоет от души,
Покарает злодейство свободно,
Наяву, а не в темной глуши.

Ждите, братья, святого рассвета,
А теперь... погасите огни.
Недопетая песня поэта
Допоется в грядущие дни.

15 января 1892

ПЛЯСКА ВЕСНЫ

«Сладко весною живется поэту:
Видит он мир в лучезарной красе...»
...Старую, глупую песенку эту
Тысячу раз напевали мы все.

Я — не поэт, но с любовью глубокой
Музе-шалунье, как эхо, служу,
И в деревеньке, и в роще широкой, —
Всюду в природе ее нахожу.

Злится ли ведьма — проклятая вьюга,
Плачет ли дождик в осенние дни,
Веет ли ветер спасительный с юга, —
Эти поэты, клянусь, мне сродни!

Каждый по-своему, кто как умеет,
Так и поет... Запретить им нельзя.
Только Весна петь зимою не смеет,
В думках и грезах по снегу скользя.

Жаль мне ее — ненаглядную крошку!
Боязно мне: упадет вдруг ничком?
...Встань, чародейка, и ножка об ножку
Живо, игриво ударь каблучком.

Мир будет лучше, нарядней, чудесней,
Если душа в нем весной не умрет,
Если с разгульной «Камаринской песней»,
Вместе с весной, он помчится вперед:

Гой ты, Весна-Плясовица! Кто пашет,
С тем и гуляй, веселя мужика!
Он под весенние песни запляшет,
Если сыграешь пред ним трепака.

Гой ты, Весна-Плясовица, воскресни!..
Ждут не дождутся тебя голыши...
Ловко, под звуки «Камаринской песни»,
Вместе с народом, очнись и пляши.

20 января 1892

ПЕСНЯ О ГОСПОЖЕ БОРОДЕ

(Памяти Алексея Федоровича Иванова-Классика)

Под метель воспою без труда
В честь твою, госпожа Борода!..
Жил да был мужичок с ноготок,
А «Бородку» имел с локоток.
Подстригали «Бородку» ему,
За «Бородку» бросали в тюрьму;
Но мужик был себе на уме:
Посидит, как невольник, во тьме, —
И опять молодец, хоть куда,
И опять — до колен борода!

Мужичок поступил в рекрута,
И пропала его «красота», —
И остались ему для красы
Только русые, в кольцах, усы.
Безбородый петровский капрал
Неприятелей бил и карал,
«Супостатов» губил без числа;
У него борода не росла;
Подбривали ее без следа...
Но... воскресла, как жизнь, «Борода».

В шестьдесят, значит, первом году,
«Борода», значит, стала «в ходу»...
Добрый царь не чуждался «Бород»,
Возлюбил бородатый народ.
А народ, вместе с добрым царем,

Ликовал: «За тебя все умрем!..
И послужит тебе, без оков,
Бородач — до скончанья веков!
От тебя ждем святого суда...».
...Получила и «суд» «Борода».

И мужик, словно царь Берендей,
Стал похож на свободных людей, —
И за книгу, тряхнув бородой,
Посадил свой народ молодой,
И в науке ему повезло:
Уничтожилось темное зло...
«На ученье мой парень горазд;
Из науки он счастье создаст.
Без науки мы — злая орда», —
Так смекала тайком «Борода».

Ходит слух, что теперь-де она
И глупа, и слаба, и больна.
Ходит слух, что, в потемках дрожа,
Смотрит вспять «Борода»-госпожа.
...Нет, не верьте, не верьте! Опять
«Борода» не подвинется вспять,
«Борода», не впадая в тоску,
Подберет волосок к волоску...

<1893>

ГУСЛЯР

Аль у сокола
Крылья связаны,
Аль пути ему
Все заказаны?

Кольцов

Гой вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!

Лермонтов

Жил гусляр во дни минувшие,
Правду-матку проповедовал;
Он будил умы уснувшие,
По кривым путям не следовал,

Пел гусляр: «Веди нас, боженька!
Невтерпеж тропинка узкая...
Гой ты, славная дороженька!
Гой еси ты, песня русская!

Не в тебе ли светит зорюшка
Для народа исполинского?
Долетай до Бела морюшка,
Вплоть до морюшка Хвалынского.

Не кружись вокруг да около!
У тебя ли крылья связаны?
Для тебя ли, ясна сокола,
К небесам пути заказаны?»

Околдован словно чарами,
Пел гусляр... В нем сердце билося...
А теперь, на грех, с гуслярами
Злое горюшко случилося.

Ни пути нет, ни дороженьки...
Нет орлов; не видно сокола.
Устают больные ноженьки,
Бродят всё вокруг да около.

Гой ты, песенка-кручинушка,
Песня бедная, болящая,
Не угасни, как лучинушка,
Тускло-медленно горящая!

Вместо песни, слышны жалобы
На судьбу — злодейку гневную...
Спеть гуслярам не мешало бы
Песню чудно-задушевную, —

Чтобы сердце в ней не чахнуло,
Не дрожало перед тучею,
Чтобы в песне Русью пахнуло,
Русью свежею, могучею!

<1893>

ПОЧЕМУ ОНИ ПОЮТ О ДЕВАХ И РОЗАХ

«Беда тому, кто любит гнев,
Кто род людской влачит на плаху:
Он не увидит гурий-дев
И не приблизится к аллаху.
Беда тому, кто, словно зверь,
За человеком-братом рыщет:
Пророк пред ним захлопнет дверь,
А балагур его освищет...»

Так пел поэт перед дворцом
Калеки грозного, Тимура.
Хромой, с пылающим лицом,
Сказал: «Словите балагура!»
Певца к Тимуру привели.
«Раскайся в балагурстве глупом,
Прощения проси, моли,
Не то, злой раб, ты будешь трупом!»

— «Могу покаяться, но в чем?
Пророку предан я с любовью.
Я не был лютым палачом
И не запятнан братской кровью.
От сердца песенки пою,
Влагая в них и смех и душу...»
— «А если голову твою
Велю срубить, ты струсишь?» — «Струшу.

Еще б не струсить, хан! И ты
Вздрогнёшь, как человек пропащий,
Увидя камень, с высоты
На голову твою летящий.
Еще б не струсить! Ты и сам
Струхнешь, заметив льва в пустыне...
Отдай мой труп голодным псам,
Да помни то, что пел я ныне!»

Захохотал хромой Тимур:
«Возьми мой перстень изумрудный,
Но только помни, балагур,
Что я не лев в степи безлюдной.

Еще прими совет благой:
Не пой мне песен не по нраву,
Или тебя с кривой ногой
Я догоню... и дам расправу!»

От самаркандского дворца
Певец бежал, главу понуря.
В душе свободного певца
Горел огонь, шумела буря;
Но он преодолел свой гнев
И, помня ханскую угрозу,
Стал воспевать... невинных дев
И обольстительную розу.

20 июня 1893

ВОИН АНИКА

Воин Аника в глухой стороне
Едет на добром и верном коне,
Едет и думает:
                          «Что за беда?
Нету-ста здесь человечья следа,
Даже зверье не бежит на пути,
В поле пустом хоть шаром покати!
Некого здесь за грехи покарать...
Гой! Выходи, супротивная рать!
Низость, Коварство и Барская спесь,
Все на меня ополчайтесь! Я — здесь...
Здесь я, Аника, как воин Христов,
Доблестно биться за Правду готов.
Только она мне люба, дорога,
Только за Правду пойду на врага...
Нужно на этом печальном свету
Мне защитить Бедноту-Наготу.
Мы-ста еще за Народ постоим,
Мы не падем пред оружьем твоим...
Что же не внемлете грозным словам?
Праздновать трусу — не стыдно ли вам!

Отклика нету... Пустынно. Темно.
Солнышко спать улеглося давно.

Звездочки в небе высоком зажглись,
Шепчут Анике: «Аника, молись!»
— «Что мне молиться! О ком и о чем?
Я ли не витязь в забрале с мечом!
Волюшку давши коню и мечу,
Словно былинку, врага растопчу.
Силу мою всяк язык разумей!
Злая ли ведьма, трехглавый ли змей,
Или бессмертный Кащей-лиходей
Будут терзать неповинных людей —
Всех разобью, всяка нечисть умрет,
Если за Правду помчуся вперед!»

Дремлет земля — утомленная твердь...
Вдруг пред Аникой является Смерть;
Кости ее, как доспехи, звучат...
Молвила Смерть: «Ни детей, ни внучат
Ты не увидишь, защитник земли,
Воин Аника! Внемли мне, внемли!
Тысячи тысяч людей истребя,
Русь погублю, подкошу и тебя.
Правды не будет на *вольной* Руси...»
— «Ладно, посмотрим... Сражайся, коси!
С добрым конем пред оружьем твоим
Мы-ста за Правду и Русь постоим.
Если умрем — мертвым нету стыда...
Верный мой конь, понатужься... Айда!»

Конь поскакал. Начинается бой.
Звезды дрожат в высоте голубой.
Звезды, усеяв небесную высь,
С трепетом просят: «Аника, молись!»
— «Что мне молиться! О ком и о чем?
Струшу ль пред Смертью — лихим палачом?
Я — богатырь, слава богу, не стар!»
...Новая сшибка... Смертельный удар.

Смотрят уныло на бой небеса.
Блещет при звездах у Смерти коса.
Молвил Аника, упавши с коня:
«Чудище Смерть, ты сразила меня!

Жаль не себя: ведь не я, так другой
Правду спасет на Руси дорогой.
Биться смертельно за русский народ
С Правдой на Кривду пойдет он вперед!»

1893

МАЙСКИЕ ГОЛУБОЧКИ

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день, и ночь...
Дмитриев

Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж отдают.
Пушкин

В майский день, как голубочек,
Стонет пламенный поэт,
Нектар пьет из свежих почек,
Как покойный старец Фет.
Кто ты, миленький дружочек? Поскорее дай ответ!
Это — Фо (затем шесть точек). Угадайте мой секрет!

Кто трубой не ерихонской
Издает веселый звук?
Л. Н. Т., мой пошехонский
Alter ego, [1] первый друг.
Кто прелестней всех? П<олон>ский. Отгадать не трудно вдруг...
Кто, как пленник вавилонский, дико воет? Это — Ф<руг>.

Все они головки клонят,
Потихоньку слезы льют...
«Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?» [2]
Музу ль заживо хоронят, Мер<ежков>ским отдают?..
Я боюсь: они уронят, разорят ее приют.

---

[1] Второй я (лат.) — *Ред.*
[2] Украдено из Пушкина. *Барбаросса.*

И без них уж не высок он,
От людских мытарств далек;
Нет в нем бывших светлых окон...
Роза, ландыш, василек,
Да «прелестной девы локон» — вот и всё! .. Поэт
поблек...
Хоть бы спать скорей прилег он — человечек-мотылек!

Для чего, великий боже,
Столько «пламенных трудов»,
Столько песен, не дороже,
Чем ермолки у жидов?!!
Все плетут одно и то же — вирши в тысячу пудов!
Заурядно, непригоже, а «кольми всех паче» Л<ьдов>.

В эти светлые денечки
Май лукав, как чародей...
Аполлоновы сыночки!
Кто без чувства, без идей,
Променяет на цветочки погибающих людей, —
Мы тому поставим *точки*... Не поэт он, а злодей!

<1894>

МРАЧНЫЙ ПИИТ И ЕГО „ЛЮБА"

От души полюбил я Петра Ильича,
Он был мрачный пиит, рифмовал сгоряча.
Но в мечтаньях своих, в поэтическом сне
Никогда не писал о «луне» и «весне».
Даже «К ней» не взывал, хоть и ведали все,
Что мечтал Петр Ильич о какой-то «красе»...
. . . .

...Осторожен и тих наш родной городок, —
Всё «пронюхает» он, словно сыщик Видок:
Кто достоин чинов или вечной тюрьмы,
Кто невинен и чист, кто волнует умы? ..
...Вдруг узнали мы все, осторожно, тайком,
Что погиб Петр Ильич со своим «Дневником»...
Он не долго страдал и погиб «в цвете лет»;
Подвернулся ему роковой пистолет:

Прямо в сердце — бац! бац! .. И главою поник
За столом, где писал свой безумный «Дневник»
(Вы Петра Ильича пощадите — зане
Фердинандом VIII он является мне).

«...День — не помню какой?! Хуже он Мартобря...
Перед «любой» моей не сверкает заря.
Я воспел бы зарю, только петь не горазд,
И за песни мои кто мне лепту подаст?
...Ночь, безмолвная ночь... В эту ночь воспою
Мой святой идеал — душку-любу мою...
Где ты, люба моя? Как живется тебе?
Покорилась ли ты злой свекрови-судьбе,
Или хочешь вздохнуть белой грудью вольней? ..
Запряжем-ка скорей тройку борзых коней
И помчимся вперед, и проскачем всю Русь...
Душка-люба моя, не горюй и не трусь!
Вижу, вижу тебя в сердце бедном моем, —
Но зачем ты робка, не поешь соловьем?
Или только для слез песнь твоя создана?
Или выпила ты чарку яду до дна?
Пусть умру я один... Нет, во имя любви,
Умоляю тебя: с песней звонкой живи!»

...Здесь прервался «Дневник». Здесь окончил свой клич
Мой безумец-поэт, добрый друг Петр Ильич.
Для себя под крестом он нашел благодать...
Кто же «люба» его? — Не могу отгадать!

<1894>

С. Д. ДРОЖЖИНУ

Век жестокий, век проклятый
Я едва ль переживу,
Я чудесный век двадцатый
Не увижу наяву.
Вы, мой друг, меня моложе,
Вы — поэт и человек, —
Дай вам счастье, правый боже,
Увидать свободный век!

9 января 1894

В глухом саду

Пусть в вальсе игривом кружится
Гостей беззаботных толпа —
Хочу я в саду освежиться,
Там есть невидимка тропа.
По ней в час последней разлуки
Я тихо и робко иду...
Гремят соловьиные звуки
В глухом саду.

Гремят соловьиные звуки...
В саду мы блуждаем одни.
Пожми горячее мне руки,
Головку стыдливо склони!
Под пологом северной ночи,
Не видя грядущей беды,
Пусть светят мне милые очи
Как две звезды.

Пусть светят мне милые очи,
Пусть громче свистит соловей!
Лицо мне, под сумраком ночи,
Косой шелковистой обвей!
Не видят нас звезды, мигая
Мильонами радужных глаз...
Еще поцелуй, дорогая,
В последний раз!

Еще поцелуй, дорогая,
Под вальс и под трель соловья!
И я, от тебя убегая,
Сокроюсь в чужие края.
Там вспомню приют наш убогий
И светлые наши мечты.
Пойдем мы неровной дорогой —
И я, и ты.

Пойдем мы неровной дорогой
На жизненном нашем пути...
Ты издали с нежной тревогой
Тернистый мой путь освети.

Забудешь ты старое горе,
Но вальс и певца-соловья
Мы оба забудем не вскоре,
Ни ты, ни я.

Мы оба забудем не вскоре,
Как шли невидимкой тропой,
Как в темном саду на просторе
Смеялись над жалкой толпой.
Пора! Наступил час разлуки...
Мне слышится в чудном бреду:
Гремят соловьиные звуки
В глухом саду.

18 февраля 1894

ДВОЙНИК

Иван Ильич (дам имя наудачу
Тому, кто здесь геройствовать начнет),
Иван Ильич, переселясь на дачу,
Стряхнул с души весь канцелярский гнет,
Надел халат и микроскоп взял в руки,
Как юноша, влюбившийся в науки.
«Науки юношей питают»... Верно-с... Да!
Но мой герой давно жил в грешном мире
И «Станислав» (конечно, не звезда)
Был у него под шеей, на мундире.
Иван Ильич, нахмуря важно лоб,
На каплю уксуса смотрел чрез микроскоп.

И он узрел в ней страшные явленья:
Мильоны змей там плавали!!! Оне
Ужасные творили преступленья:
В сей капельке — бездонной глубине
Чудовища, не ведая морали,
Отчаянно друг друга пожирали.
Иван Ильич, для подкрепленья сил,
Велел подать скорей «вдовы Поповой»,
Селедкою голландской закусил,
Еще хватил... И мир узрел не новый,

А старый мир, который он чернил
И обелял при помощи чернил.

О, чудеса! Весь Питер, вся столица
Открылась здесь. Как будто наяву,
Известные, «знакомые всё лица»
Назначили друг другу «рандеву»:
Князья, хлыщи, чиновники, кокотки...
И все они открыли страшно глотки,
Стараяся себе подобных съесть,
И щелкали зубами. Твари эти,
Забывшие святое слово: «честь»,
Расставили везде капканы, сети —
Старалися прославить и вознесть
Свой идеал: бичи, кнуты и плети...
И сам Иван Ильич затрепетал слегка,
Когда узрел в сей капле — *двойника.*

Да, это он — Иван Ильич, тот самый,
Который рад за деньги честь продать,
Пред нищими — и гордый, и упрямый,
Способный в грязь пред сильным упадать...
Да, это он — начальник отделенья
Какого-то Чернильного Правленья!!!
Произошел ужаснейший скандал...
(У Иловайского не встретить тех историй)
Начальника герой мой увидал
В одной из всех мельчайших инфузорий.
«Ах, ваше вашество»... И, наклонивши лоб,
Он вдребезги разбил свой микроскоп...

4 июля 1894

ГРЕШНИЦА

(Великопостные октавы)

В великий пост влетела дева-Муза
К поэтику, бледна, невесела,
И молвила: «Заветного союза
Я, грешница, с тобой не порвала,

К тебе пришла — общипана, кургуза...
Прости меня за темные дела:
    Я с *декадентом* песню сочинила,
    Смотри, смотри: на мне — его чернила!

Запятнана я с ног до головы;
На мне бренчат пустые погремушки.
Приятней их — унылый крик совы
И мелодичней — кваканье лягушки.
Я «декадентшей» сделалась, увы!
И мутный яд пила из грязной кружки, —
    Отравлена, я сбилася с пути.
    Прости меня, и грех мой отпусти!»

И грешница свои ломала руки...
Печален был и Музы духовник.
В душе *его кипели* тоже *муки:*
Он в тайну *декадентства* не проник;
Он слышал в нем одни *немые звуки;*
Он, может быть, как робкий ученик,
    Не разумел учителей великих
    И песен их, таинственных и диких?

«Но, может быть, в них жизнь-то и кипит?
А мы, жрецы отжившего, былого,
Мы — жалкая толпа седых пиит —
Не вымолвим спасительного слова? —
Так думал он, тоской своей убит,
И возгласил: — Духовника другого
    Найди себе! Авось, простит! А я...
    Я грешен сам, бедняжечка моя!

И я творил пред светлым Аполлоном
Преступные и темные дела:
Не восторгался русским небосклоном,
Когда на нем царила злая мгла;
Пел о Земле нерадостно, со стоном,
Когда Земля была невесела...
    Лишь в те часы, когда сверкало солнце,
    Я весело смотрел в мое оконце.

Мы все грешны; но я не запою,
Как «декадент», — безумно, наудачу.

Не оскорблю я грешницу мою
И о грехах минувших не заплачу, —
Постясь в стихах, себе епитимью
Веселую, игривую назначу:
    Как в оны дни, мы, с грешницей вдвоем,
    О «Мужике Камаринском» споем»...

<1896>

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

«Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах и говорит о них обитателям раззолоченных палат: „Ведь это тоже люди, ваши братья!"»

Соч. Белинского, т. X, стр. 345.

Бедность проклятую видят все смолоду:
Словно старуха, шатаясь от голоду,
В рубище ходит она под окошками,
Жадно питается скудными крошками;
В тусклых глазах видно горе жестокое,
Горе, как море, бездонно-глубокое,
    Горе, которому нет и конца.
    Эта старуха мрачней мертвеца.

Не за себя возглашу ей проклятия:
О человеке жалею я, братия!..
Ты надругалась руками костлявыми
Над благородными, честными, правыми...
Сколько тобою мильонов задавлено,
Сколько крестов на могилах поставлено!..
    Ты же сама не умрешь никогда;
    Ты вековечна, старуха Нужда!

«Бедные люди» — создание гения —
Живы и вы!.. Вот уж два поколения
(Ровно полвека) пред вами склоняются...
«Бедные люди» живыми являются,
Шествуют тихо толпою убогою
Прежней печальной тернистой дорогою, —

Как при Белинском страдали они,
Так и теперь — в современные дни!

Девушкин бедный, чиновничек старенький,
Верно, что жив ты; по-прежнему с Варенькой,
С «маточкой» письмами часто меняешься;
Верно, что ты пред начальством склоняешься.
Это начальство — бездушное, важное,
Ценит ли сердце твое непродажное?..
Сердце — живой и святой чародей —
Бьется в груди и у бедных людей.

Сердце!.. Ты платишь проценты жидовские
Жизни суровой: Горшковы, Покровские,
Варенька-«маточка», страшною платою
Вы расквиталися с жизнью проклятою!
Но не убила она, бессердечная,
Душу живую: Любовь вековечная
Вас подкрепила! И слава тому,
Кто осветил нас в кромешную тьму!

(Обращаясь к портрету Ф. М. Достоевского)

Слава тебе за бессмертный твой труд,
В нем ты открыл «человека», —
«Бедные люди» твои не умрут!
Слава отныне до века!..

<Середина 70-х годов>, 1896

БЕЗЫМЕННЫЙ ПЕВЕЦ

Жил когда-то гусляр.
Не для знатных бояр —
Для народа он песни слагал.
Лишь ему одному
В непроглядную тьму
Вольной песней своей помогал.

Пел он звонко: «Не трусь,
Православная Русь!
Перестань голубком ворковать,

Будь могучим орлом
И иди напролом,
Не дремли, повалясь на кровать...

Как не стыдно тебе
В дымной тесной избе
При лучинушке плакать вдовой?
Ты по белым снежкам,
По зеленым лужкам
Пронесись, словно конь боевой!»

И от звуков певца
Разгорались сердца,
Молодела народная грудь, —
И, надежды полна,
Подымалась она
И старалась поглубже вздохнуть...

Где скончался певец,
Много-много сердец
Пробуждавший на старой Руси?
Где он спит под крестом
Сладко, крепко? О том
У могил безыменных спроси...

Современный поэт!
Дай правдивый ответ:
Для кого, для чего ты поешь?
С неизменной тоской,
Для услады людской
Что народу ты в песнях даешь?

Кроткий друг и собрат!
Сладкой песне я рад.
Ты поешь, как лесной соловей.
Одного я боюсь —
Что народную Русь
Не разбудишь ты песней своей.

<1897>

В ПАМЯТЬ О МИЦКЕВИЧЕ

(12 декабря 1798—1898)

Славянский мир велик, не тесен,
Ищите — и найдете в нем
Простор для мирных, братских песен
И для войны с ее конем,
С ее кровавыми мечами,
С ее героями... Мой стих
Не назовет их палачами,
Но и не молится за них.
Грешно молиться, чтобы братья
Врагами были целый век,
Чтоб не склонялся к ним в объятья
Распятый богочеловек!
Победоносной, грозной песней
Я увлекаться не хочу:
Война прилична палачу,
Без палачей же мир — чудесней!..
Я, без упрека и стыда,
Молюсь над нашей светлой Волгой,
Чтоб кончился век злобный, долгий,
Чтоб прекратилася вражда...
Придет к нам сказочный царевич,
Любовью всех нас оживит —
И вместе с Пушкиным Мицкевич
С небес славян благословит!

<1898>

НАБАТ

С секстиною бороться мудрено:
В ней каждый стих — невольник. Он закован,
Как жалкий раб, но я давным-давно
Упрямою секстиной очарован
И петь готов то грустно, то смешно.
Теперь мой стих нестроен и взволнован.

Вы спросите: да чем же он взволнован?..
Эх, молодость! Решить не мудрено.
Ужель тебе не горько, а смешно,

Что «Человек» невольником закован,
Что сумраком ночным он очарован,
Что светлых дней не видит он давно?

Немая ночь царит везде давно,
Но «Человек» в потемках не взволнован
И так своей дремотой очарован,
Что разбудить его нам мудрено.
Не чувствует, бедняк, что он закован
Тяжелым сном. Во сне ему смешно.

Вдруг бьют в набат. Но «Спящему» смешно, —
Ведь он себя застраховал давно
От братских чувств; любовью не закован
И ближнего страданьем не взволнован,
Он не встает, да встать и мудрено,
Не хочется: он негой очарован.

А колокол гудит... Разочарован
Встал «Человек»... и злится он смешно;
Кто разбудил? .. Поведать мудрено...
Не сердце ли набат свой бьет давно?
Да, этот раб — раб честный — весь взволнован, —
Звучит в груди, неволей не закован.

О сердце-раб! Да будет не закован
Твой колокол! Тобой я очарован,
И умилен, и радостно взволнован...
...Не правда ли, в набат я бил смешно?
Плохой звонарь, я устарел давно, —
Ведь разбудить всех спящих мудрено.

1 января 1898

НИВА

С молитвою пахарь стоял у порога
Покинутой хаты: «Война к нам близка,
Одной благодати прошу я у бога,
Чтоб *ниву* мою не топтали войска.
Тогда пропадет мой ленок волокнистый,
На саван не хватит тогда полотна...»

И с верой молился он деве пречистой,
Чтоб ниву его сохранила она.

Но враг наступал... И послышался грохот
Из сотни орудий. Как демонский хохот,
Носился по воздуху рев батарей;
И люди — ужасное стадо зверей —
Безбожно, жестоко терзали друг друга,
И брызгала теплая кровь, как вода,
И ядра взорали всё поле без плуга,
И хаты крестьянской не стало следа...

...Но милости много у вечного бога:
Построилась новая хата-жилье,
И пахарь-хозяин опять у порога
С молитвою смотрит на поле свое.
Себя он не мучит напрасной тоскою,
Что нива упитана кровью людскою —
Чужой ли, родной ли: не всё ли равно?
Ведь кровью и пóтом не пахнет зерно,
Ведь свежая рожь не пошлет нам проклятья,
Не вымолвит явных и тайных угроз?..
И будем мы сыты (О люди! О братья!),
Питаяся хлебом — из крови и слез!

<1899>

КРОВАВЫЙ ПОТОК

(Сонет)

Утихнул ветерок. Молчит глухая ночь.
Спит утомленная дневным трудом природа,
И крепко спят в гробах борцы — вожди народа,
Которые ему не могут уж помочь.

И только от меня сон убегает прочь;
Лишь только я один под кровом небосвода
Бестрепетно молюсь: «Да здравствует свобода —
Недремлющих небес божественная дочь!»

Но всюду тишина. Нет на мольбу ответа.
Уснул под гнетом мир — и спит он... до рассвета,
И кровь струится в нем по капле, как ручей...

О кровь народная! В волнении жестоком
Когда ты закипишь свободно — и потоком
Нахлынешь на своих тиранов-палачей?..

22 сентября 1899

ПЕСНЯ ДЕРВИША

(Из «Гюлистана»)

Дерви́ш сшивал свои заплаты
Перед дворцом и громко пел:
«На что мне ханские палаты?
У хана слишком много дел:
То на войну ходи, купайся
В крови людей, то их суди,
И постоянно опасайся
Кинжала тайного в груди.
Тебя зарежут, как барана,
И, не успеешь ты прочесть
Стихов священных из Корана,
Изволь в крови на небо лезть!
Там напугаешь гурий кровью;
Зато, пленительно дыша,
Они с восторгом и любовью
Обнимут нежно голыша!»

<1900>

НА РОДИНЕ РУССКОГО ТЕАТРА

Хороша наша губерния,
Славен город Кострома.

Некрасов

Собрались в избе ребятушки;
К ним пришел учитель-дед
И сказал им: «Волги-матушки
Лучше не было и нет!

Для народа исполинского
Много благ она дала, —
Русь до морюшка Хвалынского
Синей лентой обвила,

Возвеличила ничтожество,
Утишила суету,
Напоила и убожество,
Накормила нищету.

На реке той молодеческой,
Нам светящей и во тьме,
Родился сынок купеческой —
В славном граде Костроме.

Здесь он вырос сиротинкою...
Бог его благословил:
Он великою новинкою
Ярославль удивил.

Он сарай построил — здание
Не богатое, но в нем
Всё слилось: тоска, рыдание,
Страсть, горящая огнем,

Смех сквозь слезы, смех карающий,
Искры счастья, море слез...
Это всё неумирающий
Федор Волков нам принес!

Полтора прошло столетия,
Как явился чудный смех...
Вот что, братцы, вот что, дети, я
Проповедую для всех.

Не всегда же быть вам детками, —
Возмужаете! Тогда
И посмейтесь... Но над предками
Грех смеяться, господа!

Было, детки, было времечко,
Было... было... и прошло!
А посаженное семечко
Стройным деревом взросло!

Много свежих сил погублено...
Жизнь становится темней;
Но еще свежо, не срублено
Деревцо — до наших дней!

На Руси *великих* много ли?
Не сумею сосчитать:
Грибоедовы и *Гоголи*
И иные, им под стать;

И *Толстые*, и *Островские*
С чудным *Пушкиным* под ряд...
Имена-то всё каковские!
За себя все говорят!

Мы судьбой не обессилены...
Не забудьте, детвора:
Живы *Сухово-Кобылины*, —
Их почтить давно пора!

...Из сарая деревянного
Для искусства вырос храм!
...Много горя окаянного
В жизни встретится и вам;

Но язвительного, колкого
Не гласите с кривизной,
Вспоминайте честно Волкова:
Он создал театр родной!».

<1900>

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

ПЕРВЫЙ ГРОМ

Я весеннее раннее утро люблю:
Чудно всходит оно над землею родной.
И о том только бога усердно молю,
Чтобы гром, первый гром загремел надо мной.

Оживится земля со своими детьми;
Бедный пахарь на ниве вздохнет веселей...
Первый гром, чудный гром, в небесах загреми
И пошли дождь святой для засохших полей!

Как раскинется туча на небе шатром, —
Всколыхнется душа, заволнуется грудь...
Первый гром, чудный гром, благодетельный гром,
Для отцов и детей ты убийцей не будь!

Никого не убей, ничего не спали,
Лишь засохшие нивы дождем ороси,
Благодетелем будь для родимой земли,
Для голодной, холодной, но милой Руси.

БЕССИЛЬНЫЙ

Новой весны не дождаться мне, братья!
Свежих цветов мне не рвать на лугу,
Крепко вам руку не в силах пожать я.
Так я бессилен, что даже распятья
С твердою верой держать не могу.

В душу проникнул убийственный холод;
Смерть приближается, будто к врагу,
И ударяет по сердцу, как молот...
Будь же тот счастлив, что силен и молод!
Я, обессиленный, жить не могу.

Вот — предо мной два пути, две дороги:
Вправо и влево. На каждом шагу
Я, спотыкаясь, дрожу от тревоги.
Вправо идти? .. Да послужат ли ноги?
Влево идти? .. Не хочу, не могу.

Новой весны не дождаться мне, братья!
Свежих цветов мне не рвать на лугу,
Крепко вам руку не в силах пожать я.
Так я бессилен, что даже... проклятья
Завещевать никому не могу.

ПОДСНЕЖНИК

(Рассказ няни)

Герой мой храбр. Он, как мятежник,
Отважно с няней воевал,
Умчался в лес, и там подснежник —
Цветок голубенький — сорвал.
Он погубил цветочек бедный,
И умер первенец полей...
И к няне с песнею победной
Летит герой... «Будь веселей!
О чем задумалась, старушка?»
— «О чем задумалась? О том,
Что спит твоя сестра-вострушка
И не проснется под крестом.
Она подснежники любила
И зелень, травку-мураву.
Твою сестру весна сгубила,
А я... тоскую и живу.
Припомнить старое позволь-ка...
Ох, старость — больно не красна!
Ей было лет семнадцать только...
Настала ранняя весна.

Ручьи катились и шумели;
Длиннее становились дни,
А меж собой, под тенью ели,
Вдвоем шепталися они...»
— «Да кто ж — они?» — «Отстань, мучитель,
Не раздражай, не говори!
В лесу с твоей сестрой учитель
Сидел до утренней зари.
Подкравшись, слушаю беседу...
Она твердит: «С тобой здесь рай!»
А он сурово так: «Уеду,
А ты... подснежники сбирай!
Дополни, барышня, гер... ба... рий
(Словечко больно мудрено!),
Дворянка ты, я — про... ле... тарий, —
Нам вместе жить не суждено».
И он уехал, окаянный
(С народом был он добр и прост!),
А Варю, осенью туманной,
Свезли в могилку на погост».

. . . .

— «А после что̀ случилось, няня?
К нам приезжал учитель? Да?»
— «Отстанешь ли, разбойник Ваня?
О прошлом вспоминать — беда!
Весной вернулся. Над могилой
Упал ничком в слезах, без сил,
И называл он Варю «милой»,
Прощенья у нее просил.
Подснежник вырыл из-под снегу
С могилки Вари... (Эка блажь!)
И с ним, вскочивши на телегу,
Куда-то скрылся парень наш»...

Задумался герой-мятежник:
«Ах, няня, знаешь что?.. В лесу
Найду голубенький подснежник
И к нашей Варе отнесу».

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Если хочешь, друг мой, лето увидать,
Лето чудное, как божья благодать, —
На себя ты, дорогая, посмотри:
Взор твой ярче и отраднее зари.
Этот взор, во тьме сверкающий,
Мне напомнит небеса.
Я, больной, изнемогающий,
Вновь поверю в чудеса;
Как пустыня — степь бесплодная,
Оживет душа холодная.

Если хочешь, друг мой, осень увидать,
Если хочешь волноваться и страдать,
Если хочешь знать лихие наши дни, —
Ты мне в сердце наболевшее взгляни.
Устреми глаза лазурные
В это сердце: видишь, в нем
Есть порывы — вихри бурные,
Что шумят в ночи и днем,
Колыхая степь бесплодную
В осень темную, холодную.

Осень темная несет с собой дожди,
В осень темную ты солнышка не жди!
Но когда ты, голубица-чародей,
Взглянешь ласково на страждущих людей, —
Оздоровеют болящие,
Что шатаются как тень,
И ослепшие, незрящие
Вдруг увидят светлый день, —
И тогда, подруга милая,
Оживится степь унылая.

Эта степь — мои бесплодные мечты.
В темном омуте житейской суеты
Я плыву... плыву, не зная сам — куда?
Посвети мне, путеводная звезда!
Сжалься, друг мой, над страдающим,
Озари мой путь скорей!

Маяком будь, освещающим
Тайны страшные морей,
Где пловцы погибли многие —
Духом слабые, убогие.

ВАТОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Девочке куклу купили.
Вскоре, без всякой вины,
Бросивши, куклу разбили
Братья ее, шалуны.
Мрачно нахмуривши лобик,
Куклу она собрала,
Сделала карточный гробик,
В поле цветов нарвала, —
Сделала крошечный венчик,
И причитала потом:
«Куколка, спи, мой младенчик,
Спи под лучинным крестом!»

Няня сказала: «Малютка,
Ты пустяков не мели!
Сто́ит ли, дитятко, ну-тка,
Кукла — креста и земли?
Братья твои виноваты;
Только сама рассуди:
Сердце у куклы — из ваты —
Может ли биться в груди?»

Годы прошли. Жизни детской
Были забыты мечты.
Милою куколкой светской
Сделалась, барышня, ты!
Няня навеки уснула.
Нянюшкин призрак пропал...
Ты равнодушно вздохнула
И полетела на бал.
Все возглашали «виваты»,
Нежность твою полюбя...
Сердце-то, даже из ваты,
Есть ли в груди у тебя?

ГЕНЕРАЛ ЕРОФЕЙ

(Легенда[1]*)*

Ерофей-генерал побеждал и карал
Пугачева и Разина Стеньку.
Получивши «абшид» без мундира, спешит
Он в родную свою деревеньку.

Приезжает туда. Деревенька худа;
Обнищали его мужичонки,
Нагишом ходят все. Генерал с фрикасе
Перешел... на телячьи печенки.

Он сердито сквозь строй прогонял, как герой,
Не жалея березовой рощи;
А теперь уж не то: ходит в статском пальто
Генерал, преисполненный мощи.

Он хандрит и ворчит, грозно палкой стучит,
Напевая мотивы из «Нормы»:
«Суета! Суета! Жизнь не та, жизнь не та,
Как, бывало, жилось... до реформы!»

Ненавидя толпу, он прибегнул к попу,
И, беседуя кротко с поповной,
Так он сделался прост, что в рождественский пост
И не думал о страсти любовной.

Генерал Ерофей в пост успенский шалфей
Пил с молитвой и верою жаркой;
Но зато в мясопуст от поповниных уст
Кипятился за пенистой чаркой.

Буйный дух в нем исчез, говорить стал на *«ес»*...
«Нравы наши-с... Да в том-то и горе-с,
Что прошли времена-с, позабыли о нас...
По латыни-с: O tempora, mores![2]

---

[1] Придирчивые историки могут усмотреть в сей легенде небольшие анахронизмы касательно побед одного и того же лица над Стенькой Разиным и Емелькой Пугачевым. Во всем остальном сия легенда основана на исторических фактах, сомневаться в коих не дерзаем.

[2] О времена, нравы! (Лат.) — *Ред.*

*

Генерал выпивал. Поп главою кивал,
    Восклицая: «Из праха изыдем,
Обращаемся в прах!» Снова рюмочку тррах...
    Так и дальше. Всё idem per idem.[1]

Допивая шалфей, раз вдремнул Ерофей;
    Вдруг влетает волшебница фея
И пред ним держит речь: «Чтобы силы сберечь,
    Не вкушай, друг любезный, шалфея!»

— «Как же быть мне с попом? — в онеменьи тупом,
    Побледневши белее рубашки,
Генерал вопросил. — Я в отставке, без сил,
    И мои прегрешения тяжки!»

— «Человече простой, ты травами настой
    Свой напиток. Есть чудные травы.
Вот рецепт мой, бери. И держу я пари:
    Ты очистишь российские нравы.

Каждый любит свое — и еду и питье,
    Шнапс у немцев... *Вас? Шпрехен зи дейч?*..[2]
У французов — клико; а тебе так легко,
    Ерофей, сочинить «ерофеич!»

И мила и нежна, улетела она —
    Легкокрылая, резвая фея.
Вместо злата и лепт, очутился рецепт
    В генеральских руках Ерофея.

Он настойки вкусил — и прибавилось сил,
    Заскакал, как лихой кабардинец,
И вскричал Ерофей: «Для чего пить шалфей,
    Если дан мне волшебный гостинец?»

У любого спроси: кто у нас на Руси
    От гостинца сего не шатался?
Улетел в царство фей генерал Ерофей,
    Но его «ерофеич» остался.

---

[1] Само по себе (лат.) — *Ред.*
[2] Что? Говорите ли по-немецки? (Нем.) — *Ред.*

ПОХОРОННАЯ ПРОЦЕССИЯ

При моем последнем, смертном ложе
Трех друзей, не больше, соберу.
И врагов найдется трое тоже,
Если я, на радость их, умру.

Шесть особ проводят гроб сиротский
На погост, в последний мой приют;
Поп — седьмой, восьмой — дьячок приходский
Обо мне уныло запоют.

И еще найдется провожатый,
И при нем мне будет веселей:
Ветерок (по счету он девятый)
Прилетит ко мне с родных полей.

А десятый — дождь с родного неба
Хлынет вдруг из темных облаков,
И земля даст много, много хлеба
Для таких, как я же, бедняков.

Как дитя, закрыв спокойно очи,
Лягу спать и горе утаю;
Буду ждать, чтоб ветер с полуночи
Тихо спел мне: «Баюшки-баю!»

Я хочу, чтоб сладки были грезы,
Чтоб постель-земля была мягка,
Чтоб меня оплакали не слезы,
А дождем весенним облака.

ЗВОНАРЬ

Поздно ночью встает бородатый звонарь,
На кладбище идет, засветивши фонарь,
Бьет двенадцать часов у церковных ворот...
Спите, братья мои! Спи, крещеный народ!
  Бледными лучами с синей высоты
  Месяц озаряет старые кресты.
  Сколько их столпилось, не сочтешь зараз!

Сколько здесь погибло от лихих зараз,
От нужды-злодейки, с горя, от трудов,
Сколько здесь зарыто и сирот, и вдов,
Пьяненьких и трезвых, умных и простых,
Бедных и богатых, грешных и святых!

Вдруг погаснул фонарь... Распроклятая тьма!
В темноте, средь могил, можно спятить с ума.
И за тучу ушел бледный месяц с тоски;
Лишь мигают вдали на крестах огоньки.
Чья это могила? Здесь ты, Клим Петров?
Был ты, друг любезный, грудью нездоров,
День и ночь ты кашлял и учил детей, —
Из крестьян, а вышел славный грамотей.
Помню: ты науку «солнцем» называл
И от темной ночки деток укрывал...
Плакали ребята, зарывая гроб;
Прослезился даже наш приходский поп.

Я споткнулся, упал... Распроклятая тьма!
В темноте, средь могил, можно спятить с ума.
До избенки моей трудно ночью дойти:
Всё кресты да кресты у меня на пути.
Чей это богатый золоченый крест?
Здесь лежит купчина, нахватавший звезд —
Только уж не с неба... Нет, в такую даль
Купчик не полезет даже за медаль.
Он творил святые, знатные дела:
Душеньку спасая, лил колокола,
В пост не ел мясного, водки не брал в рот;
Он... ограбил только множество сирот.

И опять я упал... Распроклятая тьма!
В темноте, средь могил, можно спятить с ума.
На душе тяжело, сердце ноет, грустит...
Под ногой у меня белый череп хрустит.
Чей это череп? Помню, помню... Да!
Ты погибла, Марья, с горя и стыда:
Бросил полюбовник, бросил он шутя
Дорогую любу и ее дитя.
Ты прости, голубка, что звонарь слепой
Растоптал твой череп дряхлою стопой!

Это не обидно: череп — старый хлам;
Но зачем разбито сердце пополам?

Ох, несносная ночь! Ох, проклятая тьма!
В темноте, средь могил, можно спятить с ума.
Ничего не видать. В фонаре нет огня,
Только слезы блестят на глазах у меня.
Здравствуй, мой кормилец, здравствуй, паренек,
Скоро ль батька ляжет у сыновних ног?
Милый, не жалел ты молодецких плеч,
И пришлось раненько на погосте лечь.
Мать твоя, старуха, саван соткала;
Младшая сестренка в саван обвила,
Я колоду сделал, плакал, голосил...
Что же дальше было? .. Молвить нету сил!

ДЛЯ МЕНЯ И ДОВОЛЬНО

(Песня умирающего комика)

Дни за днями бегут над твоей головой,
И годам улетать не закажешь.
Бедный комик, окончив путь жизненный свой,
Жалкий шут, ты в могиле спать ляжешь.
На вершине небес дух твой должен блуждать,
Как на сцене, уныл, безотраден;
А под черной землей труп актера глодать
Будут массы прожорливых гадин.

На тебя не возложат лавровых венков,
Ни медалей, ни знаков отличий;
Разве вспомнят: «Недурен был в нем *Хлестаков*,
А, под старость, хорош *Городничий*».
Разве молвят еще: «Удивительно глуп
В нем был *Чацкий* — болтлив и амурен;
Но зато в нем предстал наяву *Скалозуб*,
И как *Фамусов* был он недурен».

А подруга твоя, утаив в сердце лед,
С голой грудью в «Елене» предстанет.
Друг актера (к несчастью, плохой рифмоплет)
Над могилой стишонками грянет.

Вот и всё для тебя! Огонек твой потух,
    Догорело в светильнике масло...
Где же песни твои? Где веселый твой дух?
    Всё исчезло, погибло, угасло!»

Так я песню мою напеваю тайком...
    Пред кончиной мне видятся грезы,
Что несется она — эта песнь — ветерком
    И дробится... на мелкие слезы.
Их не видит никто, кроме бога. Лишь он,
    Бесконечной любовью владея,
И в весельи людском услыхать может стон,
    И простит он шута-лицедея.

Я был раб, вечный шут; но в актере-рабе,
    В старом комике, есть вдохновенье...
После смерти моей проживу ли в тебе,
    В грустной песне, одно лишь мгновенье?
Гой ты, песня шута, горделивой не будь,
    За тебя и смешно мне и больно.
Но когда мою песнь повторит кто-нибудь
    И вздохнет — *для меня и довольно!*

БУКИ-АЗ, БУКИ-АЗ, БА

Тише, ребятушки, тише, болезные!
    Книгу не рвите в клочки.
Вас усадив за уроки полезные,
    Я надеваю очки.
Плохо работают глазоньки слабые,
    С горя сгибаюсь клюкой.
Верьте мне, детки, что рада была бы я
    Кости сложить на покой.
Саван послужит мне славной обновкою...
    Я, как былинка, слаба...
Тише, ребята! Читать с расстановкою:
    Буки-аз, буки-аз, ба.

«Я не умею учить их *по-новому*,
    В *новом* не вижу добра...» —
Так-то инспектору страшно суровому
    Я отвечала вчера.

Он рассердился — особа горячая, —
    Крикнул: «Живи не в лесу,
Будь *современней*, старуха, — иначе я
    Школу твою разнесу!..»
Долго стыдил он меня, горемычную,
    Долго гремел, как труба...
Дети! Затянем-ка песню привычную:
    Буки-аз, буки-аз, ба.

Вашим отцам эту самую песенку
    Пела я в давние дни;
Им подставляла я первую лесенку,
    Чтоб возвышались они.
Нынче она признается за вредную,
    С ней дождалась я грозы:
Гонят меня — бесприютную, бедную,
    Гонят меня за «азы» —
Вас я покину и с горем, и с ропотом,
    Грешная божья раба...
Дети! Читайте за мною, хоть шепотом:
    Буки-аз, буки-аз, ба.

Часто я плачу от слабости, хилости,
    Часто молюсь горячо, —
Крепко надеюсь, что бог не без милости:
    Я послужу вам еще.
Новый учитель из города явится,
    «Умник», ученей меня.
«Умнику» бабушка ваша представится,
    Голову робко склоня:
«Буду служанкой твоей, сторожихою,
    Буду с тобой не груба...»
Дети! Читайте с молитвою тихою:
    Буки-аз, буки-аз, ба.

Он не прогонит старуху безродную,
    В школе мне даст умереть.
Буду отапливать печку холодную,
    Буду на деток смотреть, —
Как вы *по-новому* здесь обучаетесь
    Азбуке нашей родной...

Дети, не плачьте! Зачем вы прощаетесь,
Словно навеки, со мной?
Здесь, в этой школе, умру я служанкою,
Если поможет судьба...
Дети, смирнее сидеть за лежанкою!
Буки-аз, буки-аз, ба.

Просят могилы уставшие косточки;
Жду я последнего дня.
В этот денек, ребятишки-подросточки,
Вы схороните меня!
Дружно и вольно, толпою веселою,
Гроб мой должны вы нести:
Пусть окружусь я любимою школою
И на последнем пути!
Честь мне великую, детки, окажете, —
Если вам бабка люба,
Вы над могилой в последний раз скажете:
Буки-аз, буки-аз, ба.

КАЗАЧОК

Фонари кругом бросают свет унылый, бледный.
На забитой, жалкой кляче едет «Ванька» бедный.
Седоков у «Ваньки» двое: барыня-старушка
Да в истасканной ливрее казачок Петрушка;
Зябнет он, закрыв глазенки, с холоду трепещет,
А извозчик в рукавицах лошаденку хлещет.

Ты не бей ее напрасно! Полно, перестань-ка
За двугривенный тиранить лошаденку, Ванька!
Посмотри: она устала, снег ей по колено...
Вздорожали нынче, Ванька, и овес и сено;
У твоей несчастной клячи кожа лишь да кости.
Привезти еще успеешь старушонку в гости!

При фонарном слабом свете на нее взгляни ты:
Очи смотрят тускло, дико; сморщены ланиты...
А на них, бывало, страстно люди любовались,
Вкруг красавицы толпою шумной увивались;

Все ласкали, баловали барышню-резвушку...
Жаль ее... и жаль мне также казачка Петрушку.

Вот приехала старуха к внуку молодому.
Отказал бы он охотно бабушке от дому,
Да боится: у старухи водятся деньжонки.
«Эти ведьмы очень скупы, и хитры, и тонки...
Может быть, она оставит всё наследство внуку?»
И целует внук с почтеньем бабушкину руку.

Занялась она с гостями, по копейке, вистом,
А Петрушка спит в передней и храпит со свистом.
У старухи худы карты: двойки да семерки,
А Петрушке с голодухи снятся хлеба корки.
Обыграли на целковый барыню-старушку...
Жаль ее... и жаль мне также казачка Петрушку!

ЧУДЕСНАЯ ХАТА

Как прекрасна, как чудесна у меня бывает хата,
Если сладким вдохновеньем вся душа моя объята;
Если, сидя у оконца, я под шум густой березы
Стройно складываю в песни золотые думы-грезы.
Из груди моей открытой вдохновенье звучно льется,
И каким-то чудом песня для народа создается.
Из окна она промчится легкой ласточкой игривой
Над соседней деревенькой, над соседней братской нивой, —
И она прогонит горе, если кто в селе горюет,
И отрадно засмеется с тем, кто весело пирует.
Эта песня укрепляет в сердце веру в провиденье,
Для любви давнишней, старой в ней таится наслажденье.
И она с собой приносит благодатные надежды,
У рыдающих, гонимых утирает тихо вежды.
Я тогда себя считаю властелином мира-света,
Восклицая: «Как чудесна хата бедного поэта!»

Как приветливо встречает чародейка, эта хата,
Гостя милого, родного, дорогого гостя-брата!
Как ему она радушно настежь двери отворяет
И в стенах веселым эхом речи гостя повторяет!

Этой хате-чародейке всё знакомо, всё известно,
И она хлеб-соль и мысли разделяет с гостем честно,

Вторит звону чаш застольных и своим чудесным эхом
Отвечает гостю-другу задушевным громким смехом.
И звучит отрадно эхо в чудной хате без измены,
И каким-то дивным блеском озаряются в ней стены;
В ней, как встанешь после пира, так из каждого оконца
На тебя не солнце светит, а уж ровно... по два солнца!

НЕВЕСТА

Что за мысли злые,
Как мне тяжело!
Капли дождевые
Глухо бьют в стекло,
Льются через крышу,
На полу — вода...
Голос няни слышу:
«Сядь, дружок, сюда!
Бедная овечка,
Примечаю я:
Таешь ты, как свечка,
Умница моя,
Сохнешь и страдаешь,
Долго ль до греха?
Ждешь да поджидаешь
Друга-жениха.
Грешен он во многом,
Люди говорят...»
— «Но, клянуся богом,
Предо мной он свят!»
— «Твой жених в Сибири,
В тундрах да в степях;
На руках-то гири,
Ноженьки — в цепях.
Рассуди же толком,
Как бежать ему:
Обернуться волком?
Подкопать тюрьму?

Али от острога
Подобрать ключи?»
— «Няня, ради бога,
Будет, замолчи!
В этот день ненастный,
В дальней стороне,
Друг мой, друг несчастный,
Вспомни обо мне!»

Нянюшка вздремнула...
Посмотря в окно,
Я рукой махнула:
Там и *здесь* — темно!
Та же непогода,
Тот же ветра вой...
Около «завода»
Ходит часовой...
Грезится мне Лена...
Чумы дикарей...
Возвратись из плена,
Милый, поскорей!

Колокольчик где-то
Затрезвонил вдруг...
«Няня, няня! Это —
Мой прощенный друг.
Верю я сердечку:
Как оно дрожит!»
И, покинув печку,
Нянюшка бежит.
«Аль беда случилась?
Ты горишь огнем...
Лучше б помолилась
Господу о *нем*.
С верою глубокой
Крест прижми к устам!»
...Друг мой, друг далекий,
Горько *здесь* и *там!*

ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ БРАТЬЯ

(Из Вильяма Купера) [1]

Я хотел бы удалиться, убежать
В беспредельную пустыню от людей,
Чтоб меня не мог жестоко раздражать
Торжествующий над правдою злодей.

Цепи рабства ненавистны для меня:
Эти цепи так пронзительно звучат!
Я их слушаю и, голову склоня,
Жду, когда они утихнут, замолчат.

Но вокруг меня — разврат и нищета;
Кровь людская льется быстро, как поток.
Мы не помним слов распятого Христа:
«Да не будет ближний с ближними жесток!»

«Братство», «равенство» — *забытые слова;*
Мы теперь их презираем и клянем.
Братство крепко, как иссохшая трава,
Истребленная губительным огнем.

Наше равенство? Мы разве не равны?
И о чем же я, безумствуя, скорбел?
Я скорбел о том, что негры все черны,
А плантатор, властелин их, чист и бел.

В чем их разница? Один из них богат,
Кожа тонкая прозрачна и бледна;
У другого кожа блещет, как агат,
В этом вся его ужасная вина.

«Белый» «черного» преследует с бичом,
И не брата в нем он видит, а раба...
Будь тот проклят, кто родился палачом,
Пусть казнит его жестокая судьба!

---

[1] Американский поэт *Вильям Купер* задолго до освобождения негров был одним из самых красноречивых защитников эмансипации в Северных Американских Штатах.

Нет, невольником владеть я не могу,
Не желаю, чтобы в полдень, в летний зной,
Негр давал прохладу белому врагу,
Опахалом тихо вея надо мной.

Нет, невольником владеть я не хочу,
Не желаю, чтоб он в рабстве изнывал
И, послушный беспощадному бичу,
Кровью-потом нашу землю обливал.

В человеке *человека* полюбя,
Не хочу я и не в силах им владеть.
Легче цепи возложить мне на себя,
Чем на *брата-человека* их надеть.

ДОЧЬ ОХОТНИКА

«Холодно мне, холодно, родимая!»
— «Крепче в холод спится, дочь любимая!
Богу помолиться не мешало бы,
Бог услышит скоро наши жалобы.
Тятька твой с добычею воротится, —
В роще за медведем он охотится.
Он тебя согреет теплой шубкою,
Песенку затянет над голубкою.
Спи, спи, спи, дочь охотничка,
Спи, спи, спи, дочь работничка!
Сейчас же он
Пришлет поклон
Мне с ребятушками.
О чем реветь?
Убит медведь
С медвежатушками».

— «Голодно мне, голодно, родимая!»
— «Нету в доме хлебца, дочь любимая!
Богу помолиться не мешало бы,
Бог услышит скоро наши жалобы.
Тятька твой охотится с рогатиной, —
Он тебя накормит медвежатиной.
Вдоволь мяса жирного отведаем,
Слаще, чем купчина, пообедаем.

Спи, спи, спи, дочь охотничка,
Спи, спи, спи, дочь работничка!
Сейчас же он
Пришлет поклон
Мне с ребятушками.
О чем реветь?
Убит медведь
С медвежатушками».

— «Снится сон тяжелый мне, родимая!»
— «Что же снится? Молви, дочь любимая!»
— «Тятенька-охотничек мерещится:
Будто под медведем он трепещется,
Будто жалко стонет, умираючи,
Кровь-руду на белый снег бросаючи...»
— «Бог с тобой, усни, моя страдалица!
Верь, что бог над нами скоро сжалится.
Спи, спи, спи, дочь охотничка,
Спи, спи, спи, дочь работничка!
Сейчас же он
Пришлет поклон
Мне с ребятушками.
О чем реветь?
Убит медведь
С медвежатушками».

Тук... тук... тук! .. Соседи постучалися,
Старые ворота закачалися.
«Эй, скорей вставайте, непроворные!
Мы приносим вести злые, черные:
Вышли мы из лесу из дремучего,
Встретили Топтыгина могучего
Целою артелью без оружия...
Мишка встал на лапы неуклюжие,
Смял, смял, смял он охотничка,
Сшиб, сшиб, сшиб он работничка,
Пропал потом
В лесу густом
С медвежатушками...
В тяжелый день
Кошель надень
Ты с ребятушками!»

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ПОБЕДОНОСЦЕВ

...Бело тело костромское
Не земное, не плотское,
Бело тело запотело,
Разгуляться захотело...

(Костромская песня о костромиче Победоносцеве)

Кто такой Победоносцев? —
Для попов — Обедоносцев,
Для народа — Бедоносцев,
Для желудка — Едоносцев...
Для царя — он злой Доносцев...

Он к царю придет с докладом,
От царя уйдет с окладом,
Награжденный златом-кладом,
Возгласив тихонько ладом:
«Жизнь не кажется мне адом, —
Принесите «лепту» на дом!..»

Ох ты, господи, мой боже!..
Почему же, отчего же
Мне не носят лепты на дом?
Жизнь сходна в России с адом,
В ней нельзя жить дружно, ладом,
Со свободой, чудным кладом:

В ней урядники — с окладом,
А исправники — с докладом...
Много-много в ней «доносцев»,
Константин Победоносцев...

ДЕРЕВЕНЬКА

(Песня)

Ноченька осенняя, деревенька темная...
Слева — сосны, елочки; справа — степь огромная.
Вдаль пойдешь — заблудишься, и с душою робкою
Вспять назад воротишься проторенной тропкою.

Ляжешь спать на лавочку, как лежали прадеды, —
Матушка ругается: «А ходил куда-де ты?
Аль в притон разбойничий, в кабачок за водкою?
Аль бежал за девицей — белою лебедкою?
Аль ходил к учителю? .. Полно, Калистратушко!
Лучше всех наставников для сыночка матушка...».

«Не брани, родимая, не кори учителем!
Был он мне защитником, был моим спасителем.
Разве в том вина его, что противна ложь ему?
Что стоял за правду он, по веленью божьему? ..

И напрасно, матушка, ты им озабочена:
Нет его здесь, бедного; школа заколочена;
Пусто в ней, темнехонько. Больше нам не встретиться,
Только у кабатчика огонечек светится!»

ЕДУ ЛИ НОЧЬЮ В СТОЛИЦЕ ОГРОМНОЙ

Еду ли ночью в столице огромной,
Иль по деревне унылой брожу,
Жалкий ребенок, больной и бездомный,
Всюду, страдалец, тебя нахожу.

Страшно во мне заволнуется совесть:
Нужно бы детскому горю помочь,
Да не могу! Но правдивую повесть
В грустных стихах передать я не прочь.

Не утомит вас рассказ мой недолгий.
...Где-то далеко, осенней порой,
В бедной деревне, стоящей над Волгой,
Свет увидал мой ребенок-герой.

«Как его имя? ..» —
Не в имени дело —
Дело-то в совести, в правде людской..
(Это вот дело у нас охладело, —
В «Помощи детской», замечу с тоской).

Духом и сердцем мы все ослабели,
Трудно нам детскому горю внимать!

Но возвратимся назад — к колыбели,
Да и послушаем бедную мать.

Что-то она, наклонившись к сыночку,
Шепчет-поет... Различить мудрено...
Громче ее в эту темную ночку
Снежная вьюга шумит чрез окно.

«Выращу, дитятко, выращу, миленький!» —
Мать заунывно поет.
«Вырастет дитятко слабенький, хиленький!» —
Буря ответ подает.

«В свете жить будешь с талантами многими...» —
Мать заунывно твердит.
«Будешь лежать ты в больнице с убогими!» —
Буря-злодейка гудит.

Мать напевает: «Спи, дитятко милое,
Спи, ни о чем не скорбя!»
Буря шумит: «Спи, дитя опостылое, —
Я заморожу тебя!»

Мать голосит: «Я живу без хозяина,
Сын мой в ученье пойдет...»
Буря смеется: «Как Авель от Каина,
Смерть он в «ученье» найдет».

Молится мать: «Богородица-матушка,
Я об сыночке молю!»
Буря ревет: «Пропадет Калистратушка,
Мальчика я погублю...»

...Имя «героя» сказала нам буря, —
Так ли, не так ли, я имени рад...
Вырос ребенок, и, брови нахмуря,
Принял «хозяин» тебя, Калистрат.

Буря-пророчица, певшая песни
Над колыбелью сиротской твоей,
Правду сказала: работай, хоть тресни,
А поперечить злодею не смей!

Он ведь хозяин. Он твой благодетель,
Разуму учит, ругаясь, грозя.
Он говорит:
— Вам господь мой свидетель,
Что обходиться без плети нельзя!

Страшно в деревне балуются дети,
Сразу не могут понять ремесла...
И засвистали над мальчиком плети
Ночью и днем без числа... без числа!

Вспомни здесь кстати, мой добрый читатель,
Что говорил о ребенке другом
Наш знаменитый, великий писатель
В чудном стихе, как алмаз, дорогом.

«Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?
Плакал твой сын, и холодные руки
Ты согревала дыханьем ему.

Он не смолкал — и пронзительно звонок
Был его крик... Становилось темней...
Вдоволь поплакал и умер ребенок...»
...Но Калистрату жилося трудней,

Мать его руки не грела дыханьем,
Лаской ребенку помочь не могла;
Не совладала с нуждой и страданьем
И на погосте близ мужа легла.

Кто защитит сироту Калистрата?
Рано, бедняжка, он стал понимать —
Горе какое, какая утрата,
Если погибнет кормилица-мать.

* * *

Царь наш — юный музыкант —
На тромбоне трубит,
Его царственный талант
Ноту «ре» не любит:

Чуть министр преподнесет
Новую реформу, —
«Ре» он мигом зачеркнет
И оставит «форму».

«Что за чудное гнездо
Наша Русь святая!
Как прекрасно наше «до»,
«До»... до стен Китая».

И с женою и с детьми,
Чувствуя унылость,
Царь не знает ноты «ми»
(Есть словечко «милость»).

Помня ноты две «la — fa»,
Царь не любит сплина, —
На Руси ему — «лафа»,
Разлюли-малина.

Царь сыграет ноту «соль»
Без ошибки, чудом,
Если явится «хлеб-соль»
С драгоценным блюдом.

Уподобясь на Руси
Господу-аллаху,
Он выводит ноту «си»
(Сиречь: «да»)... на плаху.

МУЗЫКАНТ

Матку-правду говоря,
Гатчинский затворник
Очень плох в роли царя,
Но зато не ёрник.
Хоть умом он не горазд,
Но не азиатец,
Не великий педераст,
Как Сережа-братец.

У него иной талант:
  Музыку он любит
И, как скверный музыкант,
  Уши режет-губит.
Поневоле загрустишь,
  Музыке внимая,
Что ты плачешь и грустишь,
  Родина немая?

* * *

Сердце государево
Пышет, словно зарево.
У его величества —
Много электричества.
Долг свой верноподданный
Только не исполни я, —
Он, назло нам созданный,
Поразит, как молния.
Мы между народами
Тем себя прославили,
Что громоотводами
Виселицы ставили.

* * *

В себе не вижу духа злого
(Хотя царит противный дух)
. . .Я о России — ни полслова!
Как целомудренный евнух,
Готов я соблюсти невинность
Великой северной страны
И, соблюдая «благочинность»,
Готов воскликнуть: «Кто на ны?»
Россия — крепкая держава —
Не склонит гордой головы.
Она немножко, правда, ржава
(Железо ржавеет, увы!),
Но с «головою» Александра
Сияют русские умы!

* * *

В жизни осень наступила. Веет в сердце холодок,
И озлобленно рычу я, как рассерженный бульдог:

«Да, меня не баловала и не тешила судьба.
Я родился в знатном чине... всероссийского раба,

И умру я в том же чине, и воскресну я рабом,
И явлюсь рабом пред богом в небе ясно голубом.

И меня создатель спросит: «Что, голубчик Леонид
Николаевич? Как можешь? Как судьба тебя хранит?

Ты оставил, чай, наследство: пропасть злата-серебра?
Ты себе, чай, сделал славу силой честного пера?»

И отвечу я уныло: «Ой ты, господи, еси!
Неизвестен никому я как писатель на Руси.

Из моих стихотворений вышел очень малый толк:
Выл я в них, как пес голодный или словно дикий волк.

Иногда в душе болящей был свирепый ураган,
Но, как шут, перед толпою открывал я балаган —

И смеялся в нем так глупо, неумело, неостро,
Что теперь я проклинаю бесполезное перо!

Никому не дам совета по моим идти стопам:
Лучше я строчил бы просьбы в консистории попам!

Погубил я ребятишек, погубил я и себя,
Музу, ведьму-лиходейку, бескорыстно полюбя.

Мне она шептала страстно: «Я бедна, но я чиста.
Полюби меня безумно и сомкни со мной уста!»

Я спросил у незнакомки: «Как вас звать, мамзель?
Pardon!
И зачем вас к Леониду привлекает купидон?

Леонид я не спартанский, и не очень я пригож,
И хожу в таком костюме... что чуть-чуть не из рогож,

И притом в моем кармане ветер свищет день и ночь, —
В силу этих обстоятельств удалитесь, дева, прочь!»

Так-то, господи! Я кончил, рассказал житье-бытье.
Где назначишь мне жилище вековечное мое?

Здесь — направо, в светлом рае, иль налево — у чертей —
Должен жить твой бедный автор, стихоплет и грамотей?»

И ответил мне создатель: «Я с тебя, брат, не взыщу
И в раю хоть сверхкомплектным стихотворцем помещу!»

ЛАПТИ

Не думай, гордый мой поэт,
Что ты в поэзии владыка!
Тебя сильнее нищий дед,
Плетущий *лапоть* свой из лыка.

И он плетет, и ты плетешь,
Но между вами сходства мало:
Всё, чем гордится молодежь,
Твое перо не понимало.

Плетешь ты рифмы без души;
Твои «изделья» сон наводят...
А *лапти* крепки, хороши,
И в них мильоны братьев ходят...

Себе пощады не проси!
Твои «изделья» в печку бросят...
А *лапти* ходят на Руси
И пользу родине приносят.

Бесследно пропадет твой бред
Рифмованный, безумно-гордый...
А *лапти* свой оставят след,
След прозаический, но твердый.

* * *

Снежные сугробы, зимние метели
Завалили нам окно...
Мы бы и желали, мы бы и хотели,
Чтоб открылося оно.

Всё не удается. Значит, руки слабы
У отцов и у мужей!
Верно, наши дочки, верно, наши бабы
Доберутся до ножей?..

Подождем, ребята, капельку-немножко,
И с отчаянным бабьем
Мы в дрянном остроге ветхое окошко
Как-нибудь да разобьем!

* * *

Свободное слово, опять ты готово
Сорваться с пера...
Чего же ты хочешь? О чем ты хлопочешь?
Не та, друг, пора!

Молчи и таися. Каткову молися,
Чтоб он не наврал;
Печатью он правит и мигом отправит
Тебя — за Урал.

ОКЕАН ЖИЗНИ

(Сонет)

Пред нами жизнь — широкий океан
Нежданных бед, тревоги и напастей, —
И, покорясь нам неизвестной власти,
Мы вдаль плывем, окутавшись в туман.

Давно погиб бы в нем я от напасти,
Давно меня умчал бы ураган...
Но мне судьбой хранитель верный дан,
Смиряющий порывы бурной страсти.

С ним не боюсь житейских грозных бурь,
Не утону с ним в безднах океана:
Родной народ мне виден из тумана.

Увижу с ним небесную лазурь...
И, музыкой народных песен полны,
Свободные вокруг меня заплещут волны.

К СВОБОДЕ

Незримая для русского народа,
Ты медленно, таинственно идешь.
Пароль мой: «Труд, желанная Свобода!»
А лозунг твой: «Бодрее, молодежь!»

ПЕРЕВОДЫ
И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ

РУСНАЦКАЯ ПЕСНЯ

Трели соловьиные,
Песни лебединые,
Ночью притаившися,
Слышу у калины я.

Ох, моя калинушка,
Гордая, зеленая,
Как ты пышно выросла,
Солнцем не спаленная.

Нежно ты румянишься
Под ночною зорькою:
Но зачем ты славишься
Над осиной горькою?

Не гордись, не важничай,
Барыня-калинушка, —
Ведай, что здоровое
Деревцо — осинушка...

Листья на осинушке
Трепетно колышутся.
В этом робком трепете
Голоса мне слышатся:

«Да, мы листья горькие,
Но зато здоровые;

Вынесем безропотно
Наши дни суровые.

Вырастем, сравняемся
Мы с калиной свежею;
Как она, не будем мы
Деревцом-невежею».

ЮЖНОРУССКАЯ ПЕСНЯ

Ох ты, радость-счастье, ты куда же скрылось?
Или в быстрой речке счастье утопилось?
Иль в костре чумацком, посредине поля,
Угольком сгорела доля, моя доля?
Выплыви же, счастье, выплыви из речки,
Я тебя согрею на моем сердечке.
Если ж ты сгорело, так и мне, невесте,
Заодно с тобою догореть бы вместе...

Приезжали сваты, и меня из дому
Отдала родная парню молодому.
Молод-то он молод, да другую любит
И своей гульбою жизнь мою загубит.
Матушка сказала: «Ты послушай, дочка,
Не кажись мне ровно целых три годочка».
Год протосковавши, я не утерпела,
Сделалась кукушкой, да и полетела,
У родимой хаты села на калину
И закуковала про мою кручину.
Стало жаль калине, что я так грустила,
И она на землю листья опустила;
А родная матка встала у порога,
Отгадала дочку и сказала строго:
«Если ты мне дочка, так пожалуй в хату,
Покажу я гостью дорогому свату.
Он мне поправляет ночью изголовье...
Я живу без мужа — дело мое вдовье.
Если ты кукушка, так лети обратно,
Жалобные песни слушать неприятно».
Я легко спорхнула, с матушкой не споря,
Полетела к мужу, умереть от горя.

Вижу, муж-изменник вышел на охоту,
Распевая песни, ходит по болоту;
В дерево он метит, в самую верхушку,
И на ней подстрелит серую кукушку.

<1868>

Т. Г. Шевченко

ЧУМА

Пришла с лопатою Чума,
Могилы рыла и сама
Бросала в землю мертвецов —
Детей, и женщин, и отцов,
И «Со святыми упокой!»
Не пела жалобно, с тоской.
С лопатой шла Чума селом,
Людей мела, как помелом.

Весна. В селе цветут сады.
Росой умылися поля.
Не чувствуя людской беды,
Пирует весело земля.

Покрылись зеленью луга,
Но люди небеса винят,
И от жестокого врага,
Как стадо струсивших ягнят,
Укрылись в хатах: там и мрут.
Волы голодные ревут;
Пасутся сами табуны
На всем раздолии степном;
Под обаянием весны
Уснули люди вечным сном.

Неделя Светлая пришла,
Но не гремят колокола,
Не вьется синий дым из труб,
Огни в избушках не горят.

Везде лежит близ трупа труп,
Везде могил чернеет ряд.

Покрывшись шкурой, засмолясь,
Могильщики селом идут
И, труп увидя, не молясь,
Крючком зацепят — и кладут
Погибших братьев, как рабов,
В сырую землю без гробов.

Минули месяцы. Село
Крапивой жгучей поросло
И онемело. И в пыли
Близ хат могильщики легли
И тихо спят, уснув навек;
Не выйдет добрый человек,
Чтоб их с молитвой схоронить;
Они должны открыто гнить...

Как оазис, в чистом поле
    Нива зеленеет;
Но никто туда не ходит,
    Только ветер веет,
Листья желтые разносит,
    Сея их по полю,
Людям песню напевая
    Про лихую долю.

Долго поле зеленело,
    Разнося заразу;
Наконец решились люди
    Истребить всё сразу.

Подожгли — село сгорело,
    Нет ему и следу...
Так-то люди одержали
    Над Чумой победу!

3 марта 1878

Владислав Сырокомля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

УТРО

Вот с горы крутой спустилось
Воскресение святое;
Из-за тучи покатилось
В небе солнце золотое.
Ветерок такой прелестный —
Всё заигрывает с нивой,
И летает благовестный
Над деревнею сонливой,
И лепечет речи эти
Светлый ангел в утешенье:
«О! Порадуйтеся, дети,
Ведь сегодня — воскресенье...»

На траве блестят росинки,
Застывая от прохлады,
Деревенские скотинки
Воскресенью тоже рады.
Рев приветливый уходит
В небеса — к далекой цели;
Хорошо пастух выводит
На рожке веселом трели...
При дороге крест мелькает,
И на нем, затеяв пенье,
Птичек хор не умолкает:
«Ведь сегодня — воскресенье».

Пред Ивановой избенкой
Скрип телеги раздается;
Со двора ребячий звонкий
Смех по улице несется.
Молодежь так рада лету,
А того не понимает,
Что отец в минуту эту
Хлеб последний вынимает.
Впрочем, хлеб созреет новый,
Бедной нивы украшенье...
Нужно ехать: день торговый,
Ведь сегодня воскресенье.

Ох! Дела-то больно плохи.
У Ивана деток пара,
А ведь он уж вынул крохи
Остальные из амбара.
Соли гневно просит женка,
С муженьком она бранится;
Детям надобна книжонка,
Захотелось им учиться.
Дети, вы старайтесь дружно,
Знайте: грамота — спасенье...
Вам купить гостинцев нужно,
Потому что — воскресенье.

На возу Иван клячонку
Прибодрил ударом плети,
И за батькою вдогонку
Побежали шумно дети.
Он рысцою осторожной
Ехал, думая о многом:
Крест увидя придорожный,
Закричали дети: «С богом!»
Дети молятся, в надежде
На большое угощенье.
И усерднее, чем прежде,
Как и должно в воскресенье.

Лишь с молитвою прощальной
Преклонились дети снова —

Звон раздался погребальный
Из селения родного.
Вдруг, испуганный тем звоном,
И ему уныло вторя,
Огласил окрестность стоном
Филин, вестник злого горя.
Что он стонет и какое
Обещает приключенье? ..
Светит солнце золотое,
Ведь сегодня воскресенье.

2

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИВАНА С БАЗАРА

Я пьян. Для подкрепленья сил
Я чарочку хлебнул.
Сосед — другую упросил,
А там еще махнул,
Потом еще, потом опять,
И вышло, значит, ровно пять...
Ну, сивко, без оглядки
Валяй во все лопатки!

Посторонитесь, господа!
Не смейтесь надо мной:
Сермяга Ванькина худа,
Не блещет белизной,
Но не бесчестная она, —
Иного краше полотна
Хоть эти вот заплатки...
Валяй во все лопатки!

Вот при дороге кабачок...
Заеду, покурю,
Там есть отличный табачок...
Вошел в кабак, смотрю:
Сидит за печкой сатана
И шепчет: «Выпей, брат, вина!»
И пропил я остатки...
Валяй во все лопатки!

Жена! Куражься и кричи,
Как хочешь, будь строга:
Без соли станешь есть харчи,
Соль страшно дорога.
Хотел купить два букваря,
Да — правду-матку говоря —
Что толку в них, ребятки?..
Валяй во все лопатки!

Холопу, будь хоть грамотей,
Судьбою суждено:
Шесть дней работай и потей,
В седьмой же — пей вино.
А грамотея, смотришь, тут
За пьянство в рекруты сдадут,
Равнять заставят пятки...
Валяй во все лопатки!

Крест при дороге... Вот я слез,
Шатаясь и скользя;
Меня толкает в спину бес,
Бороться с ним нельзя.
Я темный человек, я пьян,
И в голове моей туман...
Нет, это не порядки.
Валяй во все лопатки!

Деревня... кажется, моя.
Ну, сивко, подвози...
Рванулся быстро конь, и я
Упал, лежу в грязи!
Хохочет леший... Вот он, вот!
От радости в ладоши бьет...
Один конь без оглядки
Летит во все лопатки!

3

ПЛАЧ ЦЕЛОВАЛЬНИКА

«Ванька! Вижу безобразника,
Спишь во рву мертвецким сном.
Позволительно для праздника
Выпить чарочку с вином;

Но ты пил бы на здоровие
У меня — не на торгу...
Позабыл, злодей, условие,
Но его я берегу.
    Ты ограбил меня, обманул,
    Караул, караул, караул!

Хуже вора ты острожного,
Согласись, душа моя!
От тебя, неосторожного,
Терпит целая семья.
У меня, ведь, деток дюжина,
    Две коровы да жена, —
Что же, им сидеть без ужина?
Голодать семья должна?
    Ты ограбил меня, обманул,
    Караул, караул, караул!

Лошадей, овец с баранами
У меня до двадцати;
А с подобными тиранами
Корму где для них найти?
Нагрузил ты воз пшеницею,
Взял гороху два мешка, —
Всё спустил, а я сторицею
Разуважил бы дружка.
    Я бы зá воз... полтиной рискнул,
    Караул, караул, караул!

Выпей, что ли, водки скляницу!
Изо рва, забыв обман,
Я тогда бы вывел пьяницу...
Но каков-то твой карман? —
Ни полушки... Ах ты, бестия!
Ты украл весь капитал,
А его, ей-ей, по чести, я
Уж давно своим считал.
    Ты ограбил меня, обманул,
    Караул, караул, караул!

Но, прощая преступления,
Помириться я готов,

Если, ради подкрепления,
В долг ты выпьешь целый штоф.
Угощу дружка досыта я;
Дома ждет тебя гроза,
Не ходи к жене: сердитая
Баба вцепится в глаза...
Но Иван сном могильным уснул...
Караул, караул караул!

4

ВЕЧЕР

Склонив головки, с негой сладкой
Спят ароматные цветы,
И вечер розовый украдкой
Ласкает землю. С высоты
Спустившись, солнце на долины
За тучку спрятаться спешит
И крыш соломенных вершины
Лучом прощальным золотит.
Горят огни в крестьянских хатах;
Народ, воскресный день учтя,
Гуляет в праздничных заплатах.
Таков конец святого дня.

Домой, припрыгивая лихо,
Бегут с мычанием стада;
Играет на свирели тихо
Пастух — седая борода.
В густой траве кузнечик скачет
И распевает под кустом,
А там — вдова Ивана плачет,
Упавши пред святым крестом,
И стонет: «Дети не велики,
И мужа нет уж у меня...»
Не радостен для горемыки
Такой конец святого дня.

Какой-то пьяный на скрипице
Пилит... Народ, играй, пляши!..

А там колокола в каплице
Звонят за упокой души.
(Сегодня по тебе, Ванюха,
А завтра, в летней тишине,
Колокола, быть может, глухо
Начнут трезвонить и по мне.)
Труп на носилки положили
И разошлись, похороня,
Родные плакали, тужили...
Таков конец святого дня.

<1866>

ПОХОРОНЫ

(Мелодия из «Дома сумасшедших»)

В этой комнате смешные
    Призраки мелькают,
То вдруг город, то деревню
    Мне напоминают.
Вот стоит на курьих ножках
    Ветхая избушка;
Вот, вся в зелени, взор нежит
    Чья-то деревушка.
Там мигает замок сбоку
    Сотней глаз — так важно!
Там скрипит, при ветре, церковь
    Громко и протяжно.
Деревянные подпорки
    Укрепляют крышу;
А под ними ходят люди
    И болтают, слышу.
Ходят сонными шагами.
    Сядут, встанут снова
И смеются... Но на свете
    Много ли смешного?

Глухо кашляет на башне
    Колокол разбитый:
«Помолитесь! помолитесь!..» —
    Гроб несут открытый.

Гроб несут четыре деда,
И за каждым дедом
Богаделки со свечами
Выступают следом.
Органист идет, шатаясь,
Надрываясь с крику, —
Знать, для храбрости он выпил
Малую толику!
Распевает антифоны
(Голосище — сила!), —
Dies illa [1] если хватит
И потом
Requiescat [2] если крикнет,
То едва не лопнет,
И от радости великой
В такт ногою топнет.

Гроб несут, но в провожатых
Вовсе не излишек:
Любопытные зеваки
Да толпа мальчишек.
Два приятеля тихонько,
За печальной ношей,
Вспоминают о покойном:
«Парень был хороший, —
Его сердце молодое
Как вулкан горело,
Лава брызнула — и в пепел
Обратила тело!»
«Органист! по ком ревешь ты,
Запевало зычный?
Был покойник, как заметно,
Человек... приличный;
Но знавал он в жизни редко
Счастия минуты:
И уста его с улыбкой
Горькою сомкнуты,
А на лбу остались знаки
Мысли безотрадной...

---

[1] Тот день (лат.) — *Ред.*
[2] Да успокоится (лат.) — *Ред.*

Кто же он?» — спросил с биноклем
Господин нарядный.
Органист в ответ: «Во-первых,
Я замечу ныне,
Что пою, а не реву я
Псалмы по-латыни.
Во-вторых, бедняк несчастный,
Что лежит в колоде,
Сам себя сгубил: безумец,
Пел он о народе,
Грезой к небу уносился,
Да с таким полетом
Вирши плел, глупец, и умер
Жалким рифмоплетом.
Он, бывало, днем и ночью
Не оставит книжку;
За нос все его водили,
Словно как мальчишку.
У него была красотка, —
Вскоре разлюбила...
Он друзей имел — их зависть
Бедного сгубила.
Журналисты грызли крепко
За стихи дурные;
Оттягали деревеньку
Дальние родные...
Не везло ему на свете,
Не было покою, —
И на хитрости людские
Он махнул рукою.
Если встретит человека,
Прочь бежит сурово:
В голове, на чердаке-то
Было нездорово!
Захворал. Зима стояла,
Начались метели
И к голодному поэту
Чрез камин влетели...
Но больной, забыв о свете,
Полон тяжкой муки,
Всё писал, писал со стоном,
Отморозив руки.

Он твердил: «Пора в могилу!
Правосудный боже!
Я любил так много, много,
Крест несу за что же?»
Умер вскоре сочинитель
От нужды-злодейки;
Хоронить его должны мы
Даром, без копейки.
Кто за свечи нам заплатит,
За трезвоны эти?
Иль богатые писаки
В память о поэте?
А по правде молвить (крикнул
Вдруг оратор с жаром),
Заболит от пенья глотка,
Если петь всё даром!»
Гей вы, деды! Гей, старухи!
У сырой могилы
Слабым голосом воскликнем,
Сколько хватит силы:
Requiescat! .. Пусть на небе
Он отраду встретит,
Пусть хоть там — кричите, дети! —
Солнце правды светит!»

<1867>

ЯМЩИК

Мы пьем, веселимся, а ты, нелюдим,
Сидишь, как невольник, в затворе.
И чаркой и трубкой тебя наградим,
Когда нам поведаешь горе.

Не тешит тебя колокольчик подчас,
И девки не тешат. В печали
Два года живешь ты, приятель, у нас, —
Веселым тебя не встречали.

«Мне горько и так, и без чарки вина,
Не мило на свете, не мило!
Но дайте мне чарку; поможет она
Сказать, что меня истомило.

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, водилась силенка.
И был я с трудом подневольным знаком,
Замучила страшная гонка.

Скакал я и ночью, скакал я и днем;
На водку давали мне баря,
Рублевик получим и лихо кутнем,
И мчимся, по всем приударя.

Друзей было много. Смотритель не злой;
Мы с ним побраталися даже.
А лошади! Свистну — помчатся стрелой...
Держися, седок, в экипаже!

Эх, славно я ездил! Случалось, грехом,
Лошадок порядком измучишь;
Зато, как невесту везешь с женихом,
Червонец наверно получишь.

В соседнем селе полюбил я одну
Девицу. Любил не на шутку;
Куда ни поеду, а к ней заверну,
Чтоб вместе пробыть хоть минутку.

Раз ночью смотритель дает мне приказ:
«Живей отвези эстафету!»
Тогда непогода стояла у нас,
На небе ни звездочки нету.

Смотрителя тихо, сквозь зубы, браня
И злую ямщицкую долю,
Схватил я пакет и, вскочив на коня,
Помчался по снежному полю.

Я еду, а ветер свистит в темноте,
Мороз подирает по коже.
Две версты мелькнули, на третьей версте...
На третьей... О, господи боже!

Средь посвистов бури услышал я стон,
И кто-то о помощи просит,
И снежными хлопьями с разных сторон
Кого-то в сугробах заносит.

Коня понукаю, чтоб ехать спасти;
Но, вспомнив смотрителя, трушу,
Мне кто-то шепнул: на обратном пути
Спасешь христианскую душу.

Мне сделалось страшно. Едва я дышал,
Дрожали от ужаса руки.
Я в рог затрубил, чтобы он заглушал
Предсмертные слабые звуки.

И вот на рассвете я еду назад.
По-прежнему страшно мне стало,
И, как колокольчик разбитый, не в лад
В груди сердце робко стучало.

Мой конь испугался пред третьей верстой
И гриву вскосматил сердито:
Там тело лежало, холстиной простой
Да снежным покровом покрыто.

Я снег отряхнул — и невесты моей
Увидел потухшие очи...
Давайте вина мне, давайте скорей,
Рассказывать дальше — нет мочи!»

<1868>

ВОРОН

(Литовская песня)

Знаю, ворон, твой обычай:
Ты сейчас от мертвых тел,
Ты с кровавою добычей
К нам в деревню прилетел.
Где же ты гулял по свету?
Где, кружась над мертвецом,

Ты похитил руку эту,
Руку белую с кольцом?

«Все скажу тебе, невеста,
Не таяся пред тобой:
За горами это место,
Где кипел жестокий бой.
Много в нем легло убитых,
Пораженных наповал,
Да и ранами покрытых
Я немало заклевал.
Пир кровавый, пир богатый
Буду помнить целый век!
Но пришел туда с лопатой
Ненавистник-человек.
Он прогнал меня насилу
И, спасая от зверей,
Закопал в одну могилу
Мертвецов-богатырей.
Волки их теперь не тронут,
И в могильной тишине,
На курган упавши, стонут
Только матери одне».

Кровь прихлынула к сердечку,
Пошатнулась я слегка:
Я узнала по колечку,
Чья у ворона рука.

<1868>

ЗДРАВИЦА

Гуляй, душа! Жизнь хороша,
        Когда мы все хмельны.
Что есть в печи, на стол мечи, —
И бедняки и богачи
        За чаркою равны.
О чем тужить? .. Начнемте жить
        Без горя, веселей!
А чтобы горе утопить,
Давайте пить, давайте пить!
        Сосед, еще налей!

Плоха земля. У нас поля
    Засохли без дождя.
«Побольше свету! Меньше тьмы!» —
Об этом робко просим мы
    Небесного вождя:
«Небесный вождь, пошли нам дождь,
    Ручьем его пролей!»
Чтоб злое горе утопить,
Давайте пить, давайте пить
    За честь родных полей!

Стоит весна: но не красна
    Нам жизнь и в вешний день:
Земля — как твердая скала,
Нет даже корму для вола, —
    Он ходит, будто тень.
Устал наш конь. Его не тронь,
    Не то падет — беда!
Чтоб злое горе утопить,
Здоровье ваше будем пить,
    Родимые стада!

От неудач, бедняк, не плачь,
    Стой твердо пред бедой,
Железом, сталью закались
И жгучим горем поделись
    С невестой молодой!
Но где ж она? — Погребена...
    Над ней сосновый крест...
Чтоб злое горе утопить,
Давайте пить, давайте пить
    За здравие невест!

К друзьям иди, на их груди
    Согрейся, отдохни!
Но отвернулись все друзья,
И, будто важные князья,
    Грош кинули они.
Ты этот грош в карман положь,
    На память им владей...
Чтоб злое горе утопить,

Давайте пить, давайте пить
За дружество людей!

. . . .

И вот еще так горячо
Я песенку сложил, —
Сложил ее в ночную тьму,
И сам не ведаю, кому
Я ею услужил.
Она со мной, в душе больной,
Жила уже давно...
Чтоб эту песню заглушить,
Пора до капли осушить
Проклятое вино.

4 марта 1875

ДЕРЕВЕНСКАЯ ШКОЛА

(Рассказ)

1

На конце села у нас новости творятся,
И не знают старики: плакать иль смеяться?
Строят домик; невелик, да и невысок он,
В нем еще и печки нет, нет еще и окон;
Рамы сложены в углу, стен не побелили,
А уж плотники давно лавки притащили,
И расставлены они будто для костёла.
Вот так чудо! Вот так раз! Это будет — школа.

2

Ну, уж новость! К добру или к худу она?
Всех ребят собирают за коим-то лешим!
Пан велел, ксендз велел, и велел старшина...
Так и быть! Пустячками начальство потешим.

3

Вызван из города *кто-то* сюда...
Словно метла у него борода.

В шапке огромной, в кургузом кафтане,
Курит бумажку, как трубку — крестьяне.
Барин? .. Не барин: не горд, без затей.
Наш брат-мужик? .. Не мужик: грамотей.
Не управитель, иначе — с издевкой
Стал бы гоняться за каждою девкой.
Шляется к пану и ксендзу; пока
Комнатку нанял в избе мужика.
Ест всё, что бог даст, не порознь от прочих;
С нами болтает, торопит рабочих,
Сам помогает, своим же трудом
Только мешает им выстроить дом.

4

Школа готова, и в домике милом
Ксендз в новой рясе явился с кропилом,
Стены обрызгал святою водой.
В школу согнали народ молодой.
И старики притащились сурово.
Молвил священник отличное слово.
Проповедь вот заключалася в чем:
«Землю когда-то осветит лучом
Солнце науки. . .» Мы разумом слабы,
Поняли мало, а бедные бабы —
Те. . . ничего, но ревели навзрыд:
Больно, дескáть, хорошо говорит!

5

Вот так школа! Просто чудо, не уступит городской.
На крыльце звонок прибили, голосистый он такой!
Детям выдали тетради, перья и карандаши,
Книжки разные, таблицы. Не ленись, читай, пиши!
Что-то будет? Матерь божья! Новичку на ум пришло
И обмыть всех замарашек, и остричь их наголо.
Близко светопреставленье! Паны спятили с ума.
Ксендз-добряк молиться учит — затихает кутерьма;
А *другой* толкует басни — дети с радости визжат,
А начнут читать все разом — стены новые дрожат.
Словом, эта наша школа — будто рынок вечерком,
В те часы, когда бывает целый рынок под хмельком.

6

Шестьдесят второй год этим
Делом служит миру честно.
Что еще мы дальше встретим —
Одному творцу известно.

7

Вот домой приходит паренек веселый.
Верно, он доволен деревенской школой;
Верно, похвалили, что урок знал твердо,
Выступает важно, рассуждает гордо:
— Я от ксендза слышал: «Хлопцы, ребятишки,
Вы — мужичьи дети, но любите книжки:
С помощью науки сильным быть не трудно...»
Если это правда, боже правосудный,
Если это правда, книг достану груду,
Утром, днем и ночью их читать я буду,
Всё уразумею, всё узнаю в мире,
Разрешу задачу: дважды два — четыре,
И писать я буду бойко, крючковато.
Кем же в свете белом сделаюсь тогда-то?
Мужиком остаться мне нельзя: науки
Пропадут напрасно, если буду руки
Топором мозолить, как отец мой бедный,
Если весь в лохмотьях, и худой, и бледный,
Поплетусь на страде за своей сохою,
Голод побеждая коркою сухою, —
Если мне придется гнать чужое стадо,
Выносить презренье... Не хочу! Не надо!

8

Лучше экономом сделаюсь, примерно.
Бить людей я буду... Нет, людей бить скверно!
Ну, так полюблю их; все мне будут братья,
Как писанье учит. Стану собирать я
На мои пирушки множество народу,
Наварю и браги, наварю и меду,
Отпущу усищи — что твои метелки;
У меня найдутся и бычки и телки;

Заведусь я тройкой бойкой, образцовой,
Также табакеркой заведусь свинцовой,
С кисточкою шапкой, щегольскою бричкой,
Наконец... и женкой, бабой-белоличкой.
Наряжу я в чепчик с кружевом голубку,
И куплю бабенке красненькую юбку,
И жена... ругаться будет без умолку
С муженьком день целый... В этом мало толку!
Что за экономство! Выберу я разом
Ремесло другое...

9

...Буду богомазом,
Как маляр Григорий. Он селенье наше
Удивил картиной. Нет картины краше!
Усачи, с мечами, близ господня гроба
Встали, да и дремлют, наклонившись, оба
В дорогих мундирах. (Не узнать, по чести,
Из сукна мундиры, а не то — из жести?)
На башках их — перья, розовые с белым.
Спящие солдаты живописцем смелым
Сделаны с изъянцем, слишком кривоноги...
А за то, что были с Иисусом строги,
Мучили жестоко, наносили раны, —
На одной вот ножке и стоят тираны.
Ништо им за это — злым, богопротивным!..
Решено: я буду живописцем дивным.
Я куплю отличных красок на полтину,
Синих, желтых, всяких, и мою картину
Размалюю ярко... Будет деревушка;
Будет там и церковь с кладбищем; избушка,
Где живет звонарь наш; будет речка с гатью;
Будет там и пашня с нашей благодатью —
Хлебом золотистым, где дышать привольней.
Голуби взовьются там над колокольней,
И березка станет лить благоуханье;
Зазвучит молитвой речки колыханье;
Зашумят елями дальних гор верхушки.
С полотна услышу нищей-побирушки
Вопли, лай дворняжек, ссору бабы с бабой
И ворчанье деда (дед седой и слабый).

Сверху же картины — утренние тучки;
В них — святая дева, и младенец ручки
К нашему селенью кротко обращает.
Он благословеньем детским освящает
Храм наш деревянный с ветхими крестами,
Нашу школу, поле с рожью и цветами,
И того, кто в поле мучится жестоко,
Будет ли он близко, будет ли далеко...

10

А там, за горою, чуть видною, в ряд
Уланы с значками, как вихорь, летят;
У каждой лошадки огонь из ноздрей.
Я также в уланы хочу. Поскорей
Окончу картину, и марш на коня,
И будет мундир золотой у меня.
Но дело не в золоте: я, для красы,
Усы отпущу, пребольшие усы.
Но дело не в них: как приеду домой,
Сверкнет на груди крест серебряный мой,
И сладко заплачет кормилец-отец,
А матушка скажет: «Каков молодец
Сынок ненаглядный, отрада моя!»
Толпой соберутся соседи, друзья,
И деды обнимут меня горячо...
Но если мне саблей разрубят плечо?
Но если, как трус, поклонившись ядру,
Я с поля сраженья тайком удеру?
Вот будет ужасный позор для семьи!
Вот будет мне стыдно! Уланы мои,
Вы счастливы, носите светлый мундир,
И вашею славой наполнен весь мир,
Да с вами как раз попадешься в беду!
Другую дорогу себе я найду.

11

Как распорядиться целой жизнью-веком?
Мне бы так хотелось быть лишь *человеком*!
Человеком — трудно, трудно — и уланом...
Что же долго думать? Буду важным паном,

Всем моим холопам прикажу рыть глину,
И за эту службу бедных не покину,
Награжу их вдоволь, выдам им подарки,
То-есть... поднесу я каждому две чарки,
И оброк убавлю для крестьянской голи.
Ну, потом приедет... архитектор, что ли,
И построит зáмок с башнями такими,
Что пугаться станут облака над ними:
Башни, значит, будут в некотором роде
Пугалом, что ставят летом в огороде.

. . . .

На господской страде мать моя однажды
Мучилась, томилась, умирая с жажды.
Я к ней шел с обедом (был обед сиротский —
Жидкая похлебка) и на двор господский
Завернул случайно, приглянулся пану.
Голову погладив нежно мальчугану,
Пан мне руку подал и повел, и всё мы
В замке рассмотрели... Чудные хоромы!
Что это за роскошь! Мягкие диваны
Золотой парчою обивают паны;
Зеркала большие — загляденье, право:
Подойдешь и дразнишь сам себя лукаво.
На стенах картины страшно дорогие:
Моются в купальнях барышни нагие.
Пол какой! А окна! Господи, мой боже!
Точно так устрою у себя всё то же:
Будут слуги, деньги, лошади, повозки
И большая трубка — целый ствол березки.
Говорить, как барин, стану, не по-хлопски,
Да и не по-польски... нет, а *по-европски.*
Никого не буду в целом мире слушать,
Буду марципаны с огурцами кушать,
Распивая вина, что стреляют пробкой...
Если же я встречусь с матушкою робкой,
Или брат мой младший, голодом томимый,
Скажет: «Барин, барин, помоги, родимый!» —
Я при этой встрече вспыхну, покраснею
И велю прогнать их, мать и брата, в шею...

12

Что я кощунствую грезой проклятой!
О, помоги, Иисусе распятый!
Матушка, братец, за гордость мою
Я на коленях пред вами стою!
Грешник — кровавой слезой обливаюсь,
Завтра во всем на духу я покаюсь.
Пусть шалуны, насмехаясь, браня,
Уличной грязью кидают в меня!
Дьявол попутал. Нечистая сила
В грезах далеко меня уносила
И погубила бы в адском ключе;
Песню *«О Лазаре и Богаче»*
Я распевал бы, терпя злую муку...
Нет, я для блага узнаю науку,
Ближних моих горячо полюблю,
Множество азбук для них накуплю,
Духовника разутешу тогда я;
Крепко обнимет меня он, рыдая;
Скажет он, слез не стираючи с век:
«Малый! Я вижу, что ты — *человек!*

. . . .

Делай своих односельцев *людьми,*
Заступ тяжелый скорее возьми,
Хоть и мудрец ты, ученый великий,
Но потрудися над нивою дикой:
Вместе со старою маткой своей
Поле отцовское свеклой засей,
Но среди свеклы брось семя иное,
Семя науки — на поле родное.
Скоро зародыши выдут потом...
Бог нас услышит, иди со Христом!»
Я полечу и, деревнею всею
Радостно встреченный, митом засею
Ниву родную... Друзья, подождем!
Под благотворной росой и дождем
Наши колосья духовного хлеба
Встанут высоко — до самого неба.
Все собирайтесь с окрестных сторон
К хлебу: досыта накормит вас он!

Мать и отец зарыдают... О боже!
Слезы такие алмазов дороже...
Книга (о, как полюблю я ее!),
Книга — мой труд и призванье мое...

Был я в мечтаньях, отдавшись расчетам,
Паном, уланом и кем-то еще там?
Буду хоть биться и мучиться век,
Всё же я буду *мужик-человек*.

<1876>

ПАУТИНА

Вьет паук тенета, над работой бьется,
Пустит нить по ветру — муха попадется.

Складывая песни, ты, поэт народный,
Уловляешь сердце мыслью благородной.

Ты, паук угрюмый, сеткою покрытый,
Ждешь своей добычи — мухи ядовитой.

Ты, поэт любимый, чудным даром слова
Заклеймишь позором человека злого.

<1877>

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ

Лежит здесь тело
Того, кто смело
Бил хлопов строго,
Пил водки много;
Любил он очень
И борщ, и сочень.
Поутру рано
Съедал барана,
А за обедом,
Вдвоем с соседом
Наполнив чрево,
Кричал он: «Дево!»

Являлась краля
Его сераля.
Он щурил глазки,
Дарил ей ласки
И звал к Морфею
Рабыню-фею...

Но вдруг — о боже! —
На смертном ложе,
В виду аптеки,
Заснул навеки.

Спи, бог с тобою! ..
Когда ж трубою
Архангел грянет, —
Покойник встанет.
В вниманьи чутком,
С пустым желудком,
Он молвит: «Нужен...
Бифштекс на ужин!»

<1877>

ВОЕВОДА

За пригорком, близ деревни старой и унылой,
Ждут поляки страшной сечи с басурманской силой:
Известили их шпионы, что в лихом набеге
Расположились татары близко на ночлеге.
«Гей, ребята, не зевайте! Лишь орду заметим,
Мы ее из-за пригорка молодецки встретим, —
И печальная деревня будет невредима:
Не войдут в нее бандиты, что пришли из Крыма.
Мы защитниками будем бедного народа! ..»
Так к дружине обратился польский воевода.

На походе люд военный рад повеселиться:
Гнева божьего не каждый на войне боится...
И фурманщики, и шляхта, за добычу споря,
Нанесли крестьянам бедным много, много горя:
Хлеб таскают из амбаров, а другим на ужин
Вол рабочий — вол кормилец и поилец — нужен;

Третьи девушек ласкают и, в ответ на слезы,
Рассыпают им побои, страшные угрозы...
И смеется до упада, посреди народа,
На его страданья глядя, польский воевода.

В то же время и татары в поле отдыхали:
Из ограбленной деревни стоны услыхали
И ворчат по-басурмански, и дрожат от злости:
«Это наши там гуляют дорогие гости!..
Сулейман-мурза, идущий впереди отряда,
Быстроглазый — всё увидит с первого же взгляда,
Чисто-начисто ограбит всё, что подороже, —
В разоренную деревню ехать для чего же?
Лучше мы спалим палаты, где — отец народа —
Поселился враг наш лютый, польский воевода...»

Шумно шляхтичи гуляют в деревеньке бедной,
Тихо по небу гуляет месяц страшно бледный.
К небу очи воевода обратил и вскрикнул:
«На коней! Мой замок пышет, — враг в него проникнул...»
Но пока примчалась шляхта в замок, супостаты
В прах и пепел обратили крепкие палаты.
Дворня верная убита, а степные кони
Увезли в полон хозяйку, не боясь погони...
На развалинах горящих плачет бич народа:
Это плачет и тоскует польский воевода.

<1877>

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

(Картинка)

Старая дева близ церкви жила,
Богу молясь понемножку,
И на потеху себе завела
Моську, соседа и кошку.
Славное, мирное было житье;
Время текло беззаботно.
Деву собачка и кошка ее
Слушались очень охотно.

Дева любила чесать язычок...
 (Правда, подчас, за рассказом,
Кошка, собачка и гость старичок
 Трое дремали все разом.)
Хитрый сосед был себе на уме:
 Он, соблюдая учтивость,
В руку зевал при соседке-куме,
 Ловко скрывая сонливость.
Если всхрапнет иногда, невзначай,
 Всё же ответит он метко.
«Так ли, сосед, говорю? Отвечай!»
 — «Так, дорогая соседка!»

— «Слушайте, друг мой! Асессор-ворчун
 Мне сообщил по секрету:
Земским судам зададут карачун;
 Всех их притянут к ответу.
С мертвого взятки готов получить
 Каждый, желая быть Крезом.
Нужно б таких лиходеев учить
 Палкой, дубинкой, железом!
Правду святую открыть вам могу,
 Тайны судейские зная.
Но... не хочу, никому ни гугу!
 Слишком некстати скромна я...
Здешний исправник с кого-то слупил;
 Дрянь и его писаришки:
«Игрек» неделю «мертвецки» всё пил;
 «Зет» проигрался в картишки.
Бог с ними! Пусть доживают свой век,
 Правдой и честью играя!
Дело известное: плут — человек,
 Это — не ангел из рая.
Лишь за собой я прилежно смотрю,
 А за приказными — редко...
Так ли, соседушка, я говорю?»
 — «Так, дорогая соседка!»

— «Сплетни болтают у нас без стыда.
 Как только лгать не устанут!
Слушаешь, слушаешь... Просто беда —
 Уши краснеют и вянут.

Барыня купит красивый чепец
И на затылок напялит, —
Люди увидят — и делу конец:
Барыню сплетня ужалит.
Сплетня по свету бежит, как волна,
Тайный грешок обнаружа.
«В новый чепец нарядилась жена
Не для рогатого мужа.
Нрав у нее неприличный, декáть!» —
Молвят все кумушки хором.
Станут любовника зорко искать,
Ночью и днем, под забором.
Это — ошибка. Какой тут забор!
Вам доложу без огласки:
Барынька эта, явившись в собор,
Франтикам делает глазки.
Впрочем, ее за грехи не корю:
Это — простая заметка...
Так ли, соседушка, я говорю?»
— «Так, дорогая соседка!»

— «Сгинь, пропади, клевета-болтовня!
Я задыхаюсь от злости.
Сплетни сдавили всю грудь у меня,
В горле стоят, будто кости.
Сплетни, исчадье мирской суеты,
Рада бы вас не слыхать я!
Все говорят, что симвóл чистоты —
Девичьи белые платья...
Скромность! Невинность! Вчера, за стеной,
Белое платье мелькало.
Верно, мужчину, отец мой родной,
Платьице это искало?
Глазки так чисто, так ясно горят,
Светом невинным блистая...
Просто — Мадонна! Однако навряд
Это — мадонна святая?
Знаем мы этих невинностей, да!..
Если, соседушка милый,
Ты мне убавишь немножко года
Чудной, волшебною силой, —

Эту кокетку легко усмирю,
    Спрячется в угол кокетка...
Так ли, соседушка, я говорю?»
    — «Так, дорогая соседка!»

— «Славить, хвалить не желая себя,
    Вспомню о прошлом, о старом.
Юноши, пылко меня полюбя,
    Просто горели пожаром.
Я издевалась над ними; они
    Гордость мою уважали;
Но — промелькнули цветущие дни,
    Все женихи убежали.
Где женихи? Костылями стучат
    (Стук костылей неприятен!)
Или качают детей и внучат...
    (Свет современный развратен!)
Верьте, голубчик, что нынешний свет
    Душу для девочек губит;
Кроме вакханок шестнадцати лет,
    Он никого не полюбит.
Нынешний свет не браню, не виню...
    Скромно спрошу: для кого же
Я, как весталка, с любовью храню
    Чистое девичье ложе?
Я, потерявшая в жизни зарю,
    Волосы крашу нередко...
Так ли, соседушка, я говорю?»
    — «Так, дорогая соседка!»

— «Ложь, клевета! Старикашка ты сам!
    Это тебе не простится.
Буду, в угоду святым небесам,
    Долго, усердно поститься.
Буду молиться всю ночь напролет,
    Слова не молвлю худого.
В виде награды создатель пошлет
    Мне жениха молодого.
Буду красивей, любезнее всех,
    Вкус мой изящен и тонок.
Я подыму непременно на смех
    В танцах негодных девчонок.

Нынче я стала, живя с простотой,
Немощной, слабой, убитой...
Но (между нами!) Антоний святой
Будет моею защитой:
Юность и свежесть он мне сохранит,
Снова румянчиком вешним
Вспыхнет поблекшая прелесть ланит —
В пику красавицам здешним.
Снова себе женихов покорю,
Страшная буду кокетка...
Так ли, соседушка, я говорю?»
— «Так, дорогая соседка!»

<1878>

СТРАНСТВУЮЩИЙ МУЗЫКАНТ

Дом мой в пепле лежит. Нет родных ни души.
А «она» уж другому себя отдала;
Я по свету брожу, собираю гроши...
Развеселая жизнь — тра-ла-ла, тра-ла-ла!

Я играю на флейте. До сердца, авось,
Доберусь твоего, — и заплатишь ты мне.
Всё что хочешь сыграю, лишь денежки брось,
И бери мои песни: продажны оне!

Я все чувства мои потерял на пути
И, мечтанья о прошлом в душе истребя,
Не отвечу: кто я и откуда? Прости:
Я... дешевый флейтист — и довольно с тебя.

В погребенье и свадьбу не буду в долгу:
Без улыбки и слез — музыкант неплохой —
Равнодушно, спокойно играть я могу
Похоронный ли марш или танец лихой.

За бесценок охотно тебе передаст
Много песен живых инструмент мой родной...
Только песню одну я играть не горазд,
Всё сыграю тебе, кроме песни одной.

Я когда-то ее пел с любовью, с тоской...
В это время кипела страсть в сердце моем...
Пел близ хаты родной, над свободной рекой,
Не один, не один: пел тогда я вдвоем.

А какая та песня — уж дело мое,
Серебра за нее от тебя не беру:
Если ж сам запоешь эту песню — ее
Я припомню опять, запою... и умру.

<1880>

ЛУЧШИЙ СВЕТ

1

В толпе друзей и братьев жизнь приятна,
Как майский день; но есть одна беда:
Поэзия для многих непонятна,
А иногда доводит... до суда.
«Приятели» за труд святой, прекрасный
Обнимут вас предательски. Они
Шепнут толпе: «Вот человек опасный!
За песенки распни его, распни!»
И повлекут служители Голгофы
Невинного писателя на суд;
А на суде за пламенные строфы
Ему венок терновый поднесут.
Мучение такое мне известно:
Суров, жесток слепой толпы привет;
Но верится спокойно, смело, честно,
Что бог меня направит в лучший свет.

2

Под тучами слабей я робкой лани.
Я — не герой, сражаться не пойду.
Мое перо давно засохло в длани,
Покорное суровому суду.
Опять беда! Кричат в толпе безумной:
«Зачем душа поэта холодна?

Зачем в душе источник светлый, шумный
Исчерпан весь и осушен до дна?
Зачем с тоской он выплакал все слезы
И в крепком сне сурово хмурит бровь?»
Нет, братья, нет! Не сплю я, но морозы
В моей душе обледенили кровь.
Лишь кончится мороз суровый, гневный,
Лишь солнышко мир озарит лучом,
Вновь песенку из глубины душевной
Пролью для вас живительным ключом...
Наш мир велик, но в нем «славянству» тесно.
Брат-славянин выносит много бед;
Но верит он спокойно, смело, честно,
Что бог его направит в лучший свет.

3

Поэзия! В славянстве слаб твой голос,
Немеешь ты! Но, братья, подождем:
Вновь оживет она, как павший колос,
Увлажненный спасительным дождем.
Как жадно я стремлюсь душой к рассвету!
Но всюду мрак. В славянстве всё темно;
Над мраком же славянскому поэту
Шутить нельзя: бесстыдно и грешно!
Избави бог меня от злобных шуток
Над слепотой и глухотой людской!
Не выпущу я песенок-малюток,
Навеянных славянскою тоской.
К страданиям славян я слишком чуток,
И не пойду к ним с песнью шутовской.
Быть паяцом пред немцами нелестно,
Смешить врагов во мне охоты нет;
Но верится спокойно, смело, честно,
Что славянин увидит лучший свет.

4

Ох, песенка — «соха моя святая»,
Как тяжело в душе славян пахать!
Зарницею в глухую ночь блистая,
Ты не должна лениво отдыхать.

В «славянский сон» не верю. Это — басни...
Ох, песенка, звучи по старине!
Господь с тобой! Живи и не угасни,
И возвратись, желанная, ко мне!
Ни уксусом, ни желчью, ни водою,
Невинная, тебя не напою.
Будь матерью-славянкой молодою
И тихо спой мне: «Баюшки-баю!»
Под песенку я задремлю чудесно,
С надеждою, что в мире злобы нет,
Что целый мир спокойно, смело, честно
Когда-нибудь увидит лучший свет.

2 марта 1889

НЕ Я ПОЮ

Nie ja śpiewam, lecz duch boży,
Który piosnkę we mnie tworzy...

Сырокомля

1

Не я пою, но божий дух;
Во мне творит он песни вслух.
Он, милосердый, и в ночи
Бросает в грудь мою лучи,
И мне при них светлей, теплей,
И в душу я беру смелей
Всё, что прекрасно для души, —
И гармоничны, хороши
Выходят звуки; их в тиши
Слагает бог своей рукой...
Но грудь моя звучит с тоской,
Как струны арфы... Тихо бью,
Бью со слезами грудь мою,
Пока настроится она
И — вдохновением полна —
Не зазвучит сильней, стройней.
...Так создается песня в ней!

2

Не я пою — народ поет.
Во мне он песни создает;
Меня он песнею связал,
Он ею сердце пронизал
И братски-нежно приказал
О зле и радостях в тиши
Петь по желанию души.
Народом песня создана,
И электрически она
На душу действует мою,
И я, бедняк, ее пою.
Я только эхо песни той
Святой, младенчески простой.
Я только ею грею кровь,
При ней лишь чувствую любовь.
Отрадно сердцу моему,
Когда к груди своей прижму
Десницу брата: под рукой
Трепещет грудь моя с тоской;
Но с верой в близость лучших дней
В груди становится вольней.
...Так создается песня в ней!

3

Не я пою — весь мир поет;
Во мне он песни создает,
И вижу я его красу
В родной реке, в родном лесу.
Когда они заговорят,
Когда помчится тучек ряд,
Когда вдруг ветерок порхнет —
С души спадет тяжелый гнет,
И я, открывши грудь мою,
Гостей сзываю и пою.
Мои мечты, слетев ко мне,
В моей душевной глубине
Не могут поместиться в ряд,
И беспорядочно шумят,
И веселят меня игрой,

Шумят-жужжат, как пчелок рой,
Пророчат много светлых дней,
И дышит грудь моя полней.
...Так создается песня в ней!

ВЕЛИКИЙ МУЖ

«Великий муж, — читаю я в газете, —
Отправился ad patres...»[1] Вот беда!
Что этот муж существовал на свете,
Не ведал я, клянусь вам, господа!
Богатые скрываются в могилах,
Но и туда, угаснув, вносят спесь;
А я, бедняк, покуда мыслить в силах,
Мечтаю так, что не угасну весь,
Что хоть денек после моей кончины
Я в песенках моих останусь жив,
Что вы, друзья, в минуту злой кручины
Припомните тоскливый их мотив.

Но, может быть, мечтаю я напрасно
И дерзостно? Простите мне, друзья!
Мечтать — не грех. Мечтают безопасно
И пахари, и гордые князья;
Мечтает тот, кто орошает потом
Свой тяжкий труд. Мечтает и богач...
Иди пешком, отдавшися заботам,
Или помчись в карете барской вскачь —
Не всё ль равно? Одной достигнешь цели,
Отправившись в сырую землю-мать,
С той разницей, что я в досках из ели
На кладбище улягуся дремать,
А ты уснешь, великих дел сподвижник,
Муж доблестный, под мраморной плитой!
А надо мной увесистый булыжник
Окажется близ сосенки густой.
Там — кипарис, а здесь — сосна.. Но вздохом
Безумно я не выражу тоски:
Булыжник мой покроется лишь мохом,
А мрамор твой рассыплется в куски.

[1] К праотцам (лат.) — *Ред.*

МОГИЛЬЩИК

Гроб стоит в костеле, и органа звуки
Слышны издалека. Нищих хор поет.
Пьяненький могильщик, опустивши руки
На тяжелый заступ, речи с ним ведет:
«Ты, почтенный заступ, служишь мне исправно!
И песок, и глина знают твой удар...
Раз... две... три... четыре... Вырыл ты недавно
Две могилы хлопам, столько же для бар.
И теперь скончался пахарь небогатый.
Знать, ему такая доля суждена?
Он ребят оставил: был мужик женатый...
Бедные сиротки, бедная жена!
Ну, да что бабенка! Знаем вдовье дело:
Молится и хнычет, а потом тайком...
Экой я философ! Рассуждаю смело,
Потому что, грешник, нынче... под хмельком.
Кто-нибудь, примерно, побродив по свету,
Кончится: могилу живо смастеришь...
Меньше человеком, человека нету, —
Кажется, потеря? А глядишь, барыш.
Божие подобье — человек разумный;
Так его не бросишь, как бросают скот...
И звонарь получит за трезвон свой шумный,
И на гроб, на свечи явится расход.
Ксендзу за молитвы попадет копейка,
Нам — за то, что яма вышла хороша,
Каждому — доходец... Смерть, хоть лиходейка,
А приносит людям пропасть барыша.
Что один теряет на земле с кручиной,
То другой находит: бог премудр и благ...
А в могиле тело сделается глиной;
Остов человека распадется в прах;
Змейка вкруг младенца обовьется нежно;
Мышь чрез ухо влезет в череп мудреца,
Съест мозги и деток выведет прилежно,
И довольна будет милостью творца.
Эх, кажись, я плачу?.. Молвлю без досады:
Не один же создан человек с душой!

Всемогущим также созданы и гады,
И они имеют аппетит большой.
Трупами людскими «ближний» поживится;
Прах и кости станут пылью гробовой,
А от этой пыли почва утучнится
И зазеленеет сочною травой.
Да травой ли только? .. Если был мошенник,
Если был покойник с ближними жесток,
На его могиле явится репейник,
А добряк-покойник вырастит цветок.
Деревцо красиво встанет на кургане, —
И оно годится для людских потреб...
Да и так бывает: бедные крестьяне
Всё кладбище вспашут и посеют хлеб.
Из зерна родится пышная пшеница...
Ох, как будет славно, хорошо, когда
На груди отцовской молодая жница
Свяжет сноп тяжелый, не боясь труда!
Что за важность, если труп мой червь изгложет?
О такой безделке я не хлопочу.
Если труп истлевший землякам поможет —
Вот моя награда! Вот чего хочу!
Я, бедняк, на бога слепо уповаю.
Смолоду я много пролил горьких слез,
И теперь, под старость, тело прикрываю
Рубищем, и зябну в зимушку-мороз.
Мне вчера так сладко, с умиленьем, с жаром,
Обещал священник, что за нищету,
За мое терпенье получу недаром
Славное местечко... там, на том свету́.
Боже! Наградишь ли, как сложу я кости,
Чудною наградой? .. Будет дар хорош,
Если мои кости внукам на погосте
Вырастят цветочек да густую рожь».

ЛАТИНСКАЯ ГРАММАТИКА

«В монастырь мне хочется! Я ищу святыни,
Но у нас все молятся только по-латыни.
Я ее не ведаю: как читать «Служебник»?
Дайте мне наставника, дайте мне учебник!»

Так я горько плакала. Мать с родною теткой
Старичка мне наняли. Ментор добрый, кроткий,
Бредит он Виргилием, месяцы и годы
Рад читать Горация пламенные оды.
Он меня, страдалицу, беспощадно мучит,
«Падежам», «склонениям» и «родам» всё учит.
— Это feminini [1] род, это — masculini. [2] —
Я ушами хлопаю от его латыни.
Начались спряжения. Я молчу упрямо,
Хоть убей, не ведаю, как спрягать мне «amo». [3]

Видят тетка с матушкой, что смотрю я букой,
Что никак не справлюся с хитрою наукой;
Польскую грамматику знаю — просто чудо,
А латынь мудреную male, ergo [4] — худо.
И решила матушка с теткой на совете:
«Верно, ей приходится жить в лукавом свете?
Верно, что в монашенки бедной не постричься?
У другого ментора нужно ей учиться.
Старичок старается, не щадя усилий:
Толку нет в Горации, плох его Виргилий!
Пригласить не лучше ли нам из-за границы
Доброго племянника, с пользой для девицы?
Он в науке опытен, курс начнет он прямо...
Пусть она внимательно с ним спрягает „amo"!».

Из Берлина в гости к нам Станислав примчался.
Разным чудным мудростям там он обучался.
Стройный и хорошенький, с черными усами,
Он диплом свой докторский развернул пред нами;
Он, как брат двоюродный, целовался нежно
И со мной наукою занялся прилежно.
Начались в учении новые порядки:
Сразу мне понравились книжки и тетрадки.
Я учусь старательно, живо по-латыни,

---

[1] Женский (лат.) — *Ред.*
[2] Мужской (лат.) — *Ред.*
[3] Люблю (лат.) — *Ред.*
[4] Плохо, следовательно (лат.) — *Ред.*

Отличу «род мужеский», ergo masculini.
Я сильна в спряжениях: без ошибки, прямо,
На зубок спрягаю с ним: «Amo! Amo! Amo!»

БЕДНЫЙ ДРОЗД

«Охотник, охотник, продай мне дрозда!» —
Так мальчик на рынке вскричал, подбегая
К стрелку...
Тот взглянул: рубашонка худа
На бедном ребенке...
«Продать не беда,
Да хватит ли денег? Ведь дичь дорогая! —
Ворчал он с презреньем. — У вас, голышей,
Я знаю, не много найдется грошей.
Два злота! Дешевле продать нет расчета».

— «Побойся же бога! Ты просишь два злота.
Я столько имею, стрелок, но теперь
Деньжонки мне нужны: мой брат, из пеленок
Едва только вышедший, бедный ребенок,
Без хлеба от голоду плачет, поверь.
Иду я за хлебом, а дальше — в аптеку:
Хворает и чахнет кормилица мать.
Не жить ей, страдалице, долгого веку!
Микстуру ей лекарь велел принимать —
Три ложечки в сутки, и дичью питаться...
Мой батюшка — слесарь. Злодейка-нужда
Его истомила, не буду скрываться...
За злот, ради бога, продай мне дрозда,
Иначе деньжонок в аптеку не хватит.
Тебе сам господь остальное доплатит».

Со смехом стрелок отвечает: «Ей-ей,
У матки твоей аппетит не по чину!
Не знал я, что жёны простых слесарей,
Как барыни, кушать умеют дичину.
Рецепт я имею, рецепт дорогой,
От всяких болезней; он стоит безделки:
Скажи, чтоб больная стаканчик-другой

Хватила веселой, целебной горелки...
Два злота, не меньше, тебе говорят!
Для нищих невыгодно тратить заряд».

— «Охотник, охотник, поди-ка сюда! —
Так барин в коляске вскричал торопливо. —
Что просишь, любезный, с меня за дрозда?»
— «Пять злотых, извольте... Не птица, а диво!»

— «Охотник, охотник, возьми полтора,
Я два заплачу! — торговался малютка. —
Мне некогда ждать, мне в аптеку пора.
Два злота даю, а ведь это не шутка!
Ты слово мне дал, свой товар оценя...»
А барин в коляске со злобой хохочет:
«Вот мило, вот славно! Мальчишка, он хочет,
Он смеет дичину отнять у меня».

— «Я милости требую, ясновельможный!» —
Воскликнул ребенок с тоскою тревожной.
«Какой? Для кого? Не могу я постичь...»
— «Позвольте истратить последний грош медный.
Позвольте купить мне для матушки бедной
Лекарство, ей нужное, свежую дичь.
Так лекарь велел...»
...Господин из коляски
Прищурил, с насмешкой, заплывшие глазки.
«Я, милый, с базара тебя не гоню,
Сыновнее чувство в тебе уважаю,
Но свежую, редкую дичь обожаю
И ею сегодня дополню *меню*.
Отличное блюдо! Оближешь все пальцы...
А вы, бедняки, вы — святые страдальцы,
Не можете прелесть дрозда понимать;
Для вас не годится роскошное блюдо,
Живется вам горько, живется вам худо!
Поди же, утешь ненаглядную мать,
Поди без дрозда, но с отличным советом,
Чтоб кушала борщ или жирные щи,
Прибавивши перцу немножко при этом,

И будет здорова зимою и летом,
А дичь не отдам ей... Pardon![1] Не взыщи!»

Стрелку бросив талер и взявши дрозда,
Он быстро умчался, доволен развязкой.
Ребенок, рыдая, бежит за коляской,
А кучер кричит: «Да куда ты? Куда?
Еще не доволен ты барскою лаской!
Так вот же тебе!» И ударил бичом,
И брызнула кровь из ребенка ключом.

Охотник смеется: «Какой ты неловкий!
Ты сам виноват, что попался в беду.
Ступай же домой со своей двухзлотовкой,
А я выпить водки стаканчик пойду».
Далеко коляска богатая скачет;
Стрелок распивает в трактире вино.
Сжав деньги в ручонке, ребенок всё плачет...
Как глупо он плачет! Как это смешно!

Что ж дальше случилось?.. Три гроба несут,
Явилися трое на праведный суд.
И слесарша в первом, некрашеном гробе
Лежит неподвижно, худа и бледна;
Не ей — истомленной, а важной особе
Дичина достаться была суждена.
Стрелок занимает вторую колоду:
Он сильно на барские деньги кутил
И душу из тела пустил на свободу,
Когда из ружья — прямо в сердце хватил.

Последнему гробу толпа удивилась:
Подобных гробов не видать никогда!
Особа, лежавшая в нем, подавилась,
Как лакомка, косточкой мелкой дрозда.
Особа под пышным покровом не дышит
И ждет, что свершится на страшном суде...
Там ангел правдивую повесть напишет:
«О бедном дрозде».

---

[1] Извините! (франц.) — *Ред.*

А.-Э. Одынец

ПЛЕННИЦА

(Литовская баллада)

Перестань же плакать, полька! Ты в руках моих!
Изволь-ка
Сесть на лошадь как-нибудь.
Будешь ты моей рабою. Я замешкался с тобою,
А далек и труден путь!

Заковавши пленных в цепи, наши всадники по степи
Ускакали впереди,
Не догнать их в чистом поле... И с тобою поневоле
Расплачусь я, погоди!

Но убью тебя, так кто же ляжет спать на брачном ложе,
Приласкавшися ко мне?
Есть у нас, в Литве, обычай, чтоб с красавицей-добычей
Возвращаться на коне.

Снова просишь робким взглядом. Всё напрасно!
Сядь же рядом,
Сядь со мною на седло!
Мы с богатством незнакомы; наши седла из соломы,
Но в избе у нас светло.

Дома — славные мы люди. Мой скакун лихой из Жмуди
Ждет, хозяйку полюбя;
А вечернею порою я от холода закрою
Волчьей буркою тебя.

И о чем же ты жалеешь? Ничего здесь не имеешь,
Всё исчезло без следа:
Дом родимый, дом отцовский подожжен рукой литовской, —
Оглянись, смотри сюда!

А! Ты плакать перестала, веселей, живее стала,
Кровь прихлынула к лицу;
Взоры к небу ты возносишь: проклинаешь, или просишь,
Или молишься творцу?

Девки — ветреное племя! .. Как она поспешно в стремя
Вдела ногу — и к огню
Мчится вихрем, вдруг спрыгнула, побежала, обманула...
Врешь! .. Стрелою догоню.

Осторожнее! Смотри же, пламя вьется ближе, ближе...
Удались! Прошу, молю...
Клятва страшная — залогом: я клянусь Перуном-богом,
Что люблю тебя, люблю!

На тебе одежда пышет... Сумасшедшая, не слышит!
Стой! Назад, сюда, ко мне!
Но она, поднявши руки, не пугаясь страшной муки,
Вдруг исчезнула... в огне.

<1877>

Ю. Словацкий

ПЕСНЯ ИЗГНАННИКА

Малютка, стихов у меня не проси!
Изгнанник, я музе не внемлю.
Домой без меня возвратясь, ороси
Слезами родимую землю.

Там вырастет быстро цветок голубой,
Простой колокольчик. Чудесней,
Отрадней меня зазвучит он с тобой
Родною славянскою песней.

Малютка, стихов для тебя не создам!
Все песни изгнанником спеты.
За песнями ты обратися к звездам:
Они говорят, как поэты.

Пока звезды блещут для нас с высоты,
К небесным прислушайся хорам.
Пока не засохли родные цветы,
Прислушайся к их разговорам.

Блестящие звезды с далеких небес
Тебя наградят дивной сказкой,
И лес всеславянский, дремучий наш лес
Малютке поклонится с лаской.

Когда-то был чистым младенцем я сам,
Но злобой мой дух омрачился.
Когда-то в мечтах, обратясь к небесам,
У звездочек петь я учился.

Когда-то я сам над рекою родной
Ребенком пел песни без злости;
Но волей судьбы и народной волной
Умчался далеко я в гости.

Я еду всё дальше. Страдать я готов...
Когда же вернешься сама ты,
С собой привези мне от наших цветов
Чудесные их ароматы.

Блеск звездочек наших доставь мне с тоской,
В замену духовного хлеба;
Ко мне прилети лучезарной, такой,
Как будто слетела ты с неба!

М. Конопницкая

ПРИЗЫВ

Не приходи ко мне поутру, в ясный день,
Когда цветут под майским небом розы.
Не приходи ко мне поутру, в ясный день,
Я на чело твое тогда наброшу тень
И вызову нерадостные грезы.

Но приходи ко мне поутру, в грустный час,
В морозный день, осенний и туманный.
Но приходи ко мне поутру, в грустный час.
Пусть небо бледное тогда закроет нас
Одеждою своей, из мглы сотканной.

Не приходи ко мне в дни счастья и любви,
    Когда подобна жизнь пылающей Авроре.
Не приходи ко мне в дни счастья и любви,
Когда огонь-пожар затеплится в крови
    И вспыхнет грудь, волнуясь, словно море.

Но приходи ко мне смиренно в час ночной,
    Когда роса холодная ложится.
Но приходи ко мне смиренно в час ночной,
Когда в груди моей, иссохнувшей, больной,
    Лампада жизни, догорев, затмится.

Приди, приди ко мне под гнетом мрачных дум
    На кладбище, в час полночи унылой.
Приди, приди ко мне под гнетом мрачных дум
И вслушайся душой в баюканье и шум
    Дремучих елей над моей могилой.

<1895>

В. Гомулицкий

ЗАГАДОЧНЫЙ ОГОНЕК

Только что сумрак вечерний настанет,
Вдруг огонек у соседа в окне
Звездочкой вспыхнет и тайно ко мне
Чрез занавеску, сверкая, заглянет.
Лампа не гаснет всю ночь напролет,
То потухает и слабо трепещет,
То, разгоревшись, загадочно блещет...
Кто же привет мне таинственно шлет?
Как отгадать тайну странного блеска?
Тайну скрывает кусок полотна:
Спущена низко в окне занавеска,
И не колышется ветром она.

Может быть, там поседевший философ
Мудро решает один из «вопросов»:
«Истина где? На тернистом пути
Можно ли эту святыню найти?»

Над фолиантом ли старым он дремлет?
Звезды ль считает, как древний халдей,
И погибающих темных людей
Видеть не хочет, их стонам не внемлет?..
Истина — в бедности, жалкий чудак!
Верь, что она пред дворцом не слукавит
И, озарясь огоньком, не оставит
Ради палат свой угрюмый чердак.

Может быть, это швея молодая
Шьет подвенечный наряд дорогой,
Не для себя — для невесты другой,
Розой поблекшей сама увядая?
Чрез занавеску мне видятся грезы:
Бледное личико жгут и палят
Адским огнем безотрадные слезы...
Мать и отец ей трудиться велят:
«Грешница! Ты наградила нас внучкой...
Если умела любить и грешить,
Так не сиди госпожой-белоручкой, —
Плакать нет времени: надобно шить!..»

Может быть, это поэт благодушный
Борется с рифмой, ему непослушной?
Страстно в нее он влюблен, а она —
Рифма-шалунья — ему неверна...
Бог тебе нá помочь, милый коллега!
В лампе храни огонек и в груди, —
Лампа и жизнь догорят... Погоди,
Скоро и ты добредешь до ночлега!
Звонкою рифмой свой стон заглуша,
С рифмой в борьбе, как невольник, без силы
Спустишься ты с чердака — до могилы,
Но вознесется поэта душа!

Кто бы ты ни был, сосед неизвестный,
Я обращаюсь с любовью к тебе!
Пусть огонек твой таинственно-честный
Нам маяком будет в грустной судьбе.
Станем молиться с надеждою сладкой
И пред иконой с грошовой лампадкой,
И перед люстрою с сотней огней,

И перед солнцем — властителем неба:
«Дай нищете и свежей и полней
Новые всходы духовного хлеба!
Красное солнышко, в темные дни
Ты на чердак хоть тайком загляни!»

СМЕРТЬ МАТЕРИ ЮГОВИЧЕЙ

(Сербская легенда)

Пало девять Юго́вичей на Коссовом бранном поле,
Пал Богдан Юга́, отец их, не хотевший жить в неволе,
И вдова его у бога просит милости: «О боже!
Взял ты, боже, у вдовицы всё, что в мире ей дороже...
Но, взамен родимых деток, дай мне очи соколины,
А взамен Богдана-мужа, дай мне крылья лебедины:
Белой лебедью тогда я полечу на поле битвы,
Сотворю по убиенным задушевные молитвы».

И услышал бог прошенье: дал ей очи соколины,
Чтобы деток распознала посреди большой долины.
И вдовице Юговице лебединые дал крылья,
Чтоб слетала на Коссово быстрым лётом, без усилья.
И старуха прилетела... Там лежали, для добычи
Черных воронов, ребята — молодые Юго́вичи.
И нашла старуха мужа, седовласого Богдана.
На груди его чернела, как пятно, большая рана.
В головах у мертвых в землю копья воткнуты стальные,
А на копьях, присмиревши, сокола́ сидят ручные.
Добры кони боевые с трупов глаз своих не сводят;
Девять львов, вскосматив гривы, настороже тихо бродят.
И, заметивши старуху, сокола все закричали,
Кони жалобно заржали, львы сердито зарычали, —
Зарычали так, что поле зашаталось, задрожало,
Даже вздрогнуло всё войско, что на поле там лежало.

Но старуха Юго́вица не дрожала от испуга:
Сыновей перекрестила и седого мужа-друга;

Не роняла слез напрасно, затаив тоску-кручину,
Но проклятие послала зверю лютому — турчину;
Соколов взяла сыновних, и коней, и львов сердитых,
И пошла в свою деревню, помолившись об убитых.

Как старуху увидали снохи, вдовы молодые,
Застонали, причитая: «Верно, весточки худые?»
И, в ответ на их расспросы, сокола вдруг закричали,
Кони жалобно заржали, львы сердито зарычали.
Но старуха промолчала, не сказала ни полслова,
И легла в опочивальне — молчалива и сурова.

Наступила ночь глухая. Все уснули. Громко, рьяно
Вдруг заржал в сарае бурко, конь убитого Демьяна,
И старуха Демьянйце тихо молвила: «Скажи-ка,
Отчего ржет добрый бурко так пронзительно и дико?
Может быть, нужна лошадке золотистая пшеница?
Может статься, поленилась молодая Демьянйца:
Не кормила лошадь мужа, и за крепкие удила,
Может быть, к студеной речке ты лошадку не сводила?»
— «Не кори меня напрасно, — отвечает Демьянйца. —
Не нужна коню лихому золотистая пшеница,
И водить его на речку, на студеную, не нужно,
И привыкнул конь к Демьяну и с хозяином жил дружно.
По ночам они скакали, догоняя злого турка, —
Потому-то без Демьяна и скучает ночью бурко.
Где хозяин мой? Поведай. Неужели я вдовица?»
И опять в ответ ни слова не сказала Юговйца.
А когда настало утро, поднялась она с постели,
К ней два ворона в окошко торопливо прилетели:
Человеческою кровью были крылья их облиты,
Человеческим же мясом обе птицы были сыты,
И в когтях они держали чью-то руку; на руке-то
Золоченое колечко с крупным яхонтом надето.
Прилетевши, эту руку положили злые птицы
На колени горемычной, поседевшей Юговйцы.

И она ее с любовью крепко к сердцу прижимала;
Прижимая крепко к сердцу, целовала, миловала,
И звала к себе невестку: «Гой ты, вдовушка-сиротка!
У меня для Демьянйцы есть богатая находка».
Демьянйца прибежала — и заныло в ней сердечко:

Узнает она, рыдая, золоченое колечко.
«Ох, свекровь моя родная! Лучше б жизнь моя скончалась.
Этим самым перстенечком я с Демьяном обручалась...»
А старуха причитает над сыновнею рукою,
Как над птенчиком голубка, с бесконечною тоскою:
«Ох ты, ручка дорогая! Ох ты, беленькое тело!
Как ты, беленькое тело, почернело, похудело!
Ох ты, милый мой сыночек, ох ты, дитятко родное,
Ох ты, яблочко без ветки — золотое, наливное!
Где росло ты, красовалось, доставляя мне заботы?
Не на яблони цветущей, на моей груди росло ты!
И тебя сорвали турки, обрекая нас неволе,
Не с грудей несчастной матки, а на чистом бранном поле. .
Девять яблочков всех было. Истребил их враг проклятый,
И убит Богдан мой старый: это будет уж десятый!
Я пойду за ними следом. Что увижусь с ними, верю, —
И пошлю мое проклятье в царстве божьем турке-зверю!»

1876

СКУТАРСКАЯ КРЕПОСТЬ

(Сербская легенда)

1

Печально, задумчиво царь Вукаши́н
По берегу озера ходит;
Он тяжко вздыхает и с горных вершин
Очей соколиных не сводит.
Хотел он твердыню построить вдали,
Опору для сербской прекрасной земли,
Но злая нечистая сила
По камню ее разносила.

Никто Вукашину не может помочь:
Работают все без измены,
Что сделают днем, то развалится в ночь —
Фундамент, и башни, и стены.
И зодчие, в страхе молитвы творя,
Толпами бегут за чужие моря:

Царь выстроить крепость торопит,
И головы рубит, и топит.

Скутарское озеро плещет волной
О берег со злобою дикой,
И вот выплывает сам царь водяной
И речь начинает с владыкой:
«Здорово, приятель, земной властелин!
К тебе выхожу из подводных долин,
Услугой плати за услугу
Любезному брату и другу.

Сердечно за то я тебя полюбил,
За то, Вукашин, ты мне дорог,
Что в озере много людей утопил:
По верному счету — сто сорок.
Тяжелым трудом разгоняя тоску,
Они мне построят дворец из песку,
И царство подводное наше
Блистательней будет и краше.

Запомни же ныне советы мои:
Несчастие можно исправить,
Лишь женщину стоит из царской семьи
Живую в стене замуравить,
И будет твердыня вовеки сильна...
А есть у тебя молодая жена,
И братья твои ведь женаты...
Решайся, не бойся утраты!

И царь возвратился домой; на крыльцо
Идет он, как прежде, угрюмый.
Но вдруг у него просияло лицо
Зловещею, тайною думой:
«Спасая от смерти царицу-жену,
Из братьев моих одного обману
И крепость себе над горою,
Сноху замуравив, построю.

Брат средний, Углеша, разумен, толков,
Не хуже меня лицемерит;
Но младший брат, Гойко, совсем не таков,
Он царскому слову поверит.

По силе он — витязь, младенец — душой,
И, нужно сознаться, хитрец не большой;
Его обману я, слукавлю,
Княгиню его замуравлю».

2

За царскими братьями едут гонцы:
Они потешались охотой.
Сваливши медведя, пришли молодцы,
Смущенные тайной заботой:
Зачем их призвали? Быть может, теперь
И царь Вукашин разъярился, как зверь,
Недавно убитый с размаху?
Быть может, готовит им плаху?

Но царь очень весел, сидит за столом,
Не морщит суровые брови,
Не учит придворных бичом и жезлом,
Не требует крови да крови.
И братья смиренно к нему подошли,
Ударили оба челом до земли
И робко промолвили разом:
«Явились к тебе за приказом».

«Приказ мой, о братья, храните от жен,
Храните до самого гроба!
Вы знаете, братья, чем я раздражен,
Какая свирепая злоба
Терзает мне душу, сосет, как змея:
Не строится горная крепость моя.
Казну золотую я трачу,
А вижу одну неудачу.

Известно мне средство исправить беду.
Но стоит великой утраты.
От вас послушания рабского жду, —
Нас трое, и все мы женаты,

И наши подруги цветут красотой:
Царица моя — словно месяц златой,
    Княгини — как звезды... Но вскоре
    Постигнет их лютое горе.

Из них кто пойдет на Баяну-реку,
    Домой во дворец не вернется,
Ее на ужасную смерть обреку:
    Живая в стене закладется.
И будет твердыня грозна и сильна.
Врагов в нашу землю не пустит она.
    Нам дороги жены... Но, боже,
    Прости нас! — отчизна дороже.

Ни слова об этом! Решит всё судьба:
    Кто завтра придет на Баяну,
Хотя бы царица — она мне люба,
    По ней сокрушаясь, завяну, —
Но первый, клянуся, возьму молоток
И буду безжалостен, буду жесток:
    Царицу в стене замуравлю
    И крепость над нею поставлю!»

Все трое клянутся молчанье хранить,
    Целуют святое распятье:
«Да будет над тем, кто дерзнет изменить,
    Вовеки господне проклятье!»
И братья поспешно ушли из дворца;
У них трепетали от страха сердца,
    А царь Вукашин усмехался,
    И ночью царице признался:

«Жена, не ходи на Баяну-реку,
    Домой во дворец не вернешься,
Тебя на ужасную смерть обреку:
    Живая в стене закладешься!»
И хитрый Углеша поведал жене,
Кто будет наутро заложен в стене.
    Лишь Гойко, поклявшись святыней,
    Молчал пред своею княгиней.

3

Вот утро настало. Царица к жене
    Углеши пришла и сказала:
«Невестушка, сильно неможется мне!»
    И — пальчик больной показала.
«Сходи за меня на Баяну-реку,
Обед отнеси моему муженьку».
    — «Охотно пошла бы, родная,
    Да ноги не ходят: больна я».

И младшей невестке такие слова
    Сказала лукаво царица:
«Сегодня болит у меня голова,
    Сходи за меня, Гойковица,
Сходи поскорей на Баяну-реку,
Обед отнеси моему муженьку».
    — «Царица, дитя не обмыто
    И платье мое не дошито».

— «Пустой отговоркой меня не серди,
    Племянника-князя умою
И платье дошью я... Поди же, поди
    К Баяне дорогой прямою!»
Смеясь Гойковица на жертву идет,
Дорогой веселые песни поет.
    И Гойко воскликнул, рыдая:
    «Пропала жена молодая!»

«О чем же ты плачешь, скажи, не таясь?» —
    Спросила княгиня. Рукою
Махнувши, ответил задумчиво князь:
    «Сегодня я шел над рекою
И перстень алмазный в нее уронил,
А как этот перстень был дорог и мил!»
    Смеется княгиня: «Так что же?
    Мы купим другой, подороже».

Ни слова в ответ. Опустивши глаза,
    Стоял он пред ней как убитый.
А к ним приближалась в то время гроза:
    Царь ехал с вельможною свитой.

С коня соскочивши, бежит он вперед,
Княгиню за белые руки берет,
Приветствует грозно, сурово:
«Сноха молодая, здорово!

Работники, плотники! Живо, сюда!
Где зодчий придворный мой Рада?
Тащите княгиню... Не много труда,
А знатная будет награда:
По-царски я вас серебром награжу,
Когда молодицу в стене заложу...».
И царь молотком потрясает
И гневные взоры бросает.

Княгине смешно показалось. Она
Бежит легконогою серной...
И думает: много хмельного вина
Хватил Вукашин благоверный!
Забавно княгиня играет, шалит,
Себя на закладку поставить велит, —
И вскрикнула весело, бойко:
«Простись же со мною, князь Гойко!»

4

И князь обнимает жену горячо,
Целует у бедной голубки,
Целует стократно, еще и еще,
И щеки, и глазки, и губки.
«Прощай навсегда, дорогая жена!»
— «Прощай, мой хороший!» — смеется она,
Не зная предсмертной печали...
Но вдруг молотки застучали.

И вот до колен заложили ее,
А всё Гойковица смеется
И верить не хочет в несчастье свое,
Стоит, как овечка, не бьется.

До пояса плотники бревна кладут,
Тяжелые камни княгиню гнетут.
    Тогда поняла Гойковица,
    Что сделала с нею царица.

Не стонет кукушка средь горных вершин,
    Не крик раздается орлиный,
То плачет княгиня: «Спаси, Вукашин,
    Мой царь, повелитель единый!
Здесь душно, здесь страшно в холодной стене...
Князь Гойко! Скорее на помощь к жене!»
    Стена подымается выше,
    А вопли всё тише и тише.

И зодчему Раде она говорит:
    «Оставь небольшое оконце,
Чтоб видеть могла я, как в небе горит
    Прекрасное сербское солнце.
Я буду смотреть на поля и луга
И землю родную стеречь от врага,
    Увижу, хотя на минутку,
    И милого сына-малютку».

И слезно она умоляет людей:
    «Прошу вас, жестокие люди,
Оставить оконце для белых грудей
    И вынуть две белые груди:
Пусть будет питаться, от дяди тайком,
Сынок мой Иова родным молоком!»
    И Рада, придя в умиленье,
    Исполнил ее повеленье.

Неделю в стене Гойковица жила
    И грудью младенца питала;
В восьмые же сутки она умерла
    И грустно пред смертью шептала:
«Сынок мой Иова! Навеки прости,
За мать Вукашину-убийце не мсти!
    Как сладко мне быть, умирая,
    Защитницей сербского края!»

5 мая 1876

ВЕСЕННИЕ СЕРБСКИЕ ПЕСНИ

1

Жить без песни нельзя. Песни просит душа.
Звонко хочется петь, соловья заглуша,
Да боюсь звонко петь, голос робко дрожит:
Мой жених захворал, здесь в саду он лежит, —
Он услышит меня с молодым соловьем.
Если звонко в саду мы вдвоем запоем,
Оскорбится жених, что весной я пою,
И меня проклянёт, душу-любу свою,
Станет думать, что я не жалею о нем,
А мне жалко его темной ночью и днем.
Только лаской его я живу и дышу,
Думы только о нем в голове я ношу...
Так младенца-дитя на руках носит мать,
Но боится его целовать, обнимать,
Чтобы вдруг не проснулось в истоме, грустя,
На груди у нее дорогое дитя.

2

Замолчи, соловей голосистый,
Моего жениха не буди!
Он прокрался в мой садик тенистый
И уснул у меня на груди.
Усыпила красавца сама я,
И сама же его разбужу:
Тихо, нежно его обнимая,
Дикой розой ему пригрожу.
Осторожно шиповника веткой
Прикоснусь к дорогому лицу,
Запою, что с невестой-соседкой
Непритоже дремать молодцу.
Упрекну и за то, что он ранен
Не врагом, за свободу, в бою,
А весной истомлен, отуманен,
Покорился... певцу-соловью.
Не турецкий кинжал, а шиповник
Поразил так сурово тебя!
И проснется мой пленник-виновник,
И меня, и свободу любя.

Д. Якшич

ДВЕ ДОРОГИ

Предо мною две дороги, два пути:
На одном — цветы, терновник — на другом.
По которому же должен я идти,
Чтобы встретиться с противником-врагом?

Первый, легкий путь тому я уступлю,
У кого скользит изнеженно нога.
Я — не женщина! Я ноги наколю,
Но достигну, за терновником, врага!

Б. Радичевич

К МОРАВЕ

Ой, Морава-реченька, ты к чему б годилась,
Если бы по Сербии милой не струилась?
Серб, мой брат страдающий, для чего годится,
Если сердце храброе в нем не станет биться?
Что и сердце храброе, если руки слабы,
Если саблю острую держат хуже бабы?
Что и сабля острая значит без эфеса? —
Всё равно, что сосенка без густого леса.
Да и лес — славянский лес — будет ли чудесен,
Если в нем не слышится звонких братских песен?
Что и песни звонкие, если у поэта
Сердце не откликнется чутко для ответа?
Что и сердце чуткое, если нет свободы,
Если в рабстве сгинули молодые годы?
Да зачем и молодость без души-девицы?
Для чего и девушки, злые чаровницы,
Вьют венки из цветиков, думая о муже?
Будут ли красавицы без веночков хуже?
Вырастут ли цветики без росы жемчужной
Под покровом ноченьки непроглядной, южной?

Улыбнутся ль цветики, аль с усмешкой горькой
Снова повстречаются с утреннею зорькой?
А без брата-солнышка что бы с зорькой стало?
А без неба солнышко где бы обитало? ..
Небо мое сербское, родина святая!
Для тебя сложилася песенка простая.

П. Прерадович

ДВА СЕРДЦА

Волнуется синее море,
А по морю лодка плывет;
А в лодке — на счастье и горе —
Два сердца стремятся вперед.
Два сердца сливаются в душу
Одну — навсегда, навсегда;
Им хочется выплыть на сушу,
Но вместе им смерть — не беда!
И храброе сердце всё стонет:
«Мне страшно! Раскатистый вал
Нас к берегу — в рабство — пригонит
Иль в море убьет наповал. . .»
А робкое сердце смеется:
«О чем же, мой милый, тужить?
И в рабстве проклятом придется
С тобою мне весело жить!»

ЗВЕЗДНЫЙ ХОРОВОД

На лазурном небосводе
Звезды ходят в хороводе;
Все столпились в тесный ряд
И о страннице печальной,
О Земле многострадальной,
Робко, нежно говорят.
Тихо молвила Денница:
«Наша бедная сестрица
И печальна, и темна, —

Не судите Землю строго:
У нее заботы много,
Истомилася она.

Сколько ног босых блуждает,
Твердой почвы ожидает
На мельчайшей из планет!
Сколько рук там крепких страждет
И работы алчет, жаждет,
А работы — нет как нет!

Сколько там сердец с любовью
Обливающихся кровью
И болящих за народ!
Не будите Землю! Тише!»
И, смотря на Землю свыше,
Разошелся хоровод.

И. Мажуранич

ГДЕ БУДЕТ ЛУЧШЕ, ПРИВОЛЬНЕЙ?

Старец, отец мой, рассказывал мне
    Правду-преданье такое:
«Раз поселилась в Босняцкой стране
    Чья-то старушка. В покое,
Смирно и честно старушка жила,
    В церкви святой и в мечети
Богу молилась; что скажет мулла,
    Верила слепо, как дети;
Верила также в ученье Христа
    С чувством горячим, примерным;
Всем помогала, добра и проста,
    Нашим и братьям-неверным.
Магометане и мы за «свою»
    Эту старушку считали.
— Кажется, баба играет «вничью»?
    Совесть у бабы чиста ли?
Дороги ей все друзья-бедняки...

Верит старуха в кого же? —
Вот и пришли к ней толпой босняки...
Видят предсмертное ложе,
Видят, что старица очень слаба,
Требовать стали ответа:
— Чья ты? Христа ли невеста-раба,
Или слуга Магомета?
Страшную тайну открой нам скорей!
Кто же твой прах похоронит:
Честный мулла или поп-иерей? —
Баба загадочно стонет:
— Трудный вопрос, так и быть, разрешу...
Все одинаково милы.
Выбрать местечко у всех я прошу
Для одинокой могилы;
Там, на границе, назначьте черту,
Там, где мечеть с колокольней...
Право, не знаю: на том-то свету
Где будет лучше, привольней?»

ПЫТКА

(Рассказ охотника)

Si *parva* licet componere *magnis*.
Virgilius[1]

Есть закон: «Не убей!» Но лесных голубей
Убивать безнаказанно можно...
Что случилось с одной бедной птичкой лесной,
Расскажу задушевно-тревожно.

Раз, на счастье мое, подстрелил я ее, —
Мне голубка законно досталась.
«Вурдалак», умный пес, мне «добычу» поднес,
А «добыча» слегка трепеталась.

Я — в душе не тиран, враг мучительных ран, —
Кончив пытку, свернул ей головку
И запрятал в ягдташ... Дело, значит, шабаш!
Значит, марш по домам на ночевку.

[1] Если малое позволительно уподобить великому. *Вергилий* (лат.) — *Ред.*

Возвращаюсь домой и смотрю... Боже мой!
Снова бьется добыча живая.
«Пустяки, не беда!» — усмехнулся тогда
Мой товарищ, «перо вырывая».

Я добычу свою отправляю к бабью
С приказаньем: «Зажарить, да живо!»
Вдруг кухарка бежит, от испуга дрожит...
«Добрый барин! Случилося диво:

Ведь голубка жива... У меня голова
Закружилась... Мученье какое!
Добивать не могу... Вы убийцу-слугу
Отыщите — состряпать жаркое...»

Вопли бабы простой, словно голос святой,
Просветили мне сердце и душу, —
И закон «Не убей» для лесных голубей,
Хоть казните меня, не нарушу.

Жертву я пощадил, аппетит победил...
(Сознаюсь, что ужасно я лаком.)
От ножа спасена, после пыток, она
Подружилась со злым «Вурдалаком».

В кабинете моем с бедной жертвой вдвоем
Забавляется пес, всем на диво:
То вильнет ей хвостом, то, в смиреньи простом,
Скалит зубы любезно, учтиво.

Если свистну опять, пес не бросится вспять:
Он задушит ее con amore [1]
На забаву убийц, для лесных голубиц
Жизнь — не правда ли? — вечное горе!

* * *

От светлого детства до темной могилы
Нам речи родные и сладки, и милы,
И каждый, готовясь на кладбище лечь,
Забудет чужую враждебную речь.

---

[1] С любовью (итальянск.) — *Ред.*

Поведаю вам о герое хорватском.
Служил он со славой, но в войске не братском;
Женился на немке, а немка жена
В венгерцев и швабов была влюблена.
Решила она, что язык наш хорватский —
Язык безобразный, мужицкий, солдатский;
Велела сурово жестокая мать,
Чтоб дети не смели отца понимать,
Внушила им речью немецко-венгерской:
«Славяне — народ и безумный и дерзкий!»
...В семье генерал был и кроток, и слаб,
Смиренно жене покорился, как раб.
Почтенный служака заботился мало,
Чтоб «речи славянской» семейство внимало
Любовно и дружно...
...Старик генерал
На ложе страданий лежал, умирал,
К славянскому сердцу славянские руки
Прижал — и забыл иноземные звуки.
Он мучился страшно; он помнил одно,
Что был славянин, что когда-то давно
От няни-старушки он слышал украдкой
Славянские песни над детской кроваткой...
Враждебные звуки не шли с языка...
Какое мученье! Какая тоска!
Ребята болтают, в слезах, по-венгерски...
Старик застонал по-славянски: «Вы дерзки,
Вы глупы! Не гнитесь пред венгром в дугу!
Ни венгров, ни швабов понять не могу.
С молитвой славянской в могилу рад лечь я,
Забыв пред кончиной чужие наречья...»

Не поняли дети родного отца.
Он тайну свою сохранил до конца
И умер со стоном, с мучительным криком,
И что-то шептал о «Славянстве» великом;
А что он шептал, разгадать мудрено...
Быть может, твердил завещанье одно:
«От светлого детства до темной могилы
Нам речи родные и сладки, и милы,
И каждый, готовясь на кладбище лечь,
Забудет чужую враждебную речь!»

ЕММЕРИКА И КОИТ

(Эстонская песня-легенда)

У творца в его палатах слуги верные живут:
Еммерикой и Коитом их по имени зовут.
В первый раз, когда свершило Солнце путь свой
в небесах,
Повелел бог Еммерике быть у Солнца на часах:
«Ты смотри за ним, как нянька, на руках его носи,
Убаюкай и до утра огонек в нем загаси!»
Утром бог сказал Коиту: «Ты, красавец, не забудь
Разбудить пораньше Солнце и отправить снова в путь!»

В небесах гуляло Солнце и холодною зимой
Торопливо возвращалось на покой к себе домой,
И тогда Коит от стужи Солнце нежно сберегал:
Он небесного гуляку поздним утром зажигал.
Но весна пришла, и Солнце раньше начало вставать
И позднее спать ложилось на воздушную кровать.
Чуть задремлет сладко Солнце, удалившись от Земли,
Пестун вмиг его разбудит: «Встань, сонливец,
не дремли!
Три часа прошло, как полночь на погосте бил звонарь.
Отправляйся на прогулку, захвати с собой фонарь,
Освети скорей Землю, да не морщись, не ворчи,
Подари эстонцам бедным золотистые лучи!
В крепких замках спят бароны, а народ не спит давно;
Без тебя ему живется и тоскливо, и темно».

Солнце встанет. Солнце взглянет на эстонские поля,
И ему в ответ любовно усмехается Земля,

Просит милости у неба, молит сжалиться над ней,
Дать ей больше-больше хлеба и свободных, светлых
дней.
Дни чем дальше, тем длиннее и теплее настают,
И Коит, и Еммерика спать светилу не дают.
Вот они и повстречались, и Вечерняя Заря
Отдала Коиту Солнце, ярким пламенем горя.
И Коит вдруг вспыхнул страстью. Страсть его была
чиста:
Он пожал невесте руку, целовал ее в уста.
И позвал их всемогущий во дворец свой неземной
И сказал: «Соединитесь, будьте мужем и женой!»
Зарыдали Еммерика и Коит перед творцом:
«Не желаем этой свадьбы, не стоять нам под венцом,
И без свадьбы мы друг другу не изменим никогда,
Пусть любовь святая наша будет вечно молода.
Женихом быть и невестой мы желаем от души,
Для свиданья же сходиться нам в июне разреши».
— «Хорошо! — сказал создатель, — впредь да будет
по сему!
Разгоняйте, вместе с Солнцем, на Земле людскую тьму!

С той поры, в июне светлом, в безмятежной тишине,
Зорьки сходятся, и нежно обнимаются оне,
И во время их свиданий, притаясь среди ветвей,
Упрекает Еммерику полуночник-соловей:
«Что ты, девушка, уснула у Коита на груди?
Что ты ночку замедляешь? Догори и пропади!
Уж давно пора светилу зажигать свой огонек,
Соловьям и добрым людям дать хорошенький денек».

О. Барбье

КОНЬ

О Франция! Во время мессидора,
Как дикий конь, ты хороша была,
Не ведала, что значит бич и шпора,
Стальной узды носить ты не могла.

Ничья рука к тебе не прикасалась,
Чтоб оскорбить лихого скакуна;
Под всадником враждебным не сгибалась
Могучая широкая спина.

Как хорошо, как девственно-прекрасно
Блистала шерсть, не смятая никем!
Подняв главу, ты ржала громогласно,
И целый мир был от испуга нем.

Но овладел скакуньею игривой
Герой-центавр: пленился он тобой:
И корпусом, и поступью, и гривой.
Сел на тебя... И стала ты рабой!

Любила с ним ты разделять походы
При свисте пуль, в дыму пороховом,
И пред тобой склонилися народы,
Разбитые на поле боевом.

Ни день, ни ночь очей ты не смыкала,
Работала без отдыха с тех пор,
По мертвецам, как по песку, скакала,
В крови по грудь неслась во весь опор.

Пятнадцать лет, вззметая поколенья,
Носилась ты на кровожадный пир;
Пятнадцать лет в боях без сожаленья
Копытами давила целый мир.

Но наконец, без цели и предела
Устав скакать и прах в крови месить,
Изнемогла и больше не хотела
Топтать людей и всадника носить.

Под ним, дрожа, шатаясь, умирая,
Усталые колена преклоня,
Взмолилась ты; но бич родного края
Не пощадил несчастного коня.

На слабый стон он отвечал ударом,
Бока сдавил у лошади сильней,
И в бешенстве неукротимо-яром
Всю челюсть вдруг он сокрушил у ней.

Конь поскакал, но в роковом сраженьи,
Невзнузданный, свой бег остановил,
Упал, как труп, и при своем паденьи
Он под собой центавра раздавил.

18 августа 1867

П. Дюпон

ПЕСНЯ РАБОЧИХ

Мы все встаем поутру с петухами,
Когда, дымясь, мерцают ночники;
Мы, бедняки, питаемся крохами,
И свет дневной нас гонит в рудники.
Работают там плечи, ноги, руки,
С природою в убийственной борьбе;
Но ничего за тяжкий труд и муки
Под старость мы не сбережем себе.

Дружно, братья, станем в ряд,
Выпьем все из братской кружки!
Пусть палят во весь заряд
Истребительницы-пушки,
Посылая смерть народу!
Мы встаем,
Дружно пьем:
«За всемирную свободу!»

В глуби морской мы перлы собираем,
Из недр земли сокровища берем.
Мы сделали родную землю раем,
Но под землей, в аду своем, умрем.
За вечный труд какая нам награда?
Останемся мы сами ни при чем...
Ведь не для нас сок сладкий винограда,
Ведь не себя мы в бархат облечем.
Дружно, братья, станем в ряд,
Выпьем все из братской кружки!
Пусть палят во весь заряд
Истребительницы-пушки,
Посылая смерть народу!
Мы встаем,
Дружно пьем:
«За всемирную свободу!»

Безвременно, согнув в труде жестоком
Наш тощий стан, мы гибнем ни за грош.
Зачем наш пот бежит с чела потоком,
И нас зовут «машинами» за что ж?
Обязана земля нам чудесами;
Построили мы новый Вавилон.
Но пчеловод, насытившись сотами,
Рабочих пчел из ульев гонит вон.
Дружно, братья, станем в ряд,
Выпьем все из братской кружки!
Пусть палят во весь заряд
Истребительницы-пушки,
Посылая смерть народу!
Мы встаем,
Дружно пьем:
«За всемирную свободу!»

Презренного ребенка-чужестранца
Питает грудь несчастных наших жен,
А он потом — дитя штыка и ранца —
Стоит, в крови кормилиц погружен.
Он мучит их, тиранит, угнетает,
Нет для него святого ничего:
Себе за честь и славу он считает
Разрушить грудь, кормившую его.
Дружно, братья, встанем в ряд,
Выпьем все из братской кружки!
Пусть палят во весь заряд
Истребительницы-пушки,
Посылая смерть народу!
Мы встаем,
Дружно пьем:
«За всемирную свободу!»

И в рубищах, в подвалах наших бедных
Скрываяся, под гнетом торгашей,
Мы жизнь влачим из-за копеек медных
В сообществе нетопырей-мышей.
Они, как мы, друзья угрюмой ночи,
Они, как мы, не насладятся днем,
Хоть и у нас горят, как звезды, очи
И кровь кипит живительным огнем.
Дружно, братья, станем в ряд,
Выпьем все из братской кружки!
Пусть палят во весь заряд
Истребительницы-пушки,
Посылая смерть народу!
Мы встаем,
Дружно пьем:
«За всемирную свободу!»

И каждый раз, когда из нас струится
Кровь честная и обагряет мир,
Свободой мы не можем насладиться
И создаем из деспота кумир.
Побережем свои поля для хлеба,
А не для битв: *Любовь сильней войны!*
Мы будем ждать, когда повеет с неба
На всех рабов дыхание весны.

Дружно, братья, станем в ряд,
Выпьем все из братской кружки!
Пусть палят во весь заряд
Истребительницы-пушки,
Посылая смерть народу!
                    Мы встаем,
                    Дружно поем:
«За всемирную свободу!»

28 октября 1873

В. Гюго

МИЛОСЕРДИЕ

С грустной улыбкой отец мой, герой,
По полю битвы вечерней порой
Ехал тихонько с гусаром одним,
Храбрым рубакой, любимцем своим.
Вдруг, в полумраке, он стон услыхал:
Раненный насмерть испанский капрал
Полз по дороге, хрипя; говорить
Плохо он мог и твердил только: «Пить!»
Тронулось сердце отца моего...
«На, вот, напой-ка скорее его
Ромом из фляжки, мой добрый гусар!
Видишь ты, раненый слаб да и стар,
Верно, погибнуть ему здесь судьба...»
Тот поспеши́лся... Но вдруг «карамба́!»
Раненый вскрикнул — и шляпу отца
Сбросила пуля полумертвеца.
Как же отец мой ему отомстил?
С лошади слез он и... сам напоил.

<1864>

Г. Гейне

ТАМБУР-МАЖОР

Смотрите, вот старый служивый...
Как ныньче, бедняжка, он пал!
Во время Империи славно
Он пожил, везде погулял.

Бывало, он с длинною палкой
Идет молодец-молодцом,
Смеется... Нашивки мундира
На солнце сверкают огнем.

При громе родных барабанов,
Когда он входил в города, —
У девушек бились сердечки,
Все дамы твердили: «Беда»!

Летели в забавах чудесных
Часы, да какие часы!
И капали немочек слезы
Тогда на лихие усы...

Нам выпала грустная доля,
А счастье служило врагам:
Мужчин побеждал император,
Усач — наших миленьких дам.

Сносили мы всё терпеливо,
Как дубы отчизны родной,
Пока не велело начальство
Вступить нам с тиранами в бой.

Как бык на кровавой арене,
Подняли мы наши рога;
Мы Кернера песни запели
И свергнули иго врага.

Ужасные песни смутили
Тиранов, узнавших позор;
Бежал император в испуге,
Бежал и красавец мажор...

Судьба их казнила жестоко, —
Сам кесарь в неволю попал.
В руках англичан, на утесе,
Он долго и много страдал.

Он умер от рака в желудке...
Но бедный солдат не угас:
Забытый своими, он служит
Истопником в доме у нас.

Он печи нам топит, таскает
По лестницам воду, дрова,
И дышит с трудом, и трясется
Седая его голова...

А Фриц инвалида всё дразнит, —
Ему он достался на смех.
Эх, Фриц! Над минувшею славой
Смеяться великий ведь грех.

С такими людьми, как служивый,
Повежливей будь, молодец:
По матери — этот несчастный
Тебе, может статься, отец!

<1859>

СОН

(Средневековая легенда)

Мне снилася летняя ночь, и луна
Светила с небесной вершины;
Лежали в ее серебристых лучах
Времен Возрожденья руины.

В далекое небо обломки колонн
Смотрели — и горды, и смелы,
Как будто они вызывали на бой
Громовые страшные стрелы.

Валялись остатки разбитых фигур —
Центавры, сатиры, химеры;
Там зверь с человеком был смешан давно
В издельях языческой веры.

Средь жалких развалин стоял саркофаг,
Весь целый, работы искусной,
И в мраморном гробе мертвец почивал
С улыбкой болезненно-грустной.

И, шею согнувши, казалось, с трудом
Тот гроб карьятиды держали;
Чудесной резьбой барельефы его
С обеих сторон украшали.

Тут были представлены: пышный Олимп
И боги в утехах любовных,
И первые люди — прикрылись они
Повязкой из листьев смоковных.

Вот — взятие Трои, Елена, Парис;
Вот Гектор убитый, несчастный;
А там — Моисей с Аароном, Юдифь
И с ней Олоферн сладострастный.

Вот — дама Венера, и Феб, и Амур,
Вулкан и угрюмый бог Ада
С женой Прозерпиной, Меркурий, Приап
И Бахус среди винограда.

За ним — Валаама ослица стоит...
Я мог бы еще любоваться
На древнего Лота и дщерей его,
Любивших с отцом наслаждаться.

Пред Иродом тут же плясала жена
С главою Крестителя. Рядом
Святой Петр-апостол со связкой ключей
Стоял над бунтующим Адом.

Вот мчится Диана-охотница в лес;
Ей следуют нимфы. Вот жалкий
Влюбленный герой-полубог Геркулес
Сидит в женской юбке за прялкой.

И тут же виднелся Синай; у горы
Израиль с своими шатрами;
А вот и младенец беседу ведет
С толпой фарисеев во храме.

Изящество греков и строгая мысль
Евреев здесь странно смешались,
И, как арабесками, диким плющом
Фигуры богов украшались.

На них я задумчиво, тихо смотрел,
И вдруг мне представилось что же?..
Представилось, будто я — сам тот мертвец,
Лежащий на мраморном ложе.

В глазах у меня находился цветок;
Он вырос злодейства уликой;
Как желтая сера, листочки его
Исполнены прелести дикой.

В народе зовется он «цветом страстей»;
Он взрос на Голгофе в ту пору,
Когда для спасения мира текла
Кровь бога на страшную гору.

Народ говорит, что он вырос затем,
Чтоб быть постоянной уликой
Для тех палачей, от которых погиб
Невинно страдалец великий.

И все отразились в головке цветка
Орудия пытки Христовой:
И молот, и гвозди, и крест, и венец
Колючий из ветки терновой...

Такой-то цветок надо мною стоял,
И, к трупу склонившись, средь ночи,
Как женщина, страстно меня он лобзал
В уста и в закрытые очи.

О, сон мой волшебный! Увидел я вдруг,
Вкушая покой безмятежный,
Что желтый, как сера, «цветочек страстей»
Стал женщиной милой и нежной.

Дитя дорогое! Тебя я узнал
По ласкам, по страсти могучей:
Так нежно не может цветок целовать,
Так слезы цветочка не жгучи!

Глаза мои были закрыты, но я
Душою смотрел со вниманьем, —
И ты мне смотрела с восторгом в лицо,
Одетая лунным сияньем.

Мы оба молчали; лишь сердцем одним
С тобой говорил я сквозь слезы:
Оно понимало, малютка, твои
Безмолвные, тайные грезы!

Немая беседа! Как время летит
В беседе столь нежной и странной,
Во сне летней ночи прозрачной, святой,
Из неги и страсти сотканной!

О чем мы тогда говорили? Молчи,
Не спрашивай, друг мой, об этом!
Спроси светляка, что он светит в траве?
К волнам обратись за ответом:

Зачем эти волны в потоке бегут?
Зачем ветерок всё порхает?
Зачем он весною шумит на заре
И будто о чем-то вздыхает?

Спроси у алмаза: зачем он блестит?
Зачем льют цветы ароматы?
Но что говорили мертвец и цветок,
Не спрашивай, друг, никогда ты!

Не знаю, как долго лежал я — мертвец —
И грезил в гробнице прохладной.
Увы! Улетел от меня наконец
Покой безмятежно-отрадный.

О смерть! только ты нам отраду даришь!
В могиле нет бурь и ненастья;
Нам грубая, пошлая жизнь выдает
За благо — порыв сладострастья.

Навеки исчезло блаженство мое:
Внезапно шум страшный раздался.
Услышал я брань и неистовый крик,
И шума цветок испугался.

Снаружи кипел дикий, бешеный спор;
В нем слышалась злая отвага.
Я в звуках нестройных узнал голоса
Фигур моего саркофага.

Увы! Заблуждения древних веков
И в самых камнях сохранились:
Фигуры из мрамора споры вели
И грозно друг с другом бранились...

Тот спор бесконечен: борьба *красоты*
И *истины* вечно продлится;
На лагерь Эллады и варварский стан
Весь мир будет вечно делиться.

Казалось, что спору не будет конца;
Кричали все в бешенстве диком;
Но шум заглушила ослица своим
Противным и яростным криком.

И этот жестокий, пронзительный крик
Был страшен. Я весь содрогнулся,
И ужас смертельный мне в сердце проник,
Я сам закричал... и проснулся.

<1872>

Г. Гервег

СТАРОЕ И МОЛОДОЕ

— Ты слишком молод. Рассуждать
Тебе еще нельзя.
Умей, как мы, дней светлых ждать
Спокойно, не грозя.
Да поклонись пониже нам
И пыл в своей груди,
Подобный бешеным волнам,
Смири и остуди!

Ты слишком молод. Все дела
Твои ничтожны, верь!
Мы слышим: речь твоя смела,
И ты рычишь, как зверь.
Но, в тесной клетке разъярясь,
Не мучь страны родной
И прежде череп свой укрась
Священной сединой.

Учись почтительно к седым
  Склоняться волосам.
Пусть *пламя* обратится в *дым!*
  Пусть закуешься сам
В вериги *опыта!* Потом,
  Разбив свои *мечты,*
Бог даст, в отечестве святом
  Полезен будешь ты.

— Вы правы, деды и отцы,
  Не смеем вас винить.
Но вам, седые мудрецы,
  Грешно и нас казнить.
Вы — стражи *прошлого;* оно ж
  Содержит вас в плену.
Мы не поднимем меч и нож
  На вашу седину.

Но вслушайтесь и в нашу речь,
  Жрецы отживших каст:
Кто может *будущность* сберечь,
  И кто ее создаст?
Поверьте, люди древних лет,
  Без нас наступит тьма!
Вы шли... И мы проложим след
  Под знаменем ума.

Умом, наукой и трудом
  Мы сбережем скорей,
Чем вы, наш милый старый дом
  И наших матерей.
А ваши дочери... Без нас
  Кто будет их любить?
За что же нас в тяжелый час
  Вы вздумали губить?

Но старцы слушать не хотят,
  Что любим мы добро.
Седины их во тьме блестят,
  Блестят, как *серебро.*

А мы *вперед* пойдем бодрей,
Не внемля их речам,
И *золотистый* шелк кудрей
Раскинем по плечам.

О, не казните молодежь
За гордый, вольный крик!
В нем правду, может быть, найдешь
И ты, седой старик?
Мы ценим славу и добро
Твоих минувших дней;
Мы уважаем *серебро*,
Но *золото*. . . ценней!

Братья В. и Я. Гримм

ТРИ ЛЕНТЯЯ

Князек-добряк когда-то жил
Спокойно, беззаботно,
И ни о чем он не тужил
И кушал очень плотно.
Храня в душе своей покой,
Он на дела махнул рукой,
Министрам был послушен,
И знали подданные все,
Что лишь к копченой колбасе
Князек неравнодушен.

Его высочество весьма
Любил еще сосиски
(«Без них он мог сойти с ума!» —
Гласят одни «Записки»).
Но, сверх любимой колбасы,
Князь посвящал свои часы
Трем принцам-малолеткам:
Их удаляя от труда,
Он был подобен иногда
Заботливым наседкам.

И, от начала до конца
	Поняв его уроки,
Цыплята выросли в отца —
	Лентяи, лежебоки.
Князек судьбу благодарил;
Но вдруг желудок не сварил
	Копченую колбаску.
Больной ложится на кровать,
Велит детей к себе призвать,
	Предчувствуя развязку.

Князек со стоном говорит:
	«Плохая вышла шутка!
Желудок пищи не варит,
	Я гибну от желудка.
Кому же я оставлю трон?
Вы любите считать ворон,
	Вы ленитесь на славу;
Но кто ленивей из троих
Детей возлюбленных моих,
	Тому отдам державу».

Слезу печально уронив
	На батюшкино ложе,
Воскликнул старший: «Я ленив,
	Мне лень всего дороже,
Мне жизнь без лени не красна:
Когда наступит время сна,
	Когда под кровом ночи
Храпит измученный народ, —
И я во весь зеваю рот,
	Но лень закрыть мне очи!»

— «И я лентяй большой руки! —
	Второй князек воскликнул. —
Болтает братец пустяки:
	Он к лени не привыкнул.
А я по совести скажу:
Когда пред печкою сижу,
	В лицо мне пышет пламень,

Но удаляться от огня —
Большая трудность для меня:
Не двигаюсь, как камень».

Воскликнул младший ротозей:
«Моя, моя корона!
Из всех ленивейших князей
Один я стою трона.
Когда, народ ожесточа,
Я был бы в петле палача
И нож бы дали в руки,
Чтоб петлю перерезал я, —
Не двинется рука моя
От лености и скуки».

Князек, душою умилясь,
Схватил сынка в объятья:
«Ты всех ленивей, младший князь,
Тебя не стоят братья!
Тебе достанется мой трон!
Владея им, считай ворон,
Пей вдоволь, кушай жирно,
Люби сосиски с ветчиной,
И процветет наш край родной,
Как цвел при мне он мирно».

20 января 1872

А. Теннисон

ДВЕ СЕСТРЫ

Нас было две сестры. Милей из двух сестер была она,
Как лилия родных полей, всегда задумчива, бледна.
Я дикой розой расцвела,
Коварна, мстительна и зла.
(Я слышу: ветер шелестит,
О бедной Дженни он грустит.)
Узнала поздно я о том, что граф украл у Дженни честь,
И поклялась святым крестом исполнить праведную месть —
За преступление и ложь...
А граф был демонски хорош!
(Я слышу: ветер стонет злей
В густом саду среди аллей.)

Сестра погибла... Там — в аду — ее, страдалицу, найду.
Мне решено, мне суждено с сестрой погибнуть заодно.
(Я слышу: ветер — буен, смел —
Еще сильнее зашумел.)
Шли дни и месяцы; но я, святую месть в душе тая,
Ждала, чтобы изменник-граф, с одной сестрою поиграв,
Другую также оскорбил, чтобы меня он полюбил, —
И я тайком точила нож...
А граф был демонски хорош!
Он не избег моих сетей. Я бал дала. В толпе гостей,
Как к обольстительной рабе, я привлекла его к себе;
Торжествовала я над ним, как над невольником моим.
(Я слышу: вырвавшись из туч,
Бушует ветер — дик, могуч;
В старинных башнях воет он...
Ужасный свист! Могильный стон!

По телу пробегает дрожь...
А граф был демонски хорош!)

И вот остались мы вдвоем
На ложе девичьем моем.
Он мне тогда принадлежал,
Принадлежала я ему.
Он нежно руку мне пожал,
Склонившись к стану моему;
А я готовила кинжал
В глухую ночь, в густую тьму
И прошептала: «Ты умрешь!»
...А граф был демонски хорош!
Поцеловав его в глаза,
Я не спала, а граф уснул.
(Я слышу: страшная гроза!
И треск, и блеск, и шум, и гул...)

Я ненавидела его в минуту роковую ту;
Но граф, близ сердца моего, был дорог мне... за красоту.
Я тихо встала... Он лежал...
В моей руке сверкнул кинжал.
Как сладко граф дремал тогда!
Как грудь, роскошно-молода,
Вздымалась тихо у него!
Но не щадила я его:
Три раза мой кинжал сверкнул,
В крови три раза утонул,
Казня изменника за ложь...
А граф и мертвый был хорош!

Тогда, припав лицом к лицу,
Я причесала мертвецу
Густые локоны; волной
Они упали предо мной.
Как был его прекрасен лик!
Как он казался мне велик
На ложе смерти и любви!
(О буря, буря, не реви!)
Поцеловавши, обвила я белым саваном его
И мать-графиню призвала взглянуть на сына своего...
Святое небо! Для чего ж
Мертвец был демонски хорош?

Г.-Х. Андерсен

МАРГАРИТКА

(Сказка-поэма)

Природа очнулась от зимнего сна;
В саду растворилась калитка.
За садом, вдали, и свежа и нежна,
Малютка цвела — маргаритка.
И солнце ласкало ее с высоты,
Ласкало и те дорогие цветы,
Которые глупо гордились,
Что в барском саду находились.

И, к солнцу головку свою обратя,
Сверкая, как снег, белизною,
Малютка шептала: «Я крошка, дитя;
Никто не любуется мною;
Но я не горюю. Мне плакать о чем?
Согретая солнечным теплым лучом
Живу я, зато, не в неволе:
Здесь — поле, свободное поле.

Качаясь на ветке, склоняясь к земле,
У ветра я слушаю сказки:
Меня он колышет в таинственной мгле,
Исполнен и неги и ласки.
Под свежим покровом зеленых ветвей
Концерты дает молодой соловей.
Я счастлива... Господи-боже,
Ты добр к маргаритке за что же?

За что, милосердый, меня наградил?
Ведь я не из знатного рода:
Ученый садовник меня не садил,
Мне жизнь подарила природа».
И, спрятавшись робко под свежей травой,
Колеблемый ветром, цветок полевой
Смиренно к земле наклонился,
Как будто он богу молился...

А розы в саду, как царицы, цвели;
Струились от них ароматы.
Пеонии важно надулись. Вдали
Стояли тюльпаны-солдаты;
По струнке равняясь, спесивы, горды,
Они, как гвардейцы, сомкнувшись в ряды,
Смотрели тайком чрез калитку
На бедный цветок маргаритку.

«О, как благовонны и милы они! —
Малютка в восторге шептала. —
Завидно... Нет, боже меня сохрани,
Чтоб им я завидовать стала!
Я буду невинна, бела и чиста.
Пускай соловей прилетит из куста
И — всех музыкантов чудесней —
Утешит их звонкою песней...»

Мгновенно с орешника свежих ветвей
Спустился певец голосистый;
Но только не в сад прилетел соловей,
Склонился не к розе душистой;
Ее позабыл, на нее не взглянул,
К малютке-цветку, к маргаритке прильнул,
И свистнул он, к ней подлетая:
«Здорово, малютка святая!

Тебя отыскал мой внимательный взор,
Дитя дорогое, простое!
Мне нравится твой серебристый убор
И сердце твое золотое.
Люблю я не розы в садах богачей,
Пою не для них, не смыкая очей;

Там пахнет неволей, там — пытка,
Пою для тебя, маргаритка!»

Певец улетел. Закрываясь травой,
Подобно невесте, стыдливо,
Задумался бедный цветок полевой;
А розы шептали ревниво:
«Изменник, противный, негодный поэт!»
«Изменник!» — пеонии вторили вслед.
«Изменник!» — звенели тюльпаны,
Надувшись, как важные паны.

Вдруг в сад прибежала хозяйская дочь
И стала рвать пышные розы.
«О, как бы я бедным желала помочь! —
Малютка шепнула сквозь слезы. —
Им страшно, им больно... За что их карать?
В стаканах и вазах должны умирать
Они на потеху людскую.
Всю ночь я о них протоскую...»

И снился ей ночью таинственный сон,
Печальный и радостный вместе:
Ей виделось небо; ей виделся он,
Слетающий к ней, как к невесте.
И солнце пылало на небе огнем,
И поле стонало: тоскливо на нем
Работал народ; над равниной
Ей слышался свист соловьиный.

Свистал соловей: «Бедняков и сирот
Утешу я песней звенящей,
Утешу на страде печальный народ, —
И узник в цепях, и болящий
Ко мне прибегают на смертном одре.
Пою о любви, о творце, о добре,
Пою и для вас также, дети,
Пока не изловите в сети!»

Проснулася днем маргаритка... И вот
Ей слышится: в клетке железной
Поет соловей, но печально поет,
И бьется в тоске бесполезной,

Словили поэта; попал он в тюрьму.
О, как маргаритка желала ему
Помочь, отпустить на свободу,
Чтоб пел он, как прежде, народу!

Два мальчика вышли с садовым ножом
И резвятся в поле просторном.
«Мы птичку словили: ее сбережем,
Утешим цветами и дерном.
Отличное место — зеленый лужок,
На нем — маргаритка, бела как снежок...
Как блеск ее нежен и ярок!
Для пленника славный подарок.

Красивее дерн с маргариткой-цветком,
Счастливая мысль нам явилась...»
И вот маргаритка в неволе рядком
С певцом-соловьем очутилась.
Стонал он: «Как люди свирепы, горды,
И пить не дают мне... Воды мне, воды!
Больнее, с минутою каждой,
Горю я мучительной жаждой.

К себе палачей я напрасно зову:
Забыли воды дать напиться...»
И пленник бессильно упал на траву,
Чтоб влагой ее освежиться.
«Какое свиданье! — сказал соловей. —
Ты здесь, маргаритка, в темнице моей?
И ты очутилась в неволе,
Покинув свободное поле?

Тебя, вместе с маленьким дерна куском,
Мне дали, взамен всей природы;
Хотят, чтоб над каждым твоим лепестком
Я мучился долгие годы.
Ошиблись тираны. Клянусь! По ночам
Не буду ласкаться к моим палачам,
Свободною песней чаруя...
Воды мне, воды мне! Умру я!

Мне жаль и тебя, маргаритка! За мной
Погибнешь в неволе сама ты...
Из листьев твоих заструились волной
Сильней на меня ароматы.
Спасибо, малютка, спасибо, дитя!»
И, к ясному небу свой взор обратя,
Он умер в мучительной пытке,
Головкой склонясь к маргаритке.

Задумались дети о бедном певце,
В тиранстве себя обвинили
И, сделавши гробик, с тоской на лице
В саду соловья схоронили.
Потом был составлен военный совет:
«Что делать с цветочком? В нем запаха нет...»
И бросили вон, за калитку,
Погибший цветок маргаритку.

КНЯЖНА НА ГОРОШИНКЕ

Жил да был князек надменный,
И желал он непременно
Взять себе жену, —
Не богатую дворянку,
Не смазливую крестьянку —
Кровную княжну.

Хоть невест на свете много,
Но жених ужасно строго
Всех судил-рядил,
И принцессы подходящей,
Чистокровной, настоящей
Он не находил.

Долго рыскал князь по свету,
Никакого толку нету!
Наконец, озлясь,
Холостым домой вернулся,
И наморщился, надулся
Благородный князь.

Как-то, ночью, буря злилась,
В небе молния носилась
Прямо над дворцом...
Вдруг (о, дерзость!) сильно кто-то
В королевские ворота
Постучал кольцом.

И король, кончая ужин,
Заворчал: «Кому я нужен?»
Но звонок дрожит,
Снова стук — и без оглядки
Сам король во все лопатки
Отворять бежит.

Не какой-нибудь повеса,
А красавица принцесса
Перед ним была,
Мокрой курицей явилась,
И вода ручьем струилась
С бледного чела.

Говорит она: «Впустите!
Под дождем не простудите,
Я слаба, нежна.
Башмаки мои без пяток,
Вся одежда из заплаток...
Впрочем, я княжна».

И король впустил без гнева;
Но старуха-королева
Думает: «Постой!
Мы узнаем, что за птица,
Точно ль странница — девица
Крови не простой?»

Королева в спальню скрылась.
Там постеля находилась —
Царственный альков:
Сто перин лебяжьих нежных,
Сто подушек белоснежных,
Сто пуховиков.

И, горошинку украдкой
Под периной мягкой, гладкой
    Спрятавши, она
Возвратилась к гостье снова,
Говоря: «Постель готова,
    Спать пора, княжна!»

Утром барышню спросили:
«Как вы ночку проводили?»
    — «Вовсе не спала,
Истомилась я немало,
Все бока мне изломало,
    Чуть не умерла.

Это пытка, а не ложе!
Под собой — великий боже! —
    Чувствовала я,
Развалившись на покое,
Что-то жесткое такое...
    Просто — смерть моя!»

И воскликнули все разом,
Пораженные рассказом:
    «Чудо из чудес,
Удивительное дело!
Вот что значит нежность тела
    Истинных принцесс!

Стало быть — аристократка,
Если ей не спится сладко
    Напролет всю ночь:
От горошинки томиться
Может только лишь девица —
    Княжеская дочь».

И князек был рад ужасно:
Он тогда увидел ясно,
    Что берет жену, —
Не богатую дворянку,
Не смазливую крестьянку —
    Кровную княжну,

Я. Катс

ЛЮБОВЬ И БИРЖА

В Меддельбурге это было. Похоронный звон уныло
В божью церковь призывал.
Отпевали в ней поэта. Он ушел туда, где Лета
Тихо катит сонный вал.
В одеянии убогом он уснул, прощенный богом;
Но, сурова и слепа,
Пред поэтом волновалась и над мертвым издевалась
Беспощадная толпа;
Он не думал о «червонце», воспевал «любовь» и «солнце»,
Леденел он, чуть дыша;
Не имел он ассигнаций, воспевал каких-то граций...
Жаль поэта-голыша!

В Меддельбурге это было. Над покойником уныло
В церкви плакало дитя.
Не совсем дитя: невеста, целомудренно, как Веста,
На меня взор обратя.
Службу патер кончил скоро, но не кончилося горе
В тайнике души больной:
На рассвете и в потемки чудный образ незнакомки
Всё сверкал передо мной.
Я писал к ней: «Умираю... Где найти дорогу к раю?
Мне без Пери рая нет!
(Адрес там-то.) Не отсрочьте и доставьте мне по почте —
Жизнь иль смерть — один ответ!»

В Меддельбурге это было. Поэтически уныло
В небе плавала луна,
И мелькала предо мною, озаренная луною,
Дева чудная — *она*.
«Пери, дивное созданье! Ты явилась на свиданье
С нежно-пламенным лицом;
А давно ли ты страдала и отчаянно рыдала
Над поэтом-мертвецом?»
— «Он любил меня, как нищий; он меня телесной пищей
Никогда б не напитал...
Не создаст червонцев лира! Дочь богатого банкира —
Я имею капитал...»

В Меддельбурге это было. Друг спросил меня уныло:
«Не сошел ли ты с ума,
Или сделался поэтом?» — «Я — жених, и... под секретом...
У невесты денег тьма».
— «Кто она, кто эта Пери?» — «Обольстительная Мери,
Дочь банкира Фандерфлот.
Он богат, как Крез». — «Едва ли! Мне на бирже толковали,
Тесть твой будущий — банкрот».
Как в светильнике без масла, вдруг любовь моя угасла:
Без червонцев счастья нет.
И ответил я по почте: «Наше счастие отсрочьте, —
Вы бедны, а я — поэт».

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ

(Ирландская мелодия)

От родных берегов нашей бедной земли
Я умчался далеко — к чужим берегам.
Я скитался на них и в поту и в пыли
И проклятья твердил беспощадным врагам.
Но теперь — я не тот: я врагов не кляну.
Лишь бы дали они умереть мне скорей
И открыли взаимную нашу вину
Пред незримым царем очевидных царей.

Пусть рассудит он нас: кто виновен, кто прав?
Пусть свершится его роковой приговор!
Горсть родимой земли потаённо украв,
Пред великим судьей сознаюсь я, как вор.
В этой горсти земли есть и кровь, есть и пот,
Потому-то она для меня так чиста,
Потому-то я к ней — современный илот —
Прижимаю с горячей любовью уста.

ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни Л. Н. Трефолева его произведения были изданы отдельными книгами дважды. Первый небольшой сборник — «Славянские отголоски» (Ярославль, 1877; цензурное разрешение 28 августа 1876) — был с самого начала тематически ограничен; кроме того, его крепко урезала цензура, сперва московская, затем две петербургских — С.-Петербургский цензурный комитет и Главное управление по делам печати. Что касается второго сборника — «Стихотворения» (М., 1894), — то, подготовляя его к изданию (в 1893 г.) на скудные собственные средства, поэт был озабочен, с одной стороны, тем, чтобы довести объем книги до двадцати печатных листов (это, по существовавшим в ту пору законам, освобождало книгу от предварительной цензуры), а с другой — стремлением не допустить последующего ареста книги (в случае, если бы в ней были обнаружены произведения, касавшиеся настойчиво оберегавшихся цензурными органами «крамольных» тем) и неизбежных убытков. Книга нарочито была лишена композиционной стройности; наиболее опасные с цензурной точки зрения стихотворения упрятывались среди стихотворений «нейтральных», «безопасных»; кроме того, уже в процессе печатания, чтобы довести книгу до нужного объема, пришлось внести в нее ряд стихотворений, которые, при иных обстоятельствах, возможно, в сборник и не вошли бы.

После смерти поэта его произведения несколько раз выпускались отдельными книгами, в том числе дважды в составе «Библиотеки поэта», — ее «малой» и «большой» серий. Составители сборников, не ограничиваясь материалом прижизненных сборников Трефолева, широко использовали журнальные и газетные публикации, обращались также к архиву поэта, до начала тридцатых годов находившемуся у его наследников, а позднее переданному в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Значительная работа в этом отношении была проделана А. Ефреминым, — им опубликован по рукописи ряд стихотворений Трефолева в подготовленном им «Собрании стихотворений», 1931 г. и в «Литературном наследстве», кн. 3, 1932. Отдельные публикации стихотворений Трефолева, по автографам поэта из его архива и по другим материалам (например, по архиву цензурного ведомства, где сохранились корректурные оттиски многих стихотворений Трефо-

лева, запрещенных цензурой) сделаны И. Айзенштоком в книге «Поэт-демократ Л. Н. Трефолев», Ярославль, 1954 и Б. Челышевым в «Ярославском альманахе», сборнике «Литературный Ярославль» и др.

Для настоящего издания отобраны произведения Л. Н. Трефолева, по возможности полно и всесторонне характеризующие его более чем сорокалетний творческий путь, — как вошедшие в прижизненные сборники, так и оставшиеся на страницах старых периодических изданий и в автографах поэта. Упомянутый выше архив Л. Н. Трефолева содержит ряд тетрадей с его стихотворениями (общим числом до 740), охватывающих, за единичными исключениями, почти все, написанное им. Это обстоятельство делает излишним особые в каждом отдельном случае ссылки на местонахождение автографа. Наличие автографов в иных хранилищах каждый раз оговаривается.

Материал настоящего издания распадается на два основных раздела: оригинальные произведения Л. Н. Трефолева и стихотворения переводные и подражания, по отдельным литературам. При установлении дат использованы также указания изданий 1931, 1940, 1955 гг. Даты первой публикации заключены в угловые скобки. Особо выделен раздел «Стихотворения неизвестных лет», куда вошли некоторые стихотворения из издания 1894 г.; формулировка в примечаниях «Печ. по изд. 1894 г.» обозначает, что журнальный текст стихотворения не обнаружен.

Принятые сокращения

И. Айзеншток — И. Айзеншток, Поэт-демократ Леонид Николаевич Трефолев. Ярославль, 1954.

ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.

Изд. 1894 г. — Стихотворения Л. Н. Трефолева (1864—1893). М., 1894.

Изд. 1931 г. — Л. Н. Трефолев, Собрание стихотворений. Редакция, примечания и вступительная статья А. Ефремина. ГИХЛ, 1931.

ПД — Отдел рукописей Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом), Ленинград.

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.

ЦГИАЛ — Центральный государственный архив СССР в Ленинграде.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Обоз (стр. 43). Впервые — «Иллюстрированная газета», 1864, № 17, стр. 263. *Ель зеленая.* Еловая ветка «на шесте большом» служила своего рода вывеской сельским кабакам. *Целовальник* — кабатчик. *Посредственник* — мировой посредник, официальное лицо, которому после крестьянской реформы 1861 г. поручалось решение всех споров между помещиками и крестьянами.

Семинарист (стр. 45). Впервые — «Искра», 1864, № 33, стр. 433. Вошло в изд. 1894 г. *Кутейничек* — насмешливое прозвище людей из духовного звания. *Приказный* — мелкий служащий в канцелярии. *Просвирня* — женщина, изготовляющая просвиры или просфоры, обрядовые хлебцы в православном богослужении; обычно просвирнями назначались вдовы лиц духовного звания. *Студент «богословия»* — старшего класса духовной семинарии. *«Никола»* — церковь в честь Николая-угодника. *Приход отдают за поповной.* Царское правительство стремилось сделать священнические места в «приходах» наследственными; если у священника не было детей мужского пола, его приход переходил к тому, кто женился на его дочери.

«Лошаденки за оврагом...» (стр. 48). Впервые по автографу ПД (архив редактора «Иллюстрированной газеты» В. Р. Зотова) — И. Айзеншток, стр. 206. *Зимний Никола* — 6 декабря ст. ст.

Без ответа (стр. 50). Печ. по изд. 1894 г., стр. 329. В архиве В. Р. Зотова (ПД) сохранился автограф стихотворения под заглавием «Три дороги», с посвящением Владимиру Ивановичу Веселовскому, одному из ярославских друзей поэта. Автограф позволяет уточнить дату.

Стрелок (стр. 52). Впервые — изд. 1931 г., стр. 168.

Накануне казни (стр. 53). Печ. по изд. 1894 г., стр. 376, где носило заглавие «Погребальный колпак. Ирландская мелодия». Вслед за изд. 1931 г. восстанавливаем по рукописи первоначальное авторское заглавие, очевидно измененное по цензурным соображениям — из-за необходимости завуалировать политическую остроту стихотворения, направленного против мрачной правительственной реакции в России, о которой Герцен писал Александру II: «Теперь мрачно около вас, . . .избивается целый край, юноши идут на каторгу, учителя народа идут на каторгу, на гласисах крепостей вешают, расстреливают» (Полное собр. соч. и писем, т. 18. Пг., 1922, стр. 98).

Дубинушка (стр. 54). Впервые — «Народный голос», 1867, № 62, 16 марта, без подписи, с пометой: «Ярославль». Вошло в изд. 1894 г. Напечатание в газете «Дубинушки» и «Грамотки» (см. ниже) было предварено следующим обращением «От редакции (Автору двух стихотворений из Ярославля)»: «Посланные вами в редакцию два новых стихотворения нами получены. От души благодарим за присылку их. Мы постараемся поместить их в ближайших номерах нашей газеты, а покуда пользуемся случаем сказать вам два-три слова: пишите и присылайте нам больше стихотворений. По глубине мысли и чувства, по энергии выражений и плавной тягучести стиха стихотворения ваши составляют светлое явление в наше, далеко не обильное поэтами время. В каждой строчке их сквозит знание быта народного, знание мыслей, чувств, убеждений и самого склада речи нашего серого человека» («Народный голос», 1867, № 56). В 1876 г. цензура запретила включение стихотворения в сборник

«Славянские отголоски»; в отзыве цензора Лебедева отмечалось, что «в этом стихотворении описывается каторжная бурлацкая жизнь, полная неустанного труда и лишений, ценою которых жадные купцы-кулаки наживают себе богатства, так что благосостояние последних процветает как будто тем более, чем более усеиваются бурлацкими костями берега Волги» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1876, № 87). В рукописи стихотворение посвящено С. Я. Дерунову (см. о нем на стр. 341).

Батрак (стр. 55). Впервые — «Народный голос», 1867, № 80, 9 апреля. Позднее неоднократно перепечатывалось автором. Печ. по последней авторской публикации — «Наблюдатель», 1901, № 9, стр. 185. В 1876 г. по требованию цензуры было исключено из сборника «Славянские отголоски» (Ярославль, 1877). Из дневниковых записей Трефолева, бывших в начале 1930-х гг. в распоряжении редакции «Литературного наследства», известно, что он вел переговоры с Некрасовым относительно напечатания поэмы в «Отечественных записках»; редакция журнала сочла невозможным перепечатку произведения, уже бывшего в печати, — даже в переработанном виде. Поэма является обработкой распространенной народной легенды. Один из черновиков ее в архиве поэта сопровожден пометой о том, что «легенда записана в Пошехонском уезде»; первая публикация была снабжена подзаголовком: «Русская народная легенда», а в «Петербургской газете» поэма сопровождалась редакционным примечанием о том, что в переделанном «даровитым автором» виде она «отличается бо́льшею, сравнительно с прежним стихотворением, выдержкою характера и смысла народной легенды». Сюжет легенды использовался в художественной литературе много раз, в частности Л. Н. Толстым в сказке «Чем люди живы» и украинским поэтом Иваном Франко (поэма «Батрак»). *«В Аграфенин день, в „Купальницу"»* — 23 июня ст. ст. *Десница* — правая рука. *Выя* — шея. *Кутейнички* — см. стр. 337.

Песня о камаринском мужике (стр. 64). Впервые — «Народный голос», 1867, № 41, 21 февраля, под заглавием «Касьянов день». Перепечатана в «Развлечении», 1868, № 43, стр. 279.

В «Славянских отголосках» посвящена Л. Н. Хлебникову, одному из ярославских общественных деятелей, приятелю поэта. Печ. по изд. 1894 г., стр. 19. В «Развлечении» (1868, № 45, стр. 319; № 47, стр. 351) были опубликованы заметка редакции и письмо Трефолева с извинением за «неумышленную» перепечатку стихотворения. Несмотря на извинения Трефолева, его сотрудничество в «Развлечении» прекратилось. Позиция редакции «Развлечения» в данном вопросе более всего была определена двусмысленностью общественного облика «Народного голоса». Редактора этой газеты П. А. Литвинова-Юркевича А. В. Никитенко характеризовал как «странное, загадочное существо», замечая, что он «прямо, без всяких околичностей выдает себя за агента его императорского величества» и что «ему дано пособие правительственное на издание газеты» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 3. Л., 1956, стр. 71). Радикальные политические статьи и корреспонденции газеты при общем ее монархическом направлении воспринимались прогрессив-

ной общественностью как выступления явно провокационного свойства. До провинциала Трефолева слухи о сомнительной политической репутации «Народного голоса», по-видимому, дошли с большим запозданием. Привлеченный названием газеты, он отправил для напечатания на ее столбцах ряд своих стихотворений, был ободрен редакционным приветствием в связи с присылкой «Дубинушки» и «Грамотки» и впоследствии, после прекращения газеты, действительно мог уже не интересоваться их судьбою. *Дешевка* — простая, удешевленная водка, сивуха. *Ты сегодня именинник.* По православному календарю день Касьяна приходился на 29 февраля; носители этого имени, следовательно, бывали именинниками раз в четыре года. *Алтынник* — мелкий взяточник-канцелярист. *Приказная строка* — презрительное прозвище мелких чиновников, канцелярских служащих. *Хожалый* — полицейский. *«Рожество»* — лицо (рожа).

Грамотка (стр. 67). Впервые — «Народный голос», 1867, № 62, 16 марта, без подписи, с пометой: Ярославль, 1867. Вторая половина стихотворения здесь значительно отличалась от общеизвестной: после строки 20 (которая звучала так: «Здравствует твой муженек Пантелей») следовало:

Пишет рабочий его же артели:
«Мы известить вас письмом захотели,
Что Пантелей Спиридоныч теперь
Сам угодил за железную дверь.
Дьявол попутал: стянул он одежу,
Стали ловить — он догонщика в рожу;
Тот не сплошал и ответил ему,
Ну, мировой и упрятал в тюрьму.
Должен сидеть он в остроге полгода.
Знать, от создателя эта невзгода,
Так суждено на роду...» А за сим
Следует подпись: артельщик Максим.
Бедная Дарья рыдает в печали.
Экую черти беду накачали!
Будет ли мил опозоренный муж?
Да и обновки лишилась к тому ж.

Спустя почти десять лет поэт переработал стихотворение, усилив драматическую его остроту. В переработанном виде стихотворение предназначалось для сборника «Славянские отголоски», но было запрещено цензурой, так как жизнь рабочего в столице описывалась здесь «такими красками, которые способны возмутить каждого» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1876, № 87). Через три года стихотворение все же было напечатано — с подзаголовком «Деревенская картинка» — в «Русском богатстве», 1880, № 12, стр. 62. Печ. по изд. 1894 г., стр. 228. *Новина* — грубая, суровая ткань.

Жар-птица (стр. 69). Впервые — «Литературное наследство», кн. 3, 1932, стр. 237. Стихотворение вызвано обострившейся в середине 60-х гг. борьбой царского правительства с революцион-

ным движением. А. В. Никитенко отметил в дневнике проект начальника III Отделения П. Шувалова — в связи с тем, что «все Поволжье исполнено дурного духа», — «все это пространство оцепить жандармскими агентами». А. В. Никитенко. Дневник, т. 3. Л., 1956, стр. 73 (запись 7 февраля 1867 г.). Если поэт действительно имел в виду этот шуваловский проект, то он дал естественный повод припомнить имена Клемента *Меттерниха* (1773—1859), многолетнего австрийского министра иностранных дел, крайнего реакционера, вдохновителя и одного из руководителей европейской реакции в течение тридцати лет после поражения Наполеона, и Иоганна-Иозефа *Радецкого* (1766—1858), австрийского фельдмаршала, усмирителя народных восстаний 1848—1849 гг. в Италии против австрийского владычества.

Рекрутчина (стр. 71). Впервые — «Будильник», 1877, № 10, стр. 3, под названием «Ветер. Ветрович». Вошло в изд. 1894 г. Печ. по автографу 1867 г. Публикуя стихотворение спустя десять лет после его написания, поэт существенно изменил концовку; вместо последних четырех строк в «Будильнике» и изд. 1894 г. было:

«Вы — ломоть уже отрезанный; вы — как травушка подкошены.
Пусть хоть братья ваши младшие в темноту не будут брошены.
В школу их! Скорей за азбуку! Что смотреть им зверем-букою?
Не страшна теперь солдатчина, озаренная наукою». —
«Хорошо ты, Ветер Ветрович, распеваешь эту песенку...
Подымайся, Русь ученая, выше, выше! Дайте лесенку!»

Эта переработка станет понятной, если вспомнить, что между написанием и напечатанием стихотворения появился новый устав о «всеобщей» воинской повинности, 1 января 1874 г. Несмотря на общий прогрессивный характер военной реформы, В. И. Ленин справедливо разъяснял впоследствии, что «в сущности, у нас не было и нет всеобщей воинской повинности, потому что привилегии знатного происхождения и богатства создают массу исключений. В сущности, у нас не было и нет ничего похожего на равноправность граждан в военной службе. Наоборот, казарма насквозь пропитана духом самого возмутительного бесправия. Полная беззащитность солдата из крестьян или рабочих, попирание человеческого достоинства, вымогательство, битье, битье и битье. А для тех, у кого есть влиятельные связи и деньги, — льготы и изъятия» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 4, стр. 390). Между тем либеральная публицистика и историография на все лады твердили о «стройности» и «прогрессивности» устава, о его «гуманно-просветительных и уравнительных принципах, без уступок реакционному духу и сословным предрассудкам» (Гр. Джаншиев. Эпоха великих реформ. СПб., 1907, стр. 507—530). Перерабатывая свое стихотворение, навеянное дореформенной рекрутчиной и солдатской службой, длившейся десятилетиями, Трефолев подпал под воздействие либеральных настроений; отсюда приведенный выше слащавый конец стихотворения. *С оника* — с первого раза (карточный термин).

Странник (стр. 71). Впервые — «Народный голос», 1867, № 88, 18 апреля. *Соловки* — Соловецкий монастырь на Белом море. *Жупел* — горящая смола.

Детские годы (стр. 73). Впервые — «Иллюстрированная газета», 1868, № 8, стр. 123.

Шут (стр. 74). Впервые — «Иллюстрированная газета», 1868, № 14, стр. 223, под заглавием «Отставной». В переработанном и распространенном виде — «Будильник», 1878, № 15, стр. 209. Вошло в изд. 1894 г. Стихотворение Трефолева, очевидно, навеяно картиной И. М. Прянишникова «Шутники» (или «Гостиный двор в Москве»), за которую художник в 1865 г. получил серебряную медаль. Картина изображает сцену перед «погребом винным» в Гостином дворе: группа купцов, именитых прохожих и сидельцев-приказчиков окружила опустившегося пьяненького старика — судя по одежде, чиновника в прошлом, — пляшущего на потеху собравшихся. В. В. Стасов, в обзорной статье «Тормозы нового русского искусства», назвал картину Прянишникова «превосходной», заметив, что это, «конечно, один из лучших перлов всей русской школы, по глубокой психологии, по выражению потрясающей трагичности» («Избранное», т. 1, 1950, стр. 568).

Честный должник (стр. 76). Впервые — «Иллюстрированная газета», 1868, № 16, стр. 251.

К моему стиху (стр. 77). Впервые — изд. 1931 г., стр. 152, по черновому наброску.

Пошехонские леса (стр. 78). Впервые — «Славянские отголоски», стр. 37. Вошло в изд. 1894 г. Савва Яковлевич *Дерунов* (1831—1909), которому посвящено стихотворение, — поэт и очеркист, ярославский («пошехонский») культурно-общественный деятель. Круг его стремлений и интересов ограничивался преимущественно пропагандой расширения и упрочения сети народных школ, которые должны были, как он считал, способствовать повышению благосостояния крестьянства.

Что я умею нарисовать? (стр. 79). Печ. по изд. 1894 г., стр. 275. Замысел стихотворения подсказан одноименным стихотворением В. Сырокомли («Co umiem nakreślic»).

На бедного Макара и шишки валятся (стр. 82). Впервые — «Славянские отголоски», стр. 51, с посвящением Варваре Александровне Духовской, жене профессора, друга поэта. Вошло в изд. 1894 г.

Наша доля — наша песня (стр. 84). Впервые — «Славянские отголоски», стр. 42, с посвящением И. З. Сурикову. Печ. по изд. 1894 г., стр. 4, где посвящено уже *памяти* поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841—1880). С Суриковым связывала Трефолева теплая дружба, поддерживавшаяся общностью литературных интересов и устремлений. Познакомившись заочно в конце 1875 г.,

поэты в течение следующего года оживленно переписывались; тогда же было написано и данное стихотворение. 29 декабря 1875 г. Суриков в письме к А. Н. Якоби называет Трефолева «даровитым» своим приятелем: «Человек этот одинакового пошиба со мною и способен высказывать... жизненную правду в очень изящной, художественной форме» (И. З. Суриков. Стихотворения. М., 1884, стр. 45).

Два Мороза Морозовича (стр. 85). Впервые — «Славянские отголоски», стр. 44, с посвящением Клавдии Петровне, Ольге Александровне и Надежде Леонидовне Трефолевым, то есть матери, жене и дочери. Вошло в изд. 1894 г. Сюжет стихотворения заимствован из русской народной сказки, использованной также М. Л. Михайловым («Два Мороза» — «Народное чтение», 1859, кн. 5, стр. 157—160).

Ситские курганы (стр. 88). Впервые — «Славянские отголоски», стр. 55. *Н. П. Топорнин* — ярославский общественный деятель, земец. К последней строке стихотворения автором сделано примечание: «Битва на реке Сити (Мологского уезда Ярославской губернии) — 4 марта 1238 года. Битва на Коссовом поле — 16 июня 1389 года». После Коссовской битвы, в которой отстаивавший независимость Сербии князь Лазарь Гребльянович был убит, Сербия надолго подпала под турецкое владычество. Воспоминания об этой битве легли в основу большого цикла в сербском народном эпосе.

Похороны (стр. 91). Впервые, с подзаголовком «Мотив чешской песни», — «Славянские думы и голоса. Сборник стихотворений, изданный под редакцией П. И. Андронникова». Кострома, 1876, стр. 39. С незначительными вариантами, с подзаголовком «Чешская песня», вошло в «Славянские отголоски», стр. 54; здесь стихотворение посвящено памяти М. Э. Дашкевич-Чайковского, одного из поляков, сосланных в Ярославль после восстания 1863 г. Печ. по изд. 1894 г., стр. 268, где опубликовано как оригинальное стихотворение (каковым оно, по-видимому, и является).

Конституция (стр. 92). Впервые — «Литературное наследство», кн. 3, 1932, стр. 236. Опубликовано по недоработанному черновику; отсюда несогласованность имен: «Сидор Карпыч» далее называется «Климом». Стихотворение вызвано слухами о намерении Турции ввести конституцию; султанский указ (фирман) об этом был обнародован 23 декабря 1876 г. *Алгвазил* — в старой Испании низший полицейский или судебный чиновник; в данном случае — жандарм.

Дело в шляпе (стр. 93). Впервые — «Будильник», 1877, № 13, стр. 6. Стихотворение отражает события международной жизни накануне русско-турецкой войны 1877—1878 гг., когда Турции удалось заручиться сочувствием римского папы, заявившего о своем отрицательном отношении к борьбе балканских славян за национальную независимость, а также благожелательным нейтралитетом ряда великих держав. Так как турецкая армия значительно

уступала русской по численности, предполагалось в надвигавшейся войне главное внимание уделить действиям турецкого флота в Черном море, отсюда — упоминание о посылке эскадры *«к Керчи и к Анапе»*. *Играть ва-банк*. В азартных карточных играх обозначает сумму, равную полной сумме «банка». *Гнуть углы*. В азартных играх идти на четверть банка. *На́ пе*. В азартных играх ставка в половину банка.

Современные старухи (стр. 93). Впервые — «Будильник», 1877, № 14, стр. 3. В стихотворении использован широко распространенный исторический анекдот.

Либеральный городок (стр. 94). Впервые — «Будильник», 1877, № 17, стр. 9, подпись: Уединенный пошехонец. *Мак-Магон* Патрис Морис (1808—1893) — маршал, в 1873—1879 гг. президент Франции, реакционер, монархист, жестоко подавлявший республиканские свободы. *Гамбетта* Леон-Мишель (1838—1882) — французский политический деятель, умеренный либерал. *Гражданский брак* — то есть брак, не «освященный» церковью.

Онуфрий Ильич (стр. 97). Впервые — «Будильник», 1877, № 22, стр. 5, подпись: Уединенный пошехонец. В стихотворении использован ряд художественных элементов «Воздушного корабля» Лермонтова.

В больнице (стр. 99). Впервые — «Будильник», 1877, № 30, стр. 3. Вошло в изд. 1894 г.

На то и щука в море, чтоб карась не дремал (стр. 100). Впервые — «Будильник», 1877, № 30, стр. 6, подпись: Уединенный пошехонец.

Кри-кри (стр. 102). Впервые — «Будильник», 1877, № 35, стр. 5, подпись: Л. Н. Т. Стихотворение посвящено сыну поэта. *Кри-кри* — детская металлическая трещотка. *Пушки и ружья... нынче гремят за Дунаем*. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся 12 апреля 1877 г., русские войска форсировали Дунай (июнь 1877 г.) и начали бои за овладение балканскими перевалами.

Затишье перед бурей (стр. 102). Впервые — «Будильник», 1877, № 38, стр. 3, подпись: Л. Н. Т. «Перепев» стихотворения Лермонтова «Горные вершины» (Из Гете). Трефолев имел в виду грядущее освобождение Сербии от турецкого ига в результате начавшейся русско-турецкой войны.

Нашла коса на камень (стр. 103). Впервые — «Будильник», 1877, № 39, стр. 5, подпись: Уединенный пошехонец. Стихотворение является обработкой распространенного фольклорного мотива; см., например, А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки, т. 3, 1940, № 438 (ср. стр. 460); И. В. Карнаухова. Сказки и предания Северного края. Л., 1934, № 56.

Добрые вести (стр. 105). Впервые — «Будильник», 1877, № 45, стр. 4, подпись: Уединенный пошехонец. В основе стихотворения — распространенный фольклорный мотив.

Филантропу (стр. 107). Впервые — «Будильник», 1877, № 46, стр. 5.

К России (стр. 108). Впервые — «Будильник», 1877, № 12, стр. 3, под заглавием «К рабе (С сербского)», подпись: Л. Н. Т. Вошло в изд. 1894 г. Подзаголовок вызван соображениями цензурной маскировки либо желанием поэта соотнести стихотворение с освободительным движением балканских славян. Восстанавливаем первоначальное заглавие, пользуясь указанием в одной из тетрадей поэта.

Борьба (стр. 109). Впервые — изд. 1931 г., стр. 159. Стихотворение было написано в 1877 г., озаглавлено «Райя» (по-сербски — собирательное обозначение сербов, турецких подданных) и, таким образом, первоначально посвящалось борьбе балканских славян против турецкого владычества. Позднее поэт дал стихотворению новое заглавие, придав ему более обобщенный характер. Публиковать стихотворение Трефолев, по-видимому, не стремился, ввиду очевидной невозможности благополучно провести «Борьбу» через цензурные препятствия.

Грамотейка (стр. 119). Впервые — «Будильник», 1878, № 42, стр. 591.

М. Н. Каткову (стр. 111). Впервые — изд. 1931 г., стр. 148. Михаил Никифорович *Катков* (1818—1887) — реакционный публицист, вдохновитель дворянско-монархической реакции 60—80-х гг. в России. В. И. Ленин характеризовал его идейный путь как один из «исторических этапов» «поворота русской либеральной буржуазии о т д е м о к р а т и и к защите реакции, к шовинизму и антисемитизму» (Сочинения, т. 18, стр. 251). «Либеральный, сочувствующий английской буржуазии и английской конституции, помещик Катков во время первого демократического подъема в России (начало 60-х годов XIX века) повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству» (там же, стр. 250). В 70—80-х гг. Катков, не занимая какого-либо государственного поста, будучи редактором газеты «Московские ведомости», пользовался громадным влиянием в правительственных кругах. На это влияние намекает и эпиграмма Трефолева; вызвана она, возможно, заявленным в статьях Каткова недовольством слишком грубыми методами московской полиции, которая избила участников студенческой демонстрации 3 апреля 1878 г., организованной для встречи высланных административным порядком из Киева студентов.

Нянины сказки (стр. 111). Впервые — «Будильник», 1878, № 43, стр. 604. В изд. 1894 г. (стр. 148) напечатано с заменой (по цензурным соображениям) предпоследней строки: «Марья-царевна, надежда святая».

Спокойстие (стр. 113). Печ. по изд. 1894 г., стр. 249.

Предсмертная песня (стр. 113). Впервые — изд. 1931 г., стр. 154. Печатается с исправлением явных опечаток в 3-й строфе с конца.

Тени (стр. 115). Впервые — «Будильник», 1880, № 4, стр. 99, подпись: Л. Н. Т-лев. В изд. 1894 г., стр. 245, напечатано с неверной датой: 1881. Возможно, что поводом для написания стихотворения явилось назначение М. Т. Лорис-Меликова председателем «Верховной распорядительной комиссии» по борьбе с нараставшим в стране революционным движением. Образование комиссии, несмотря на «либеральную» репутацию Лорис-Меликова, свидетельствовало о том, что царское правительство упорно продолжало свою реакционную политику. Изменением даты поэт переосмыслял политический смысл стихотворения, напоминая о политической реакции, наступившей после убийства Александра II. *Солнце взошло.* Имеется в виду крестьянская «реформа» 1861 г.

Памяти Ивана Захаровича Сурикова (стр. 116). Впервые — «Будильник», 1880, № 20, стр. 530. О Сурикове — см. стр. 341.

Штабс-капитанша (стр. 117). Печ. по изд. 1894 г., стр. 99.

Буйное вече (стр. 119). Впервые — «Отечественные записки», 1881, № 4, стр. 299. Вошло в изд. 1894 г. Редакция «Отечественных записок» предложила поэту сделать в стихотворении ряд сокращений и замен. О них писал Трефолеву секретарь редакции журнала А. Н. Плещеев: «Редакция «Отечественных записок» готова поместить присланное вами стихотворение «Буйное вече», если только вы будете согласны на некоторые изменения, а именно: ей желательно было бы выпустить, что говорит предводитель («A propos, — заметил милый шеф с улыбкой»), а также оба стиха: «Душенька, не думай о царе-султане, а скорей попробуй карася в сметане». Благоволите ответить на это письмо». В ответ поэт прислал конец стихотворения в переделанном виде, известном в печати. Сравнение текстов показывает, что в своих требованиях редакция журнала руководствовалась не цензурными опасениями, но желанием отчетливее выявить основную тенденцию стихотворения, бичевавшего «либерализм» земских собраний, в которых участники их склонны были подчас видеть зачатки будущих конституционных учреждений. Между тем, по замечанию В. И. Ленина, «земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничивалась голой практикой, простым техническим исполнением круга задач, очерченных все тем же чиновничеством» (В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 32). И в другом месте: «Земство — кусочек конституции. Пусть так. Но это именно такой кусочек, посредством которого русское «общество» отманивали от конституции» (там же, стр. 59). Характерной иллюстрацией к этим словам В. И. Ленина как раз и является

«Буйное вече»; первоначальный конец стихотворения, с неожиданным переходом к делам международным, снижал общую его разоблачительную по отношению к либерализму тенденцию. Это было понято редакцией «Отечественных записок», это понял и сам Трефолев, переработавший конец стихотворения, заостривший памфлетный его характер. Для сравнения приводим здесь первоначальную редакцию, о которой шла речь:

«A propos,[1] — заметил милый шеф с улыбкой, —
Pourquoi paysan notre[2] не займется рыбкой?
Carassin ... конечно, crême épaisse[3] при этом...
Glorifier[4] нас может перед целым светом.
Думаю, что в жизни, бедной и убогой,
И карась служил бы важною подмогой
Русскому хозяйству! Он ужасно вкусен,
Но в глазах paysan'a[5] почему-то гнусен, —
Потому, быть может, что имеет кости?
Ah! fi-donc![6] Ей-богу! Я дрожу от злости:
Это — заблужденье, важная ошибка...
Вырой только прудик — явится и рыбка.
С рыбкою, конечно, явятся деньжонки,
Le armiak — для мужа, le platok — для женки...
Снова повторяю: карася в сметане
Я на стол поставлю даже при султане».
Частный пристав грозно понатужил плечи.
«Ах, mon cher,[7] нельзя ли кончить ваши речи?
Ваши замечанья милы, бесподобны,
Но... в «международном праве» неудобны:
Мы — экономисты только, и не больше,
Вы еще бы стали рассуждать о Польше!
Нет! Я не позволю... Нет! Калач я тертый...
В мире Русь святая с Оттоманской Портой.
Карася в сметане дайте на жаркое,
Но... султан турецкий пусть живет в покое»...

Эпиграф стихотворения — из «Бориса Годунова» Пушкина (сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре»). *Здесь, в Гиперборее.* У древних греков гипербореями назывались народы, жившие далеко на севере; в данном случае имеется в виду Россия. *Если он приедет даже в Баден-Баден* — аристократический курорт в Германии (Шварцвальд). *В дни новогородца храброго Вадима.* Имеется в виду легендарный предводитель народного восстания в Новгороде против князя Рюрика. *Устрялов* Николай Герасимович (1805—1870) — реакционный историк, профессор Петербургского университета. *Вашу братью*

---

[1] Кстати (франц.).
[2] Почему наш крестьянин (франц.).
[3] Карась в сметане (франц.).
[4] Прославить (франц.).
[5] Крестьянина (франц.).
[6] Возглас отвращения (франц.).
[7] Ах, мой дорогой (франц.).

гонят... через Вержболово — т. е. высылают из России. Вержболово — большая железнодорожная станция на границе России с Германией; ныне — Вирбалис, Литовской ССР. *Гавриил Державин пел: «Пчела златая!»* — неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина (1743—1816) «Пчелка».

Осень (стр. 126). Печ. по изд. 1894 г., стр. 407.

Красные руки (стр. 127). Впервые — «Русская мысль», 1882, № 12, стр. 385. Вошло в изд. 1894 г. Стихотворение является художественной обработкой переводного (с французского) рассказа под тем же заглавием, напечатанного в «Литературной газете», 1847, № 7 (этим указанием мы обязаны Ю. Д. Левину).

Песня о Древе и Ереме (стр. 131). Впервые — «Наблюдатель», 1882, № 11, стр. 136. Вошло в изд. 1894 г.

Чародейка-весна (стр. 132). Впервые — «Русская мысль», 1882, № 7, стр. 117. Вошло в изд. 1894 г. Эпиграф заимствован из стихотворения В. К. Тредиаковского «Песенка, которую я сочинил еще будучи в московских школах на мой выезд в чужие края». У Тредиаковского цитированные строки имеют следующий вид:

Весна катит,
Зиму валит,
И уж листик с древом шумит.
Поют птички
Со синички,
Хвостом машут и лисички.

Парижские паломники — представители обеспеченных классов, проводившие за границей, в Париже, «зимний сезон». *Добродушное земство.* На земские органы была возложена задача организации в школах питания ребят, а также народных больниц. *На гумне — ни снопа, в закромах — ни зерна* — цитата из стихотворения А. Кольцова «Что ты спишь, мужичок? ..» *Мейснер* Альфред (1822—1885) — немецкий поэт.

К нашему лагерю (стр. 138). Впервые — «Наблюдатель», 1882, № 10, стр. 100, под заглавием «Друзьям». Вошло в изд. 1894 г. Восстанавливаем по беловому автографу из архива поэта заглавие стихотворения, считая, что оно в печати было изменено из цензурных соображений.

Таинственный ямщик (стр. 139). Печ. по изд. 1894 г., стр. 55. *«Людмила»* — известная романтическая баллада В. А. Жуковского. *Днесь крестившийся* — Иисус Христос.

Ручка, рука и лапа (стр. 141). Впервые — изд. 1931 г., стр. 163.

Пушкин и ... Манухин (стр. 143). Впервые по корректурному оттиску (ЦГИАЛ) — И. Айзеншток, стр. 152. Предназна-

ченное для «Осколков», стихотворение в июне 1884 г. было запрещено цензурой, подчеркнувшей в нем «неблагонамеренную» мысль, «что для народа чтение сочинений Пушкина признается зловредным» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, л. 135 об.). *Манухин* — московский книгопродавец, издатель низкопробных, антихудожественных книг «для народа».

Папенька и маменька (стр. 143). Впервые по корректурному оттиску (ЦГИАЛ) — И. Айзеншток, стр. 153. Предназначенное для «Осколков», стихотворение было запрещено С.-Петербургским цензурным комитетом 20 сентября 1884 г. Цензор отметил «тенденциозность» стихотворения, которая проявилась в «неприличном сопоставлении родителей с детьми, расходившимися между собой в оценке крепостного права. Родители жестоко обходились с крепостными, наказывали, а дети жалели их, плакали, радовались их освобождению и погибали за свое сочувствие к последнему» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, л. 141).

Макар (стр. 145). Печ. по изд. 1894 г., стр. 5.

Муза-генеральша (стр. 146). Впервые — «Литературное наследство», кн. 3, 1932, стр. 242. Направлено против Константина Константиновича Случевского (1837—1904) — поэта, последователя и пропагандиста «чистого искусства». Современный фельетонист характеризовал его так: «Писатель, но несравненно более салонный кавалер и вдохновенный чиновник, слишком счастливый своими рангами, отличиями и успехами, чтобы считать литературу призванием и делом» (Вл. Михневич. Наши знакомые. Фельетонный словарь современников. СПб., 1884, стр. 202).

Пиита (стр. 146). Впервые — «Осколки», 1885, № 40, стр. 4, под заглавием «Народник», в сильно сокращенном цензурою виде. Кроме ряда вариантов против публикуемого нами текста, в стихотворении остались только строфы 1, 7, 8, 9; в заключение приписана еще одна строфа, так что стихотворение заканчивалось в журнале так:

...И пиита внял совету:
  Он живет, не унывает
И теперь, в минуту эту,
  «Возле речки» распевает.
Что за голос! Что за сила!..
  И, глумяся над Пегасом,
«Уж я в три косы косила», —
  Подпевает унтер басом.

В полном виде по черновому автографу — «Литературное наследство», кн. 3, 1932, стр. 240. Печ. по «Литературному наследству». Искажение цензурой стихотворения Трефолева явилось частью цензурного погрома, разразившегося над № 40 «Осколков». О погроме этом дает представление письмо Н. А. Лейкина к А. П. Чехову от 10 октября 1885 г., интересное содержащимися в нем литературно-бытовыми деталями. «Вы спрашиваете, — писал Лейкин, — что случилось с «Осколками московской жизни», посланными вами для

№ 40 журнала? Случилась беда... Целый погром. Цензор всё захерил: и ваших «Зверей», и стихи Трефолева, стихи Гиляровского, 2 обозрения Билибина, мой фельетонный рассказ, анекдоты, копилку курьезов и московскую жизнь. Последнюю, я думаю, просто из озорничества. Дело в том, что ему был нагоняй за то, что он пропустил слишком резкие статьи в «Осколках», и именно за № 39. Но это еще не все: сам журнал еле уцелел... Громы разверзлись страшные... От этой передряги я даже слегка заболел: нервы расстроились, лихорадка сделалась, ночи плохо спал, сны тревожные» («Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907, стр. 240—241).

Дуня (стр. 148). Впервые — «Осколки», 1885, № 27, стр. 5. Перепев известного в свое время по школьным хрестоматиям стихотворения Ю. В. Жадовской «Нива»; из него взят и эпиграф.

Цыганско-русская песня (стр. 150). Впервые — «Осколки», 1885, № 37, стр. 6, подпись: Барбаросса. Перепев распространенной в свое время «Цыганской песни» из оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский» (слова М. Н. Загоскина; см. С. Л. Гинзбург. Русский музыкальный театр 1700—1835 гг., 1941, стр. 273—274).

Смех сквозь слезы (стр. 150). Впервые — «Осколки», 1885, № 38, стр. 3.

Ужасный слух (стр. 151). Впервые по корректурному оттиску (ЦГИАЛ) — И. Айзеншток, стр. 155. Предназначенное для «Осколков», стихотворение было запрещено С.-Петербургским цензурным комитетом 4 сентября 1885 г. Вопрос об упразднении петровской «табели о рангах», давно уже, особенно в отношении «чинов гражданского ведомства», ставшей анахронизмом в условиях растущего и крепнущего капитализма, не раз поднимался на страницах печати и в официальных кругах. В данном случае цензуру задел именно недостаточно почтительный тон, каким поэт говорил о чинах весьма высоких. В докладе своем, который сам по себе мог бы появиться на страницах юмористического журнала в качестве пародии на подобного рода документы, цензор Сватковский жаловался: «Автор смеется над чинами по поводу слухов об их уничтожении, причем особенно достается действительным статским и тайным советникам, между которыми автор находит даже кретинов» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, л. 179 об.).

Под осенним дождем (стр. 152). Впервые — «Осколки», 1885, № 43, стр. 4, под заглавием «Всё к лучшему». Печ. по автографу из архива поэта. Ввиду существенных отличий журнальной редакции, приводим ее полностью:

ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

Мне нравятся премудрые советы:
«Спокоен будь, пиши повеселей,
В задумчивых стихах (достойных Леты)

Горячих слез отчаянно не лей!
Зачем бренчать на заунывной лире,
Когда решен давным-давно вопрос:
Всё к лучшему в сем наилучшем мире!»
...Итак, ура! Да здравствует Панглос!

Совет хорош, и я — ему послушен:
Готов забыть и правду, и добро,
К людским бедам останусь равнодушен
И очиню продажное перо:
Авось, оно напишет звонко оду
Земным богам? (Напишет ли? Вопрос!)
«Как хорошо, как сладко жить народу!» —
Воскликну я, как восклицал Панглос.

Пойду скорей на торную дорогу,
Храня в душе Панглосов чудный дар.
...Мой темен путь, а как светло, ей-богу!
Передо мной — лесной большой пожар...
Всё к лучшему в сем наилучшем мире:
Для школьников не хватит даже лоз!
...Чем будет сечь в ученом виц-мундире
Своих птенцов мой идеал — Панглос?

Панглос — персонаж романа Вольтера «Кандид», ученый философ, утверждавший, что «все к лучшему», что все целесообразно «в лучшем из возможных миров».

Из записок литератора-обывателя (стр. 152). Впервые — «Осколки», 1886, № 1, стр. 5, подпись: Барбаросса.

Печать и ее сыновья, или Блины и запятые (стр. 154). Впервые по корректурному оттиску (ЦГИАЛ) — И. Айзеншток, стр. 156. Первоначально стихотворение предназначалось для новогоднего номера «Осколков», но — «пропало», вызвав сожаления автора в неизданном письме к редактору журнала Н. А. Лейкину (6 февраля 1886 г.; ГПБ). Снова присланное в переделанном виде, стихотворение было запрещено С.-Петербургским цензурным комитетом. В цензорском отзыве отмечалось, что «автор глумится над строгим отношением правительства к нашей прессе. Ныне всем журналам, говорит он, ставят «запятые» и «точки». «Вестнику Европы» подставляют капканы-подкопы, — он умел сохранить лишь одну прежнюю свою обложку; прочие журналы принуждены толочь воду. Такая насмешка над строгостями, по мнению цензора, неуместна в печати (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз, комитета, 1880, № 97, лл. 215—216 об.). *«Луч»* — иллюстрированный журнал, впоследствии преобразованный в консервативную газету; издавались в 1880—1897 гг. С. С. Окрейцом. *«Русь»* — славянофильская газета, издававшаяся в 1880—1886 гг. И. С. Аксаковым. *«Вестник Европы»* — умеренно-либеральный журнал, издававшийся в 1866—1918 гг. профессором М. М. Стасюлевичем; кирпично-красная обложка, мало вязавшаяся с политическою умеренностью журнала, не раз давала повод для насмешек. *«Наблюдатель»* — ежемесячный литера-

турный консервативный журнал, издававшийся в 1882—1902 гг. А. П. Пятковским. *«Северный вестник»* — ежемесячный либеральный литературный журнал, издававшийся в 1885—1897 гг.

Остывшая любовь (стр. 155). Впервые — «Осколки», 1886, № 11, стр. 4. Стихотворение навеяно песнями Беранже.

Деревенская долюшка-долька (стр. 156). Впервые — по корректурному оттиску (ЦГИАЛ) — И. Айзеншток, стр. 158. Предназначенное для «Осколков», стихотворение было запрещено в июле 1886 г. С.-Петербургским цензурным комитетом, который нашел, что «в стихотворении этом с иронией изображено беспомощное положение сельского населения, главною причиной горькой доли которого является податный вопрос», и обнаружил в нем, «кроме того, непристойное глумление над религиозным чувством народа» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, л. 234).

Рыцарь и ведьма (стр. 158). Впервые — «Осколки», 1886, № 14, стр. 4. Эпиграф — из поэмы А. Мицкевича «Дзяды» в переводе М. Вронченко. *Красненькая, радужная* — бытовые названия десяти- и сторублевых кредитных билетов; изображение Дмитрия Донского было на 25-рублевых кредитных билетах.

Птички певчие (стр. 160). Впервые — «Осколки», 1887, № 18, стр. 3. Заглавие стихотворения, очевидно, навеяно опереттой Ж. Оффенбаха «Перикола (Птички певчие)». *Дар Валдая* — цитата из стихотворения Ф. Н. Глинки «Тройка».

До зеленого змия и белых слонов (стр. 161). Впервые — «Осколки», 1888, № 37, стр. 4, подпись: Уединенный пошехонец. Начиная с изд. 1931 г., неоднократно печаталось по недоработанному черновику.

Дорогие мечты, золотые слова (стр. 163). Впервые — «Осколки», 1889, № 8, стр. 3. Было послано Лейкину вместе с другим стихотворением — «Райская птичка» — с заверением, что «все они невинны» и с просьбой поместить их «*сразу* в одном номере „Осколков“» (письмо 2 февраля 1889 г., собрание Ю. Г. Оксмана). «Райская птичка» напечатана не была. *Господин Соловьев* — Владимир Сергеевич Соловьев (1853—1900), философ-идеалист и мистик.

Космополитка (стр. 164). Впервые — «Осколки», 1889, № 17, стр. 3. 2 февраля 1889 г. Трефолев сообщил Лейкину, что написал для «Осколков» «Космополитку», «да не знаю, годится ли?», т. е. удовлетворяет ли стихотворение требованиям цензуры. 12 апреля 1889 г. Трефолев писал ему же: «Вместо красного яичка, посылаю вам небольшое стихоплетение. Мне хотелось бы напечатать его у вас *поскорее*. Я страшно опечален болезнью Салтыкова, а к нему и относится моя «Космополитка», написанная уже давненько. Теперь она — кстати». И немного ниже: «Уведомьте меня, коли возможно, о судьбе моей посылаемой «невинности». Неужели ее целомудрие со-

крушит похабник-цензор? Это было бы жестоко, до глупости» (Собрание Ю. Г. Оксмана). «Космополитка» преодолела цензурные препятствия, но появилась уже как отклик на смерть великого писателя-демократа.

Памяти сатирика М. Е. Салтыкова (стр. 164). Впервые по корректурному оттиску (ЦГИАЛ) — И. Айзеншток, стр. 162. В связи со смертью М. Е. Салтыкова (30 апреля 1889 г.) полицейско-жандармские и цензурные органы усилили надзор за печатью. Тщательно преследовалось и пресекалось все, что могло способствовать утверждению в широких массах читателей сознания громадной революционизирующей роли сатиры писателя, революционно-демократической направленности его творчества. В своем докладе о стихотворении цензор Пантелеев писал 17 мая 1889 г.: «Господин Трефолев необыкновенно высоко ставит деятельность покойного сатирика, придавая ей почти государственное значение и тем впадая в явную тенденциозность, неудобную в цензурном отношении» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, л. 299).

Песня о капусте (стр. 165). Впервые — «Осколки», 1889, № 43, стр. 3.

Падающие звезды (стр. 166). Впервые по корректурному оттиску (ЦГИАЛ) — И. Айзеншток, стр. 164. Цензор признал, что это стихотворение «несколько туманного содержания, но не лишенное едкой тенденции». Тенденцию же стихотворения он раскрывал следующим образом: «В нем заключается упрек, что для учения детей даже медного гроша не жертвуется «звездами»; желается благополучия честности для лиц, имеющих станиславские и анненские звезды; в конце помещен намек, что нынешнее время не хорошо, и автор ставит вопрос, увидит ли наша молодежь другие звезды, когда сможет сказать: „Русский мир хорош"». Цензурный комитет, «признавая за стихотворением вредную тенденцию, определил: к напечатанию его не дозволять» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, лл. 307—307 об.).

Пятьдесят лет (стр. 167). Впервые — изд. 1931 г., стр. 186.

Песня о полушубке (стр. 168). Впервые — «Осколки», 1890, № 7, стр. 3. Эпиграф — из «Еврейских песен» Л. А. Мея.

Отставной учитель (стр. 169). Впервые — И. Айзеншток, стр. 167. Одним из проявлений политической реакции 80-х гг. было упорное стремление царского правительства устранить от руководства начальным образованием какую бы то ни было общественную инициативу, передать по возможности все начальные школы в деревне и в городе духовному ведомству, «святейшему синоду». В соответствии с этим правительство всемерно расширяло сеть так называемых церковно-приходских школ, которыми ведали приходские священники, вернейшие слуги самодержавия и реакции, а не малоблагонадежные, с точки зрения правительства, народные учителя. На протяжении десятилетия, с 1884 по 1894 г., ассигнования на содержание и организацию церковно-приходских школ увеличи-

лись почти в десять раз. В 1893 г. количество церковно-приходских школ в стране сравнялось с числом школ министерских, а три года спустя министерство народного просвещения получало на свои школы в два с половиною раза меньше средств, чем синод (см. Н. А. Константинов, В. Я. Струминский. Очерки по истории начального образования в России. М., 1949, стр. 137). Катастрофическое сокращение сети школ министерских и земских проходило при активном содействии земцев-реакционеров, считавших траты на народное образование совершенно излишними. Как сообщал в одной из статей Н. В. Шелгунов, один из подобных земских «зубров», выступая на земском собрании, призывал: «Закрыть надо школы и уничтожить. Пусть попы да дьячки учат народ грамотности». А в другом земском собрании подобный же «зубр» «доказывал» «вред образования» тем, что «просвещение портит крестьянское юношество», плодит «писарей, кабатчиков, кулаков, аблакатов и прочих пройдох» («Дело, 1877, № 7, стр. 100). Предназначенное для «Осколков», стихотворение Трефолева было запрещено С.-Петербургским цензурным комитетом, который усмотрел в нем «некоторую тенденциозность, могущую поколебать в публике доверие к вводимому ныне правительством преобразованию в области начального народного образования» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, лл. 339—340). *Ты помнишь ли елку* — т. е. праздник для детей, устроенный учителями. *Делибаш* — в старой Турции конный воин, хранитель паши, в данном случае — сорвиголова.

Имя-рек, или Nemo (стр. 171). Впервые — изд. 1931 г., стр. 173. Печ. по сохранившемуся в цензурном деле корректурному оттиску. В мае 1891 г. С.-Петербургский цензурный комитет нашел, что «означенное стихотворение содержит в себе неясно выраженную, но, без сомнения, предвзятую мысль о «мужике-человеке» и о братском отношении к нему какого-то Nemo». «По ясной тенденциозности о забитости мужика и его безвыходном положении» цензурный комитет постановил стихотворение «к напечатанию не дозволять» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, лл. 347—348).

Три поэта (стр. 172). Печ. по изд. 1894 г., стр. 410. Свободный перевод стихотворения Альфреда Мейснера (см. о нем стр. 347) «Drei poeten».

Добряк, душа-человек (стр. 175). Впервые — «Осколки», 1891, № 30, стр. 3. Как «неизданные стихи», под заглавием «Душа-человек» напечатано по черновой, недоработанной рукописи в «Литературном наследстве», кн. 3, 1932, стр. 235. *Аллегри* — лотерея на благотворительных вечерах, результаты которой выясняются тотчас же.

Живой мертвец (стр. 176). Впервые — «Осколки», 1892, № 7, стр. 3. «На днях, — писал поэт по поводу этого стихотворения Н. А. Лейкину 3 февраля 1892 г., — из вашего письма я узнал, что вы нуждаетесь в «передовицах». Не ведаю, какая судьба постигла моего «Живого мертвеца»... Лучше будет, если вы хоть сколько-нибудь оживите его с помощью моего рецепта, т. е. в маленькой

переделке. Иначе для меня будет неприятно видеть в печати это ужасно изуродованное мое детище» (ГПБ).

Пред душевным камельком (стр. 176). Впервые — «Осколки», 1892, № 8, стр. 3. Посылая Лейкину с оказией это стихотворение вместе со стихотворением «Недопетая песня», Трефолев писал 4 февраля 1892 г.: «При напечатании стихотворений «Пред душевным камельком» и «Недопетая песня» соблюдайте очередь, т. е. напечатайте первое, а затем второе. Между ними есть связь (поэтическая, разумеется). Авось, пропустит злодейка-цензура? Если же (паче чаяния) в первом стихотворении ошарашит выражение:

Просит воли без предела, —

ну, в таком случае разрешаю и благословляю, хотя и с сожалением, напечатать:

Просит жизни, просит дела...

Выйдет глупо, но из-за одной глупости бросать целое стихотворение не хочется. Затем все остальное невинно как новорожденное дитя» (ГПБ). В «Осколках» появилось только первое из посланных стихотворений.

Кумушка-голубушка (стр. 177). Впервые — «Осколки», 1892, № 15, стр. 3. 9 апреля 1892 г. Трефолев писал Лейкину, очевидно намекая на какие-то цензурные придирки к этому стихотворению: «Радуюсь, что моя «Кумушка-голубушка», с разрешения цензуры, поцелуется задушевно с „Осколками"» (Собрание Ю. Г. Оксмана).

Поэтическая ложь (стр. 178). Впервые — «Осколки», 1892, № 20, стр. 3. В ряде намеков стихотворения используются отдельные реплики из «Ревизора» Гоголя.

Страдное вече (стр. 179). Впервые — «Осколки», 1892, № 29, стр. 3. Эпиграф — неточная цитата из стихотворения А. К. Толстого «Ой стоги́, стоги́...» *Колупаевы и Деруновы* — персонажи ряда сатир Н. Щедрина 70—80-х гг., олицетворявшие капиталистическую эксплуатацию мужика, взявшиеся, по словам писателя, дать пошехонскому поту такое применение, чтобы он лился изобильно, так же, как при крепостном праве.

Грядущий скоморох (стр. 180). Впервые — «Осколки», 1892, № 41, стр. 3. Эпиграф — из перевода В. С. Курочкина стихотворения Беранже «Le petit homme gris» — «Как яблочко румян».

Перл создания (стр. 181). Впервые — «Осколки», 1892, № 45, стр. 3. Вошло в изд. 1894 г.

Недопетая песня (стр. 182). Впервые — изд. 1931 г., стр. 171.

Пляска весны (стр. 183). Впервые — «Осколки», 1892, № 10, стр. 3. По черновому автографу напечатано в «Избранном», 1955, стр. 175. Последняя строка здесь читается так:

Ты — со свободным народом пляши!

Песня о госпоже Бороде (стр. 184). Печ. по изд. 1894 г., стр. 400, текст сверен с корректурным оттиском в архиве цензурного ведомства. Стихотворение посвящено памяти друга Трефолева, поэта-демократа Алексея Федоровича Иванова-Классика (1841—1894). Представленное в С.-Петербургский цензурный комитет для помещения в «Осколках», стихотворение было запрещено. В своем рапорте цензор утверждал, что «означенное стихотворение, содержащее в себе краткую историю русского крестьянина, написанную в народническом духе, не может быть дозволено к напечатанию» (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1880, № 97, л. 368). Термин «народнический» в данном случае употреблен, конечно, не в современном его значении и должен был обозначать лишь то, что история «Бороды» написана поэтом с очевидным сочувствием к простому народу.

Гусляр (стр. 185). Впервые — «Русское обозрение», 1893, № 2, стр. 680. Вошло в изд. 1894 г. Стихотворение в черновиках первоначально называлось «Люди перехожие». Эпиграфы — из стихотворения А. В. Кольцова «Дума сокола» и поэмы М. Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». *Морюшко Хвалынское* — древнее название Каспийского моря.

Почему они поют о девах и розах (стр. 187). Печ. по изд. 1894 г., стр. 324, с восстановлением заглавия по беловому автографу. Заглавие «Балагур и Тимур» в изд. 1894 г., очевидно, было вызвано цензурными соображениями. *Хромой Тимур* — Тамерлан (1336—1405), монгольский хан, создатель империи в Средней Азии. Кровавый завоеватель, Тамерлан уничтожил высокую культуру среднеазиатских государств, истреблял поэтов и ученых, сжигал ценнейшие рукописи и предметы искусства и пр.

Воин Аника (стр. 188). Впервые, с незначительными сокращениями и заменами, — «Русское обозрение», 1893, № 8, стр. 729. Вошло в изд. 1894 г. Печ. по автографу, с восстановлением цензурных купюр и вариантов. В стихотворении использован образ героя старинного фольклора — Аники-воина, мужественно вступившего в единоборство с самою смертью.

Майские голубочки (стр. 190). Впервые — «Осколки», 1894, № 21, стр. 3. Эпиграфы — из стихотворений И. И. Дмитриева «Стонет сизый голубочек. . .» и А. С. Пушкина «Бесы». В стихотворении Трефолева упоминаются поэты: Афанасий Афанасьевич *Фет* (1820—1892), Константин Михайлович *Фофанов* (1862—1911), ранний предтеча русского декадентства, сам *Трефолев*, иногда подписывавшийся инициалами Л. Н. Т., Яков Петрович *Полонский* (1819—1898), Семен Григорьевич *Фруг* (1860—1919), Дмитрий Сергеевич *Мережковский* (1865—1944), поэт-символист, мистик, Константин *Льдов* — псевдоним Константина Николаевича Розенблюма, плодовитого, но посредственного поэта 80—90-х гг.

Мрачный пиит и его «люба» (стр. 191). Впервые — «Осколки», 1894, № 50, стр. 3. *Видок* Эжен-Франсуа (1775—1857) — французский сыщик, получивший известность своими «Воспоминаниями». В стихотворении использованы приемы и образы «Записок сумасшедшего» Гоголя («Фердинанд VIII», «День не помню какой» и т. д.).

С. Д. Дрожжину (стр. 192). Впервые — в кн. Иван Белоусов. Литературная Москва. М., 1929, стр. 19, с пояснением, что это — экспромт, записанный в альбом Спиридона Дмитриевича *Дрожжина* (1848—1930), поэта-демократа, друга и единомышленника Трефолева. Экспромт связан, следует думать, с празднованием 25-летнего юбилея поэтической деятельности Дрожжина в 1893 г.

В глухом саду (стр. 193). Впервые — «Русское обозрение», 1896, № 6, стр. 600.

Двойник (стр. 194). Впервые — «Литературный Ярославль», кн. 7, 1954, стр. 204. Дмитрий Иванович *Иловайский* (1832—1920) — историк, получивший известность своими учебниками для средних школ, в которых история препарировалась в целях вящего прославления российского самодержавия.

Грешница (стр. 195). Впервые — «Осколки», 1896, № 7, стр. 5. Строфа 5-я была опубликована в изд. 1931 г. как отдельное стихотворение, по черновому автографу, с датой 1 февраля 1896 г.

Бедные люди (стр. 197). Впервые — изд. 1894 г., стр. 185, под заглавием «Вековечная старуха». Печ. текст, опубликованный в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского. Написано было еще в половине 70-х гг. и первоначально предназначалось для сборника стихотворений Трефолева «Славянские отголоски», но было исключено оттуда по требованию цензуры (ЦГИАЛ, Дело С.-Петерб. ценз. комитета, 1876, № 87). В 1896 г. стихотворение было использовано поэтом для подготовлявшегося в Ярославле чествования памяти Достоевского в связи с 50-летием появления в свет «Бедных людей»; при этом из напечатанного стихотворения была исключена одна строфа (вторая) и дописаны еще три, посвященные действующим лицам романа, и заключительное «обращение» к портрету писателя. Однако местные власти, разрешив публичное исполнение стихотворения, одновременно запретили прочесть его самому автору. «Узнав об этом, — рассказывает А. М. Достоевский, — и крайне разобидевшись, он <т. е. Трефолев. — *И. А.*> отобрал свое стихотворение и не позволил его прочесть постороннему лицу. При этом в городе прошли слухи, что недозволение это нужно мотивировать тем обстоятельством, что будто Трефолев находился под негласным присмотром полиции, а потому и сочтено неудобным допустить его публично как лектора. Так стихотворение и осталось непрочитанным». (Воспоминания А. М. Достоевского. Л., 1930, стр. 316—317; там же, стр. 317—318, — текст стихотворения). В стихотворении упоминается ряд действующих лиц романа Достоевского.

Безыменный певец (стр. 198). Впервые — «Север», 1897, № 18.

В память о Мицкевиче (стр. 200). Впервые — газета «Северный край», 1898, № 11, 12 декабря. Стихотворение написано в связи со столетием со дня рождения великого польского поэта. Юбилей этот явился поводом для ожесточенных взаимных попреков русских реакционеров и польских буржуазных националистов в отсутствии желания мирного сотрудничества, в тайных коварных замыслах «взорвать» «единство» царской монархии — с одной стороны, в настойчивом стремлении задушить и растоптать национальную польскую культуру — с другой. Стихотворение Трефолева, призывавшее братские славянские народы к единению, прежде всего культурному, резко противостояло яростным нападкам реакционной, черносотенной прессы, призывам запретить самое чествование памяти Мицкевича в России.

Набат (стр. 200). Впервые — изд. 1931 г., стр. 174.

Нива (стр. 201). Впервые — «Пушкинский сборник», СПб., 1899, стр. 21.

Кровавый поток (стр. 202). Впервые — «Литературное наследство», кн. 3. 1932, стр. 234.

Песня дервиша (стр. 203). Впервые — «Наблюдатель», 1900, № 12, стр. 129. *«Гюлистан»* — книга знаменитого таджикского и персидского поэта Мушрифаддина Саади (XIII в.).

На родине русского театра (стр. 203). Впервые — «Северный край», 1900, № 123, 9 мая. Трефолев был одним из инициаторов празднования 150-летнего юбилея русского театра, который, по словам советского исследователя, «вопреки воле правительства и думских ярославских дельцов, . . .превратился в крупное событие жизни страны и театра». В частности, по инициативе поэта был организован ряд архивных разысканий, причем обнаружены ценные документы о Ф. Г. Волкове и его близких (Л. Генкин. Из прошлого Ярославского театра. «Ярославский альманах», кн. 4, 1950, стр. 243). Стихотворение было прочитано автором на юбилее, 9 мая 1900 г. Эпиграф — из поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники» (гл. V). *Морюшко Хвалынское* — см. выше, прим. к стих. «Гусляр».

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

Первый гром (стр. 206). Печ. по изд. 1894 г., стр. 106.

Бессильный (стр. 206). Печ. по изд. 1894 г., стр. 107.

Подснежник (стр. 207). Печ. по изд. 1894 г., стр. 126.

Путеводная звезда (стр. 209). Печ. по изд. 1894 г., стр. 142.

Ваточное сердце (стр. 210). Печ. по изд. 1894 г., стр. 212.

Генерал Ерофей (стр. 211). Печ. по изд. 1894 г., стр. 237. Несмотря на сделанное поэтом примечание, изобретение «генерала Ерофея» следует отнести к творческому вымыслу Трефолева: исторический Ерофеич, создатель водочной настойки на различных травах, был лекарем, лечившим Потемкина приемами народной медицины. *Абшид* — отставка (нем.). *«Норма»* — популярная опера итальянского композитора В. Беллини (1801—1835).

Похоронная процессия (стр. 213). Печ. по изд. 1894 г., стр. 243.

Звонарь (стр. 213). Печатается по изд. 1894 г., стр. 258.

Для меня и довольно (стр. 215). Печ. по изд. 1894 г., стр. 273. *«Елена»* — оперетта Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Буки-аз, буки-аз, ба (стр. 216). Печ. по изд. 1894 г., стр. 309.

Казачок (стр. 218). Печ. по изд. 1894 г., стр. 313.

Чудесная хата (стр. 219). Печ. по изд. 1894 г., стр. 356.

Невеста (стр. 220). Печ. по изд. 1894 г., стр. 358. В изд. 1931 г., стр. 217, опубликовано по черновому варианту, под заглавием «Невеста ссыльного». Заглавие и заключительные строки стихотворения были изменены, по-видимому, из цензурных соображений.

Черные и белые братья (стр. 222). Печ. по изд. 1894 г., стр. 371. Наведенные в связи с авторским примечанием к стихотворению справки показали, что поэта-аболициониста Вильяма Купера в действительности не существовало; по-видимому, он был придуман Трефолевым для того, чтобы легче провести через цензуру политически острое стихотворение. Подобным приемом не раз пользовались поэты демократического лагеря.

Дочь охотника (стр. 223). Печ. по изд. 1894 г., стр. 391, с восстановлением трех заключительных строк, которые, по цензурным соображениям, были изменены следующим образом:

И рявкнул он:
«Вдове поклон
Шлю с ребятушками!»

На сохранившемся в архиве Трефолева экземпляре корректуры надпись рукою поэта против последних строк стихотворения: «Запрещено цензурой-дурой» (изд. 1931 г., стр. 218).

Действительный тайный советник Константин Петрович Победоносцев (стр. 225). Впервые —

изд. 1931 г., стр. 149. Стихотворение Трефолева варьирует очень распространенную в 80—90-е гг. эпиграмму на обер-прокурора «святейшего» синода Константина Петровича *Победоносцева* (1827—1907), напечатанную в «Вестнике Народной воли» и широко известную в массе списков:

Победоносцев он — в синоде,
Обедоносцев — при дворе,
Бедоносцев он — в народе
И доносцев он — везде.

Срав. также Н. Телешов. Записки писателя. М., 1950, стр. 265. Как эта эпиграмма, так и другие аналогичные ей (см. «Голос минувшего», 1918, № 1—3, стр. 314—315; № 4—6, стр. 48), а также стихотворение Трефолева, ярко характеризуют мрачную фигуру изувера-реакционера Победоносцева, влияние и деятельность которого выходили далеко за пределы «духовного ведомства» и распространялись на все многочисленные ответвления сложного бюрократического государственного организма (см., например, «Письма К. П. Победоносцева к Е. М. Феоктистову». «Литературное наследство», кн. 22—24, 1935, стр. 502—560).

Деревенька (стр. 226). Впервые — «Литературный Ярославль», кн. 7, 1955, стр. 205.

Еду ли ночью в столице огромной (стр. 226). Впервые — «Литературный Ярославль», кн. 7, 1955, стр. 206. Вариации на мотивы стихотворения Некрасова «Еду ли ночью по улице темной. . .» *«Детская помощь»* — одна из благотворительных организаций, ставившая целью организацию питания бедных и безнадзорных детей. *«Помнишь ли труб заунывные звуки»* и т. д. — цитата из указанного стихотворения Некрасова.

«Царь наш — юный музыкант. . .» (стр. 228). Впервые — изд. 1931 г., стр. 150. *Царь* — Александр III.

Музыкант (стр. 229). Впервые — изд. 1931 г., стр. 151. *Сережа-братец* — великий князь Сергей Александрович, убитый революционером И. Каляевым в 1905 г.

«Сердце государево. . .» (стр. 230). Впервые — изд. 1931 г., стр. 153.

«В себе не вижу духа злого. . . (стр. 230). Впервые — «Литературное наследство», кн. 3, 1932, стр. 231. *Александр* — Александр III.

«В жизни осень наступила. . .» (стр. 231) Впервые — «Литературное наследство», кн. 3, 1932, стр. 241. Стихотворение, можно предположить, относится к 90-м годам, когда поэт особенно часто склонен был жаловаться и на материальные невзгоды и на собственную безвестность.

Лапти (стр. 232). Впервые — изд. 1931 г., стр. 158.

«Снежные сугробы, зимние метели...» (стр. 233). Впервые — изд. 1931 г., стр. 149.

«Свободное слово, опять ты готово...» (стр. 233). Впервые — изд. 1931 г., стр. 153. Написано, по-видимому, в 80-х гг., когда, с одной стороны, Катков играл особенно значительную роль в негласном руководстве политикой царского правительства, а с другой — получила особенно широкое распространение практика бессудных «административных» ссылок.

Океан жизни (стр. 233). Впервые — Л. Н. Трефолев. Избранные стихотворения. Ярославль, 1937, стр. 176.

К свободе (стр. 234). Впервые — изд. 1931 г., стр. 149. Можно думать, что стихотворение написано в последние годы жизни поэта, 1901—1904 гг., под впечатлением нараставшего в стране революционного движения.

ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ

УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Руснацкая песня (стр. 237). Впервые — Л. Н. Трефолев. Избранные стихотворения, изд. 2-е. Ярославль, 1940, стр. 35. Руснаками (иначе — рутенцами) называли австро-немецкие колонизаторы украинский народ в Западной Украине (Галиции) и в Буковине. В России в 60—80-е гг. названия «руснаки», «руснацкий» иногда употреблялись в печати — из цензурных соображений — вместо обычных «украинский», «малорусский». Фольклорную основу перевода Трефолева установить не удалось.

Южнорусская песня (стр. 238). Впервые — «Иллюстрированная газета», 1868, № 12, стр. 186, подпись: А. Трефолев. Стихотворение не является переводом какой-либо определенной народной песни, но включает мотивы нескольких украинских народных песен, объединенных самим Трефолевым.

Т. Г. Шевченко

Чума (стр. 239). Впервые — «Будильник», 1878, № 17, стр. 238. Вошло в изд. 1894 г. Стихотворение написано Т. Г. Шевченко (1814—1861) в 1848 г. в ссылке, под впечатлением свирепствовавшей в России в 1848—1849 гг. холеры. В переводе Трефолева, довольно близком к подлиннику, изменен конец; в современном русском переводе (М. Комиссаровой) последние две строки звучат так:

Вот какое людям горе
Чума причинила.

ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

Владислав Сырокомля

Воскресенье (стр. 241). Перевод стихотворения «Niedziela». Впервые — «Литературная библиотека», 1866, № 3, стр. 37. Об интересе Трефолева к творчеству Сырокомли см. во вступительной статье, стр. 35—38.

Похороны (стр. 247). Перевод стихотворения (VI) из цикла «Melodye z domu obłakanych» («Мелодии из сумасшедшего дома»). Впервые — «Женский вестник», 1876, № 8, стр. 31. Заглавие стихотворения дано переводчиком. *Антифоны* — церковные песнопения двух хоров попеременно, либо священника и хора.

Ямщик (стр. 250). Пеоевод стихотворения «Pocztylion. Gawęda gminna» («Почтальон. Сельский рассказ»). Впервые, с подзаголовком «Из Владислава Сырокомли» и с посвящением неизвестной нам Анне Филипповне Яровицкой-Вырыпаевой, — «Иллюстоированная газета», 1868, № 11, стр. 174, подпись: А. Трефолев. Вошло в изд. 1894 г. Стихотворение Сырокомли в переводе Трефолева было положено на музыку неизвестным ныне лицом и, утратив имена автора, переводчика и композитора, в очень сокращенной редакции, отчасти затуманившей самый смысл рассказа, давно уже сделалось популярной песней «Когда я на почте служил ямщиком. . .»

Ворон (стр. 252). Свободное переложение стихотворения «Kruk. Piosnka litewska» («Ворон. Литовская песенка»). Свободное отношение к польскому оригиналу, вероятно, и побудило Трефолева не называть в подзаголовке имени Сырокомли.

Здравица (стр. 253). Свободное и сокращенное переложение стихотворения «Hulaj dusza!» («Гуляй, душа»). Впервые, с подзаголовком «Мотивы из Владислава Сырокомли», — «Будильник», 1877, № 11, стр. 3. Вошло в изд. 1894 г., без указания на то, что стихотворение — перевод.

Деревенская школа (стр. 255). Перевод стихотворения «Szkoła wiejska. Gawęda» («Деревенская школа. Рассказ»). Впервые — «Славянские отголоски», стр. 17, с посвящением Андрею Михайловичу Достоевскому (1825—1897), одному из ближайших ярославских друзей поэта. Печ. по изд. 1894 г. К строке первой шестой строфы переводчиком сделано примечание: «Стихотворение это, одно из предсмертных стихотворений Сырокомли (Людвига Кондратовича), написано в 1862 году».

Паутина (стр. 262). Свободное переложение стихотворения «Pajęczyna». Впервые — «Будильник», 1877, № 11, стр. 6.

Надгробная надпись (стр. 262). Перевод стихотворения «Nagrobek obywatelowi D. O. M.» («Памятник гражданину Д. О. М.»). Впервые — «Будильник», 1877, № 14, стр. 9, подпись: Л. Н. Т.

Воевода (стр. 263). Перевод баллады «Hetman polny. Gawęda staro-żolnierska» («Гетман. Старый военный рассказ»). Впервые — «Будильник», 1877, № 32, стр. 7. Трефолев точно передал сюжет баллады, однако очень свободно отнесся к передаче образов оригинала.

Черное и белое (стр. 264). Перевод стихотворения «Czarno i biało. Obrazek» («Черное и белое. Эскиз»). Впервые — «Будильник», 1878, № 37, стр. 520. *Земские суды.* До судебной реформы 1864 г. так назывались уездные судебные органы, состоявшие из исправника, старшего заседателя (асессора) и двух представителей от крестьян. *Антоний святой* — христианский отшельник (251—356), считавшийся основателем монашества и борцом со всевозможными плотскими искушениями.

Странствующий музыкант (стр. 268). Перевод стихотворения «Więdrowny flecista» («Странствующий флейтист»). Впервые — «Будильник», 1880, № 13, стр. 339.

Лучший свет (стр. 269). Перевод стихотворения «W braci, w przyjacioł tłumie» («В толпе братьев и друзей»). Печ. по изд. 1894 г., стр. 205. В ПД, в архиве В. П. Буренина, хранится автограф этого стихотворения, с подзаголовком «Мотив из Владислава Сырокомли». Автограф датирован: «Ярославль на Волге, 2 марта 1889 г.» Вместо «брат-славянин» в автографе стоит соответственно польскому оригиналу: «бедняга-сармат». К этому слову Трефолев сделал следующее примечание: «Кондратович (Сырокомля) часто употреблял слово «сармат» вместо слова «славянин». Вообще, его поэзия, за редкими исключениями, имела характер «примирительный» для славянских народностей».

Не я пою (стр. 271). Перевод стихотворения «Nie ja spiewam!» Печ. по изд. 1894 г., стр. 151. Для Сырокомли, демократизм мировоззрения которого в большой мере был ограничен религиозностью, характерна формулировка своего творчества, вдохновленного «духом божиим, народом божиим, светом божиим». В переводе Трефолев опустил во второй и третьей строфах ссылки на «божественность» народа и света.

Великий муж (стр. 273). Перевод стихотворения «До А. Р.» («К А. П.»). Печ. по изд. 1894 г., стр. 187.

Могильщик (стр. 274). Перевод стихотворения «Grobarz. Gawęda» («Могильщик. Рассказ»). Печ. по изд. 1894 г., стр. 218.

Латинская грамматика (стр. 275). Переложение незаконченного стихотворения «Gramatyka». Печ. по изд. 1894 г., стр. 327. *Служебник* — в данном случае сборник католических обиходных молитв на латинском языке.

Бедный дрозд (стр. 277). Переложение стихотворения «Zwierzyna. Obrazek z miasta» («Дичь. Городской эскиз»). Печ. по изд. 1894 г., стр. 342. В переложении Трефолева стихотворение зна-

чительно распространено (102 строки вместо 62 строк оригинала), причем особенно развиты социальные мотивы, у польского поэта едва намеченные.

А.-Э. Одынец

Пленница (стр. 280). Перевод баллады «Branka». Впервые — «Будильник», 1877, № 20, стр. 5, подпись: Л. Н. Т. Вошло в изд. 1894 г. *Одынец* Антон-Эдвард (1804—1885) — польский поэт-романтик, земляк и друг Адама Мицкевича. Подражание юношеским балладам великого польского поэта отчетливо чувствуется и в данной «Литовской балладе». *Перкун* — у литовцев-язычников бог грозы, снега и бури; культ Перкуна сохранялся еще долгое время после обращения литовцев в христианство, особенно в среде жмуди.

Ю. Словацкий

Песня изгнанника (стр. 281). Перевод стихотворения «Pieśń wygnańca». Печ. по изд. 1894 г., стр. 76. *Словацкий* Юлиуш (1809—1849) — польский поэт-романтик, один из основоположников (вместе с Мицкевичем и Красинским) новой польской литературы. В связи с польским восстанием 1830 г. эмигрировал за границу; настроениями тоски по родине в изгнании продиктовано стихотворение, переведенное Трефолевым.

М. Конопницкая

Призыв (стр. 282). Перевод стихотворения «Wołanie». Впервые — изд. 1931 г., стр. 176. *Конопницкая* Мария (1842—1910) — польская писательница-демократка.

В. Гомулицкий

Загадочный огонек (стр. 283). Перевод стихотворения «Zagadkowy płomyczek». Печ. по изд. 1894 г., стр. 261. *Гомулицкий* Виктор (1851—1919) — польский поэт, беллетрист и публицист. Не будучи демократом по убеждениям, он неоднократно в своих произведениях сочувственно изображал представителей социальных низов, выступал против национальной и религиозной ненависти и т. д.

СЕРБСКАЯ ПОЭЗИЯ

Смерть матери Юговичей (стр. 286). Перевод народного эпического сказания «Смрт мајки Југовића». Впервые — «Будильник», 1878, № 3, стр. 35. Вошло в изд. 1894 г.

Скутарская крепость (стр. 288). Перевод народного эпического сказания «Зидање Скадра». Впервые — «Славянские отголоски», стр. 1, с посвящением ростовскому собирателю древностей А. А. Титову. Печ. по изд. 1894 г., стр. 162, где посвящение снято. *Вукашин* — сербский король, завладевший престолом во второй половине XIV в., отец любимого героя сербского народного эпоса кралевича Марка. Благодаря последнему имя Вукашина часто упо-

минается в сербском эпосе; изображается он мрачным и жестоким властителем, врагом всех своих близких и т. д.

Весенние сербские песни (стр. 295). Печ. по изд. 1894 г., стр. 398.

Д. Якшич

Две дороги (стр. 296). Перевод стихотворения «Стазе» («Тропинки»). Печ. по изд. 1894 г., стр. 264. *Якшич* Джура (1832—1878) — сербский поэт-романтик, один из зачинателей новой сербской литературы и руководителей литературной группы «Омладина». В последние годы жизни находился под значительным идейным влиянием сербского революционера-демократа Светозара Марковича.

Б. Радичевич

К Мораве (стр. 296). Перевод стихотворения «На Мораву». Печ. по изд. 1894 г., стр. 264. *Радичевич* Бранко (1824—1853) — сербский поэт-лирик, основоположник сербской романтической поэзии, страстный пропагандист и знаток народного творчества; многие его стихотворения прочно вошли в народный песенный репертуар. Народно-песенные интонации отчетливо ощущаются также в переведенном Трефолевым стихотворении.

ХОРВАТСКАЯ ПОЭЗИЯ

П. Прерадович

Два сердца (стр. 298). Перевод стихотворения «Приморске пјесмице. 6». Печ. по изд. 1894 г., стр. 209. *Прерадович* Петар (1818—1872) — хорватский поэт. Его творчество пользовалось большой популярностью в эпоху национально-освободительной борьбы балканских славян за свою независимость. Работа Трефолева над переводами из Прерадовича относится, вероятно, к середине 70-х гг.; в творчестве хорватского поэта более всего привлекали Трефолева относительно случайные для Прерадовича стихотворения с социальной тематикой.

Звездный хоровод (стр. 298). Перевод стихотворения «Ночне пјесмице. 5» Печ. по изд. 1894 г., стр 210, где объединено с предыдущим стихотворением под общим заголовком «Из Прерадовича».

И. Мажуранич

Где будет лучше, привольней! (стр. 299). Печ. по изд. 1894 г., стр. 317, где объединены с последующими двумя стихотворениями под общим заголовком «Хорватские рассказы». *Мажуранич* Иван (Франц) (1814—1890) — хорватский поэт, активный деятель «иллирийского» национально-культурного и политического возрождения, ценитель и знаток сербско-хорватской литературы и народного творчества. Последнее оказало значительное воздействие на формирование литературных взглядов и на собственное поэтиче-

ское творчество Мажуранича. Во второй половине жизни — либеральный общественный и государственный деятель, умеренный сторонник национальной автономии Хорватии в пределах и в государственной системе австро-венгерской монархии. К ст. 12 Трефолев сделал следующее примечание: «Известно, что в Боснии живет немало «потуреченных» славян-сербов, которым суждено, быть может, при современных политических условиях, обратиться в католиков». Здесь имеется в виду аннексия католической Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины в 1878 г.

Пытка (стр. 300). Печ. по изд. 1894 г., стр. 319 (см. примечания к предыдущему стихотворению). Эпиграф — из «Энеиды» Виргилия (песня II).

«От светлого детства до темной могилы...» (стр. 301). Печ. по изд. 1894 г., стр. 321 (см. выше, примечание к стихотворению «Где будет лучше, привольней!»).

ЭСТОНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Еммерика и Коит (стр. 303). Печ. по изд. 1894 г., стр. 339. В подстрочном примечании дается объяснение: «Еммерика и Коит, по-эстонски — вечерняя и утренняя заря». Эстонский оригинал стихотворения не установлен.

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЭЗИЯ

О. Барбье

Конь (стр. 305). Перевод стихотворения «L'Idole». Печ. по изд. 1894 г., стр. 120. Произведения Огюста Барбье (1805—1882) в продолжении нескольких десятилетий пользовались широкой известностью в России, несмотря на многочисленные цензурные запрещения (см. о них «Литературное наследство», кн. 33—34, 1939, стр. 801—806). Начиная с 50—60-х гг. Барбье — один из популярнейших в демократическом лагере русской общественности европейских поэтов; его стихотворения в большом количестве переводят «искровцы» (В. Курочкин, Д. Минаев, П. Вейнберг); некоторые из этих переводов, минуя цензуру, попадают в русскую зарубежную, «вольную» печать, печатаются в таких изданиях, как «Русская потаенная литература» Огарева, «Подпольное слово» Элпидина, «Народная расправа» и др.; одновременно стихи французского поэта во множестве распространяются в списках. *Мессидор* — месяц революционного календаря во Франции, соответствующий 19 июня — 19 июля. *Герой-центавр* — Наполеон I. *Роковое сражение* — битва год Ватерлоо 18 июня 1815 г., когда войска Наполеона потерпели от соединенных сил союзников решительное поражение.

П. Дюпон

Песня рабочих (стр. 306). Перевод стихотворения «Ouvriers». Печ. по изд. 1894 г., стр. 305. *Дюпон* Пьер (1821—1870) — популярнейший французский рабочий поэт-песенник. Его «Песня ра-

бочих», выражавшая извечную мечту рабочих об объединении, в течение тридцати лет, вплоть до создания «Интернационала», служила международным рабочим гимном. Реалистическое изображение в этой «Песне» рабочей нужды дало повод К. Марксу, в первом томе «Капитала», говоря об ухудшении жилищно-бытовых условий рабочего класса во Франции — «по мере того как капиталистическое производство овладевает земледелием и гонит «избыточное» сельское население в города», — процитировать первое четверостишие пятой строфы «Песни рабочих» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 760). Стихотворения-песни Дюпона были чрезвычайно популярны в России, несмотря на всевозможные цензурные препятствия к их распространению, в подлиннике и в переводах. В частности, в 1872 г. за перевод «Песни французских рабочих» («Песня рабочих» в переводе Трефолева) была представлена к запрещению в главное ведомство майская книжка журнала «Беседа». В «представлении» по этому поводу московского цензурного комитета указывалось, что хотя данное стихотворение и изображает *французских* рабочих, «нельзя не видеть в нем революционной и демократической пропаганды» (ЦГИАЛ, Главное управление по делам печати. Журналы Совета за 1872 г., № 51, п. 3; «Литературное наследство», кн. 33—34, 1939, стр. 845). В своем переводе Трефолев хронологически переосмысливает «Песню рабочих», ассоциирует ее с настроениями Третьей империи во Франции, накануне войны с Пруссией, вместо середины 40-х гг., которые, собственно, имелись в виду французским поэтом. Так, *Новый Вавилон*, согласно примечанию переводчика, означает «наполеоновский Париж», а начало четвертой строфы прямо подразумевает события франко-прусской войны 1870—1871 гг., завершившейся крушением Третьей империи, и т. д. Основанием для такого переосмысления, возможно, послужило вычитанное или услышанное где-либо Трефолевым сообщение о популярности дюпоновской «Песни» среди парижских коммунаров (ср. Ю. Данилин. Поэты Парижской Коммуны, кн. I. М., 1947, стр. 136).

В. Гюго

Милосердие (стр. 309). Перевод стихотворения «La charité». Впервые — «Иллюстрированная газета», 1864, № 38, стр. 203.

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ

Г. Гейне

Тамбур-мажор (стр. 310). Перевод стихотворения «Tambourmajeur», из цикла «Современные стихотворения». Впервые — «Ярославские губернские ведомости», 1858, № 25, 28 марта. *Кернер* Теодор (1791—1813) — немецкий поэт-романтик; многие его патриотические стихотворения распевались как народные песни.

Сон (стр. 312). Перевод стихотворения «Der Traum». Впервые — «Вестник Европы», 1872, № 7, стр. 214. Вошло в изд. 1894 г. Заглавие и подзаголовок стихотворения принадлежат переводчику.

Г. Гервег

Старое и молодое (стр. 316). Перевод стихотворения «Die Jungen und die Alten». Печ. по изд. 1894 г., стр. 109. *Гервег* Георг (1817—1875) — немецкий поэт-демократ, до 1848 г. один из близких сотрудников «Рейнской газеты», издававшейся Карлом Марксом; после 1848 г. последний разошелся с Гервегом, который подпал под влияние мелкобуржуазных анархистских идей М. Бакунина. Поэзия Гервега пользовалась известностью среди русской демократической интеллигенции 60—80-х гг.

Братья В. и Я. Гримм

Три лентяя (стр. 318). Печ. по изд. 1894 г., стр. 144. Стихотворное переложение шуточной народной сказки о лентяях из известного сборника немецких народных сказок братьев Якоба и Вильгельма Гримм (см., например, Братья Гримм. Сказки. М., 1949, стр. 570).

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

А. Теннисон

Две сестры (стр. 321). Перевод баллады «Two sisters». Впервые, без указания автора оригинала, с подзаголовком «Английская баллада» — «Будильник», 1881, № 9, стр. 133. Вошло в изд. 1894 г., стр. 269. *Теннисон* Альфред (1809—1882) — английский поэт.

ДАТСКАЯ ПОЭЗИЯ

Г.-Х. Андерсен

Маргаритка (стр. 323). Стихотворное переложение сказки Ганса-Христиана Андерсена (1805—1875) «Fäseurten». Печ. по изд. 1894 г., стр. 347.

Княжна на горошинке. (стр. 327). Стихотворное переложение сказки «Prinsessen päarten». Печ. по изд. 1894 г., стр. 50.

ГОЛЛАНДСКАЯ ПОЭЗИЯ

Я. Катс

Любовь и биржа (стр. 330). Печ. по изд. 1894 г., стр. 138. Трефолев сделал следующее примечание к стихотворению: «Каатс, один из даровитейших голландских поэтов, написал автобиографию в оригинальной форме — в стихах. Шерр (в своей «Всеобщей исто-

рий литературы») справедливо утверждает, что Каатс был лучшим выразителем „практической голландской поэзии"». Имеется в виду голландский поэт Якоб *Катс* (1577—1660), произведения которого (ласково называемые народом «книгой батюшки Катса») пользовались на родине большой популярностью вплоть до начала XX в.

ИРЛАНДСКАЯ ПОЭЗИЯ

Горсть земли (стр. 332). Печ. по изд. 1894 г., стр. 405. Источника перевода или переложения установить не удалось.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* Л. Н. Трефолев. Фотография 1870-х годов. Архив А. М. Достоевского. Пушкинский дом АН СССР. (На обороте надпись: «Доброму другу моему, уважаемому Андрею Михайловичу Достоевскому. 24 июня 1879. Ярославль».)

2. *Стр. 49.* Беловой автограф стихотворения «Лошаденки за оврагом...» Архив В. Р. Зотова. Пушкинский дом АН СССР.

3. *Стр. 89.* Титульный лист сборника стихотворений Л. Н. Трефолева «Славянские отголоски» (1877).

4. *Стр. 149.* Письмо Л. Н. Трефолева редактору «Иллюстрированной газеты» В. Р. Зотову от 14 июня 1864 года. Архив В. Р. Зотова. Пушкинский дом АН СССР.

5. *Стр. 157.* Корректурный оттиск стихотворения Л. Н. Трефолева «Деревенская долюшка-долька», предназначенного для журнала «Осколки». Стихотворение было запрещено С.-Петерб. ценз. комитетом (на полях оттиска мотивировка цензора). ЦГИАЛ.

6. *Между стр. 176—177.* Дружеский шарж на Л. Н. Трефолева М. М. Далькевича. «Осколки», 1891, № 44.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Содержание[1]

СТИХОТВОРЕНИЯ

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечания.

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛЕТ

ПЕРЕВОДЫ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ

УКРАИНСКАЯ ПОЭЗИЯ

Т. Г. Шевченко

ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

Владислав Сырокомля

А.-Э. Одынец

Ю. Словацкий

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ

Г. Гейне

Г. Гервег

Братья В. и Я. Гримм

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ

А. Теннисон

ДАТСКАЯ ПОЭЗИЯ

Г.-Х. Андерсен

ГОЛЛАНДСКАЯ ПОЭЗИЯ

Я. Катс

ИРЛАНДСКАЯ ПОЭЗИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Редакционная коллегия

В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Ауэзов, А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский, В. М. Саянов, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов, И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)

Трефолев Леонид Николаевич

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *И. Г. Ямпольский*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *Ф. С. Флейтман*

Сдано в набор 23/I 1958 г. Подписано в печать 9/V 1958 г. Бумага 84×108/32. Печ. л. 24 1/4 (19,88) Уч.-изд. л. 19,48. Тираж 20 000. Заказ № 129. Цена 7 р. 40 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград. Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
123	15 св.	вместе	вместо
212	5 св.	вдремнул	вздремнул
300	15 сн.	Uirgilius	Virgilius
378	10 св.	(Картинка на бывшего-отживщего)	Картинка из бывшего-отжившего)

Л. Н. Трефолев